



**Роберт Льюис Стивенсон, Ллойд Осборн**  
**Полное собрание романов, повестей и рассказов. Вып. 17-18**  
**СПб.: Издательство П.П. Сойкина, 1914**

**Содержание:**

- Роберт Льюис Стивенсон, Ллойд Осборн. Тайна корабля (Потерпевший крушение) (роман, перевод М. Орлова, М. Энгельгардта)

**Роберт Льюис Стивенсон**

**Ллойд Осборн**

# **Тайна корабля**

**The Wrecker, 1892**

**\* \* \***

## Пролог

### На Маркизских островах

Дело происходило во французском главном городе и гавани Маркизских островов Таи-О-Хае, около трех часов пополудни, в зимний день. Дул порывистый и крепкий муссон; волны прилива с грохотом набегали на берег, усыпанный крупной галькой. Пятидесятитонная военная шхуна под французским флагом, представительница французской власти на этой людоедской группе островов, покачивалась на месте своей стоянки под Тюремной горой. На мрачных окружающих горах нависли тяжелые, черные тучи. С самого утра шел дождь, настоящий тропический ливень, который падает потоками, словно из водопроводной трубы; сумрачные зеленеющие скаты гор местами были прорезаны серебристыми лентами бурных потоков.

На этих островах, при их жарком, здоровом климате, зима существует только по календарю. Дождь не освежает, а ветер не бодрит обитателей Таи-О-Хае. Комендант города приказал сделать кое-какие переделки в саду своей резиденции за Тюремной горой; садовники, все каторжники, должны были повиноваться, но вся прочая публика спокойно дремала и не хотела нарушать своего покоя. Дремала туземная королева Ваекеху в своем опрятеньком домике под шелест пальмовых листьев; дремал таитянский миссионер в своей увенчанной флагом официальной резиденции; дремали купцы в своих пустынных магазинах; даже у служащих в клубе головы клонились на буфетную стойку с бутылками, украшенную большой картой обоих полушарий и морскими картами. На протяжении всей единственной набережной улицы, с домиками, обращенными к морю, осененными купами пальм и зелеными зарослями кустарников, не было видно ни одной движущейся фигуры. Только около расштатавшейся пристани, которая когда-то, в благословенные дни американского возмущения, предназначалась для того, чтобы трещать и завывать под тяжестью хлопковых тюков Джона Херта, можно было, всмотревшись внимательно, разглядеть на куче разного мусора знаменитого татуированного белого человека, живое чудо Таи-О-Хае.

Его широко раскрытые глаза были устремлены на залив. Он видел, как понижаются горы, подходя к берегу залива, и дробятся там на утесы. Прибой клокочет и кипит белой пеной около двух сторожевых островков, а посреди них высоко над голубым горизонтом поднимается Уа-Пу и вздымает силуэты своих башенных вершин. Но его ум не цепляется за эти окружающие предметы. В то время, как он пребывает между сном и бодрствованием, память подставляет ему обрывки прошлого: темные и белые лица капитанов и боцманов, королей и начальников; все это вдруг всплывает перед ним и потом исчезает. Он вспоминает минувшие странствования, ему чудятся берега земли, появляющиеся на рассвете дня; он слышит грохот барабана, призывающего на людоедское пиршество. Может быть, вспоминается ему и та принцесса, ради любви которой он отдал свою кожу в руки татуировщика. И вот теперь сидит он на куче мусора, около сваи, в гавани Таи-О-Хае, являя собой престранную фигуру европейца. Или, может быть, память его проникает еще глубже в прошлое, вызывает перед ним звуки и сцены Англии и его детства: веселый звон церковных колоколов и заросли дрока на мысе, и песню где-нибудь на реке или на запруде.

В заливе вода очень глубокая. Вы можете направить судно прямо на один из островков и пройти так близко от него, что между его скалистым боком и судном можно растереть сухарь. Случилось, что в то время, как татуированный человек сидел и клевал носом, он вдруг был разбужен и приведен в самое деятельное настроение появлением бом-кливера позади западного островка. За верхним парусом последовали два других, и прежде чем татуированный вскочил на ноги, около сторожевого островка появилась шхуна водоизмещением тонн в сотню, и шла посреди залива в бейдевинд.

Спящий городок пробудился словно по волшебству. Со всех сторон появились туземцы, возбуждавшие один другого криком: «Эхиппи!» (судно). Королева вышла на балкон, прикрывая глаза от солнца рукой, которая могла считаться образцовым произведением искусства татуировки.

Комендант бросил своих каторжан и побежал к себе домой за подозрительной трубой. Капитан над портом, он же и тюремный смотритель, впопыхах прибежал на Тюремную гору. Семнадцать канаков и француз-боцман, составлявшие экипаж военной шхуны, собрались на палубе. Англичане, американцы, немцы, поляки, корсиканцы, шотландцы – купцы и конторщики Таи-О-Хае, бросили занятия и, по обычаю, все собрались на дороге перед клубом.

Все расстояния в Таи-О-Хае были так незначительны, и белые собрались со всех сторон так скоро, что между ними начались толки о национальности и назначении иностранного судна, прежде чем оно стало на якорь. Скоро на его большой мачте появился британский флаг.

– Я говорил вам, что это Джон Бульль, – это по парусам видать! – говорил вечно юный моряк, еще способный, если б нашел судовладельца, не знакомого с его биографией, украшать собой новый квартердек и дезертировать еще с одного судна.

– Однако постройка его американская, – заявил инженер-шотландец с хлопкотрепального завода. – По-моему, это яхта.

– Это яхта! – отозвался старый моряк. – Взгляните на боканцы и на бот на корме!

– У вас в глазах яхты прыгают! – заметил уроженец Глазго. – Взгляните только на его флаг. Яхта!.. Выдумают тоже!

– Можете запирать магазин, Том! – вежливо посоветовал немец. – *Bonjour, mon prince!* – прибавил он, увидев интеллигентную внешность туземца, подъехавшего на опрятной бурой лошадке. – *Vous allez boire un verre derrière?*<sup>1</sup>[1].

Но принц Станислав Моанатини, единственное разумно занятое существо на всем острове, упрямо стремился на свою экскурсию в горы с целью осмотреть обвал на горной дороге. Солнце клонилось к закату, приближалась ночь. И если он желал избежать гибельных случайностей, какими грозила в горах и тьма, и пропасти, и страх смерти, и все обычные опасности в джунглях, то ему приходилось волей-неволей отклонить любезное приглашение. Если б он даже весь горел, так и то отказался бы освежиться.

– Пиво! – вскричал глазговский голос. – Как бы не так! Могу вам доложить, что в клубе осталось всего восемь бутылок. А мы здесь в первый раз видим британский флаг, уж, наверное, тот, кто пришел под этим флагом захочет попробовать пивца.

Такое предположение, хотя и найдено было публикой правильным, однако не очень-то понравилось. С некоторого времени само слово пиво стало каким-то печальным звуком в клубе, и вечера проходили в скучных торговых расчетах.

– Хевенс пришел! – крикнул кто-то, видимо радуясь предмету для разговора. – Что вы думаете об этом судне, Хевенс?

– Я не думаю, – возразил Хевенс, толстый, белокурый, холодный, досужий англичанин, одетый в безукоризненный полотняный костюм, старательно возясь с папироской, – я не думаю, а знаю. Об этом судне меня известили Дональд и Эденборо из Аукленда. Я сейчас туда и отправляюсь.

– Да что это за судно? – спросил старый моряк.

– Не имею понятия, – ответил Хевенс. – Так, зафрахтовали какое-нибудь первое попавшееся.

Он безмятежно продолжал свой путь и скоро уселся в шлюпку, которой управляли суетливые канаки. Он осторожно уселся, чтобы как-нибудь не запачкаться, и, отдавая приказание таким голосом, как будто сидел за обеденным столом, понесся к шхуне.

Загорелый капитан встретил его на шкафуте.

– Меня о вас известили, – сказал ему Хевенс. – Я Хевенс.

– Да, сэр, – отвечал, пожимая ему руку, капитан. – Пожалуйста вниз; там вы повидаетесь с владельцем судна, мистером Доддом. Только осторожнее, у нас недавно красили.

Хевенс спустился вниз по ступеням в большую каюту.

– Мистер Додд? – обратился он к маленькому бородатому джентльмену, который писал, сидя у стола. – О, да неужели это Лоудон Додд?

– Он самый, дорогой дружище, – ответил мистер Додд, живо и с самым дружественным чувством вскакивая с места. – Я и сам думал, что буду иметь дело с вами, когда увидел ваше имя в бумагах. Да вы ничуть не изменились, все такой же мирный, спокойный, свеженький британец.

---

<sup>1</sup> Здравствуйтесь, принц. Не выпьете ли стакан пива?

– Могу вам ответить такой же любезностью, потому что вы сами стали еще британистее, – ответил ему Хевенс.

– О, я ничуть не переменялся, – сказал Додд. – Эта красная салфетка наверху мачты совсем не мой флаг, а моего компаньона. Он не умер, а уснул. Вот он, – прибавил он, указывая на бюст, который составлял одно из многочисленных неожиданных украшений этой необычайной каюты. Хевенс вежливо всмотрелся в бюст.

– Прекрасный бюст, – сказал он. – И очень изящный господин.

– Да, славный малый, – сказал Додд. – Теперь он расстается со мной. Вот тут и все его капиталы.

– Мне кажется, что у него не ощущается особенной скудости в средствах, – сказал Хевенс, с возрастающим изумлением оглядывая каюту.

– Деньги его, вкус мой, – сказал Додд. – Вот эта этажерка черного ореха – старинная, английская. Книжки все мои, а этажерка во вкусе французского ренессанса. На эту вещь у нас все заглядываются. Зеркала – настоящие венецианские; вон там, в углу, превосходное зеркало. Эта мазня красками и его, и моя, а глина – моя.

– Как глина? Что такое? – недоумевал Хевенс.

– Да вот эти бронзовые штуки, – сказал Додд. – Я ведь начал жизнь с того, что сделался скульптором.

– Ах, да, я что-то такое припоминаю, – отозвался его собеседник. – Потом вы, кажется, еще говорили, что заинтересованы в какой-то недвижимости в Калифорнии?

– О, я так далеко не заходил, – сказал Додд. – Заинтересован!.. Вовлечен, впутан, это еще пожалуй. Ведь я рожден артистом и ничем, кроме искусства, никогда не интересовался. Если б мне завтра снова пришлось наполнять эту старую шхуну, я, вероятно, опять в нее нагромоздил бы то же, что вы сейчас видите.

– У вас это все застраховано? – спросил Хевенс.

– Да, – ответил Додд. – Нашелся один дурак в Сан-Франциско, который нас страхует и ходит к нам за получением премий, словно волк в овчарню; но рано или поздно мы войдем к нему в милость.

– Ну-с, я полагаю, что мой груз в порядке? – сказал Хевенс.

– О, я полагаю! – ответил Додд. – Хотите взглянуть на документы?

– Знаете, отложим до завтра, – сказал Хевенс. – Теперь вас ждут в клубе. C'est l'heure de l'absinthe<sup>2</sup>. Ведь обедаете со мной, Лоудон?

Додд изъявил согласие. Он не без некоторого затруднения напялил свой белый сюртук; он был человек средних лет и благоденствующий. Он привел в порядок свои усы и бороду перед венецианским зеркалом, взял широкополую поярковою шляпу и поднялся на палубу.

Кормовая шлюпка уже ждала его, стоя вдоль судна. Это было изящное суденышко с мягкими сиденьями и полированными деревянными частями.

– Садитесь за руль, – сказал Лоудон. – Вы лучше знаете место, где высадиться.

– Я не люблю править рулем на чужой лодке, – возразил Хевенс.

– Ничего, беритесь-ка за румпель, – сказал Лоудон, спокойно усаживаясь.

Хевенс без дальнейшего протеста взялся за руль.

– Я, признаюсь, не могу понять, какая вам будет прибыль от этого судна? – сказал он. – Начать с того, что оно велико для торговли. Притом у вас тут все так устроено на широкую ногу.

– Право, не знаю, какая будет прибыль, – сказал Лоудон. – Я никогда и не претендовал на деловитость. Мой компаньон ликует. Деньги – его, как я вам уже говорил. Я только так, помогаю.

– Вам больше нравится каюта да койка, правда? – пошутил Хевенс.

– Да, – ответил Лоудон. – Это нехорошо, но это правда, что я больше люблю каюту.

Солнце закатилось, когда они были еще в лодке. С военного корабля раздался выстрел, возвещающий о закате, и на нем подняли французский флаг. Когда они выходили на берег, настала уже тьма. «Cercle International», как величал себя местный клуб, начал мало-помалу выделяться из тьмы огнями своих ламп. Начались наилучшие часы из двадцати четырех в сутках. Противная, ядовитая нукагивская муха понемногу сбавляла свою назойливость; потянуло

---

<sup>2</sup> Теперь время пить абсент.

прохладненьким вечерним ветерком; клубные посетители собирались в компанию провести вместе «час абсента». Мистер Лоудон Додд был представлен решительно всем: самому коменданту, господину, с которым он удостоивал играть на бильярде (купцу с соседнего островка, почетному члену клуба, некогда плотнику на американском судне), портовому доктору, жандармскому бригадиру, фермеру, производителю опиума, каждому белому, которого судьбы торговли или случайности дезертирства с судна закинули на набережную Таи-О-Хае. И каждый отнесся к нему с отменной любезностью, потому что он обладал располагающей внешностью, мягкими манерами, редкой общительностью и свободно изъяснялся по-французски и по-английски. Теперь он, имея под рукой одну из оставшихся в клубе последних восьми бутылок пива, сидел за столом на веранде, представляя собой центр сплотившейся вокруг него оживленной группы.

Разговор в южных морях ведется по одному образцу. Океан там широк, но мир узок. Чуть лишь беседа затянется, и вы неизбежно услышите имя Болли Хейса, героя-мореплавателя, подвиги и слава которого мало известны в Европе. Коснется речь и коммерции: копры, раковин, пожалуй, хлопка, либо водорослей, но так, между прочим, мимоходом, не возбуждая глубокого интереса. Имена шхун и их командиров будут порхать в разговоре тучей, как майские мухи. Подробности кораблекрушений будут охотно обсуждаться и оспариваться. Новый человек найдет такой разговор не особенно блестящим. Но он скоро войдет во вкус. Протаскавшись с год по островам, увидав и узнав порядочное число шхун, услышав множество повествований о подвигах капитанов во вкусе мистера Хейса, по части контрабанды, крушений, злостных аварий, пиратства, торговли и других родственных с перечисленными сферах человеческой деятельности, новичок убедится в конце концов, что Полинезия нисколько не уступит в смысле интереса и поучительности ни Лондону, ни Парижу.

Мистер Лоудон Додд был новичком на Маркизских островах, но он был старый, бывалый купец на соленой воде. Он знал и суда, и капитанов. Он в других местах присутствовал при начале некоторых карьер, о которых ему теперь рассказывали, как о достигших кульминационного пункта, или, наоборот, сам мог порассказать о финале на дальнем юге разных историй, начавшихся здесь, в Таи-О-Хае. А он, кстати, мог сообщить интересную новость по части кораблекрушений; такая обычная судьба шхун южных островов постигла «Джона Ричардса».

– Дикинсон отправил на нем груз на остров Пальмерстон, – рассказывал Додд.

– А кто владельцы? – спросил один из завсегдатаев клуба.

– Капсикум и К°, дело известное! – отвечал Лоудон.

Группы слушателей обменялись между собой улыбками и кивками людей, понимающих, в чем дело. Лоудон, кажется, удачно выразил общее настроение замечанием:

– Говорят, это вышло удачное дело. Нет ничего лучше доброй шхуны, бывалого капитана да удачно выбранной подводной скалы.

– Да, дело хорошее, как бы не так! – возразил глазговский голос. – А по-моему, лучше всех дела ведут миссионеры.

– Не знаю, – отозвался другой голос, – по-моему, опиум – вот хорошее дело.

– А то вот еще набег на заповедные острова с жемчужными устрицами, – проговорил третий голос. – Так, примерно на четвертый год запрета, сделал набег на лагуну, да и наутек, прежде чем увидят французы.

– Кароший тело польшой замородка золот, – сказал свое мнение немец.

– Нет, кораблекрушения в самом деле кое-что стоят, – сказал Хевенс. – Вот в Гонолулу, например, один человек купил судно, которое попало на рифы у Вайкики. Дул крепкий ветер и начал трепать судно о рифы, как только оно их коснулось. Агент Ллойда продал его в час. Не успело стемнеть, как судно уже было разметано в щепки, а человек, который его купил, разбогател, бросил дела и потом выстроил себе дом на Беретанской улице и назвал его именем того судна.

– Да, кораблекрушения иной раз бывают удачные, – произнес глазговский голос, – только не часто.

– Можно принять за правило, что в них чертовски мало проку, – сказал Хевенс.

– Верно! – крикнул глазговец. – Нет, по-моему, лучше всего овладеть тайной какого-нибудь богатого человека, да около него и погреть руки.

– Это не так-то легко, – заметил Хевенс.

– Это все равно, не в том дело, – стоял на своем Глазговец. – А вот только скверно то, что здесь, в южном море не так-то легко раздобыть такую тайну, как в Лондоне или Париже.

– Мак-Гиббон, должно быть, вычитал об этом из какого-нибудь дешевого романа, – заметил один из завсегдатаев клуба.

– Из «Авроры Флойд», – отозвался другой.

– А если бы и так? – горячился Мак-Гиббон. – Ведь это верное дело! Почитайте в газетах! Вы ничего не знаете, оттого и зубоскалите. А я вам говорю, что это будет почище страховки, да и честнее.

Резкость последних замечаний побудила Лоудона, человека миролюбивого, вмешаться в разговор.

– Это может показаться странным, – сказал он, – но я практиковал, кажется, все упомянутые в нашей беседе способы добывания средств к жизни.

– Как, вы находили золотой заморodka? – спросил немец.

– Нет, я много делал глупостей в жизни, – возразил Лоудон, – но по части золотоискательства неповинен. У каждого человека найдется здоровый участок мозга.

– Ну, так что же? Вы, может быть, вели торговлю опиумом? – спросил кто-то.

– Да, вел, – отвечал Лоудон.

– Это доходное дело?

– Конечно, – отвечал Лоудон.

– И кораблекрушениями занимались? – спросил кто-то другой.

– Да, сэр, – сказал Лоудон.

– Как же вы это делали? – продолжал спрашивавший.

– Я прибегнул к особому способу крушения, – ответил Лоудон. – Надо вам сказать, что я вообще никому не рекомендую этой отрасли промышленности.

– Судно потерпело крушение? – спросил кто-то.

– Скорее я потерпел крушение, – сказал Лоудон. – Не хватило смекалки.

– И шантаж пробовали? – спросил Хевенс.

– Это так же верно, как то, что я сижу перед вами, – ответил Лоудон.

– Доходная вещь?

– Видите ли, я неудачник, – ответил Додд. – А должно быть, доходная.

– Вам удалось овладеть чужой тайной?

– И громадной, величиной с Техас.

– А тот-то богат был?

– Ну, хоть и не так, как Джей Гульд, но ручаюсь, что он мог бы купить эти острова, если б пожелал.

– Ну, так в чем же дело? Он выскользнул у вас из рук?

– Пришлось немало повозиться. В конце концов я притиснул его к стене. Но тут...

– Что тут?..

– Все пошло прахом. Я сделался закадычным другом моей жертвы.

– Что за чертовщина!..

– Вы, быть может, думаете, что он был уж очень неразборчив? – спросил Лоудон в шутовском тоне. – Нет, это был на редкость симпатичный человек.

– Ну, Лоудон, – сказал Хевенс, – вы начали говорить нелепости. Пойдемте-ка обедать.

Окружающая ночь была вся полна ревом прибоя. В кущах зелени мелькали светлячки. Түземные женщины ходили группами, по две, по три, и, встречая двух белых, улыбались им, строили глазки и, не удостоившись внимания, проходили мимо, оставляя позади себя крепкий запах пальмового и миндального масла.

От клуба до дома Хевенса было рукой подать, но для европейца этот переход показался бы вступлением в какую-то волшебную страну. Если б такой человек последовал за нашими двумя друзьями в этот дом с просторной верандой, уселся вместе с ними в прохладной комнате, где на столе, покрытом скатертью, сверкало вино при ярком свете лампы; если б он отведал вместе с ними экзотическую пищу: сырую рыбу, плоды хлебного дерева, печеные бананы, жареную свинину, приправленную неподражаемым мити и царем тонкой снеди, салатом из капустной

пальмы; если б он видел и слышал временами фигуры и шаги хорошеньких туземных молодых женщин, то появляющихся в дверях, то исчезающих, казавшихся слишком скромными, чтоб их принять за членов семьи, и слишком гордыми, чтоб их принять за прислугу, – и если б после того он вновь внезапно перенесся к себе домой, к собственному домашнему очагу, он, наверное, протер бы себе глаза и сказал бы: «Все это мне приснилось. Я видел во сне, что был где-то в доме, но только в таком доме, который похож на небо».

Додд и его собеседник, как люди привычные, не были особенно поражены прелестью этой тропической ночи, и все, что было перед ними на столе, тоже давно уже вошло в обиход их повседневной жизни. Они ели, как люди с добрым аппетитом, и вели ленивый разговор, как люди утомившиеся.

Вспомнили и сцену в клубе.

– Никогда еще я не слыхивал, Лоудон, чтобы вы наговорили столько чепухи, – сказал хозяин.

– Да, мне показалось, что в воздухе запахло порохом, я и начал разговор для разговора, – ответил Додд. – Только никакой чепухи я не сказал.

– Да неужели же все это правда? – закричал Хевенс. – И насчет опиума, и о кораблекрушении, и о шантаже, и о том, что этот человек стал вашим другом?..

– Все правда, от первого слова до последнего, – сказал Лоудон.

– Ну, коли так, то видали вы виды на своем веку! – ответил Хевенс.

– Да, это занимательная история, – сказал его друг. – Если вы хотите, я, пожалуй, расскажу вам.

Дальше и следует рассказ Лоудона Додда, только не в том виде, как он его передавал своему другу, но в том виде, как тот его потом записал.



## Глава I

### Основательное коммерческое образование

Исходной точкой этой истории был характер моего бедного отца. Никогда еще не было человека лучше и прекраснее его, но и никогда не было, по-моему, более несчастливому человеку – несчастливому в своих делах, в своих развлечениях, в выборе места жительства и – нечего делать, надо и об этом сказать, – в своем сыне.

Начал он свою карьеру землемером, потом приобрел недвижимую собственность, пускался в разные спекуляции и сделался известным по всему штату Мускегон<sup>3</sup> как один из самых едких насмешников.

– У Додда большая голова<sup>4</sup>, – говорили про него. Я никогда не веровал в его особые способности. Ему, без сомнения, долго везло: усердие же никогда ему не изменяло. Он вел свою повседневную борьбу за приобретение денег с неизменной честностью, словно какой-то мученик. Он рано вставал, наскоро закусывал, возвращался домой весь усталый и измотанный, даже в случае удачи.

Он отказывал себе во всяких развлечениях, и, казалось, его натура была чужда им, что временами даже поражало меня. Он вкладывал всю свою удивительную добросовестность и бескорыстие в такие дела и предприятия, которые по своей сути мало чем отличались от грабежа на большой дороге.

К несчастью, я ни в грош не ставил что-либо, кроме искусства, да никогда и не буду ставить. По-моему, главная задача человека и цель его жизни должна состоять в том, чтоб обогатить мир произведениями изящного искусства, и я потратил немало своего времени на выполнение этой задачи. Я не любил распространяться о таком времяпрепровождении, но отец заметил это умолчание и все мое стремление к искусству понимал как простое потворство своим капризам.

– Ну, а вы! – крикнул я ему как-то раз. – Вы на что тратите себя всю жизнь? Вам только бы добывать деньги, да притом добывать их от других!

Он, по своему обыкновению, огорченно вздохнул и покачал своей бедной головой.

– Эх, Лоудон, Лоудон! – сказал он. – Все вы, мальчуганы, считаете себя бойцами. Впрочем, что ж, борись как хочешь. В этом мире человек должен работать. Что-нибудь одно, Лоудон: надо быть либо честным, либо вором.

Из этого вы можете видеть, что с моим отцом трудно было спорить. Взяло меня горе после этой беседы с ним, да еще горе-то это увеличивалось угрызениями совести. Я иной раз бывал и грубоват с ним, а он был всегда неизменно мягок. Я воевал за свою личную свободу, отстаивал собственное удовольствие, он же думал только о моем благе. И никогда не впадал в отчаяние.

– Ведь в тебе основа добрая, Лоудон, – говаривал он мне. – В тебе просто горячится кровь, тебе хочется поскорее добиться своего. Но я не боюсь, что мой мальчик захочет огорчить меня; мне только неприятно, что он иной раз скажет вздор.

И он трепал меня по плечу, либо по руке с чисто материнской нежностью, которая была особенно трогательна в таком сильном и прекрасном человеке.

Когда я окончил курс в средней школе, он определил меня в Мускегонскую Коммерческую академию. Вы иностранец, и вам трудно будет понять реальность такого учебного заведения. Но уверяю вас, что я говорю вполне серьезно. Такое заведение действительно существовало и, возможно, существует и теперь. Наш штат гордился им как вещью, которая кладет на страну особенный, исключительный отпечаток девятнадцатого века и является плодом цивилизации. И отец, смотря на меня в ту минуту, когда я садился в вагон, вероятно, думал про себя, что он направил меня на прямой путь к будущему президентству.

---

<sup>3</sup> Название вымышленное. Такого штата в Северной Америке не существует.

<sup>4</sup> Big head (буквально – большая голова) – американизм, слово, употребляемое американцами для обозначения испорченности подрастающего поколения. Это что-то вроде наших эпитетов: сорванец, баловень, вольница, сорви-голова (прим. перевод.).

– Лоудон, – говорил он, – я предоставляю тебе то, что не мог бы предоставить своему сыну сам Юлий Цезарь, – я даю тебе возможность видеть жизнь, какова она есть, прежде чем ты сам в свою очередь начнешь серьезную жизнь. Избегай рискованных спекуляций, старайся вести себя джентльменом и, коли захочешь, послушайся моего совета, ограничивайся верным делом – железнодорожным. Правда, дела с хлебом и мукой очень соблазнительны, но и очень опасны; в твои годы я не стал бы ввязываться в дела с хлебом; но, может быть, ты больше склонен к каким-нибудь другим делам. Гордись порядком, в котором содержишь свои торговые книги, никогда не швыряй деньги на ветер. Теперь, милый мой мальчик, поцелуй меня на прощанье и никогда не забывай, что ты мой единственный цыпленочек, и что твой папа будет следить за твоей карьерой с безумной тревогой.

Коммерческая школа занимала прекрасное, просторное здание, красиво окруженное деревьями. Воздух был здоровый, пища превосходная, плата высокая. Электрические провода соединяли ее, придерживаясь выражений объявления о ней, «с разными центрами мира». Читальня была обильно снабжена «коммерческими органами печати». Ученики, которых было в ней от полусотни до сотни, побуждались вести игру между собой на номинальные суммы, стараясь при этом поддеть друг друга; для этого завели особые «школьные бумаги».

По утрам были лекции, во время которых мы изучали немецкий и французский языки, бухгалтерию и другие такие же приятные вещи. Но наше главное занятие в течение дня, самая суть нашего обучения сосредоточивалась на бирже, где мы наглядно обучались обращению с ценностями. Так как ни у одного из нас не было ни бушеля зерна и ни на один доллар имущества, то первоначально мы и не могли вести никакого настоящего дела. Это было простое обучение игре, ничем не замаскированное. Именно потому, что всякое действительное коммерческое состязание тут было устранено, мы и могли предаваться игре совсем как на театральной сцене. Наше подобие рынка дополнялось тем, что мы должны были соблюдать его внешность и практиковаться в рыночном колебании цен. Мы были обязаны вести книги, и в конце каждого месяца наши главные книги поступали на просмотр к директору школы или его помощникам. Для большего сходства с действительностью были пущены в обращение особые «школьные ассигнации», вроде фишек в карточной игре. Родители или опекуны приобретали известный запас этих фишек для каждого ученика, по одному центу за доллар. Потом, по окончании курса, ученик перепродавал все, что у него оставалось, по той же цене, да и во время обучения иной изворотливый делец, случалось, «реализовывал» часть своих капиталов и мог по секрету устроить пирушку где-нибудь в соседнем поселке. Короче говоря, мудрено было бы сыскать где-нибудь на свете учебное заведение с худшей системой воспитания.

Когда меня в первый раз привели на биржу и один из учителей поместил меня за конторкой, я был прямо ошеломлен царящим там смятением, шумом и гамом.

Черные доски на другом конце помещения были покрыты какими-то цифрами, беспрестанно сменяющимися. Как только появлялся новый ряд цифр, ученики наши приходили в ажиотаж и поднимали рев, который в моих глазах был лишен всякого смысла; они вскакивали на сиденья, на конторки, делали какие-то сигналы головами и руками и что-то возбужденно записывали. Мне казалось, что я за всю свою жизнь не видывал более неприятной сцены. Притом я помнил, что ведь вся эта коммерческая суета – одна иллюзия, что на все ваши капиталы можно было купить разве только пару коньков. Я был очень изумлен, хотя и ненадолго. В самом деле, едва успел я сосредоточить свое внимание на внезапно появившихся, видимо богатых, мужчинах и женщинах, вышедших из себя по поводу какой-то отметки в полпенни, как мне пришлось перенести все свое изумление на одного из наших учителей, который – бедный джентльмен! – совсем забыл обо мне и моей конторке и остановился посреди этого гвалта, весь поглощенный им и, видимо, не владевший собой.

– Смотрите, смотрите, – крикнул он мне на ухо, – полное падение! Медведи<sup>5</sup> еще со вчерашнего дня успели все кончить!

– Ведь это ничего не значит, – возразил я, с трудом перебивая всеобщий гомон, среди которого я не привык говорить, – ведь все это только так, для виду.

---

<sup>5</sup> Медведями (bear) на американских биржах называются спекулянты на понижение бумаг.

– Совершенно верно, – сказал он. – И вы всегда должны помнить, что главная суть состоит в бухгалтерии. Я уверен, Додд, что смело могу вас поздравить с вашими книгами. У вас капитал в десять тысяч долларов в школьных ассигнациях. Это хороший капитал, благодаря которому вы будете на виду во все время обучения, если только вы изберете себе верное и надежное дело... Но что это? – вдруг прервал он свою речь, увидав на доске новые цифры. – Семь, четыре, три! Додд, вам везет! Это самое оживленное собрание за текущий курс. И подумать только, что такая же самая сцена происходит теперь в Нью-Йорке, Чикаго и других соперничающих между собой центрах! Я и сам охотно рискнул бы двумя центами вместе с нашими юношами, – кричал он, потирая руки, – да нельзя, устав не позволяет.

– Что вы хотели бы сделать, сэр? – спросил я.

– Что сделать? – воскликнул он, сверкая глазами. – Да рискнуть всем своим капиталом!

– Разве это такое верное и надежное дело? – спросил я с невинностью агнца.

Он бросил на меня уничтожающий взгляд.

– Видите вы этого человека в очках, с волосами песочного цвета? – спросил он, как бы желая переменить разговор. – Это Билльсон, наш выдающийся ундер-градуат<sup>6</sup>. Мы твердо верим в будущее Билльсона. Вы ничего лучше не придумаете, Додд, как следовать примеру Билльсона.

Вслед затем, среди возраставшего гвалта из-за этих цифр, все более и более оживленно сменявшихся на доске, посреди этого зала, превратившегося в какой-то пандемониум, наполненный воем дельцов, мой учитель отошел от меня и предоставил меня за моей конторкой собственному усмотрению. Мой сосед ученик сидел за своей главной книгой, вписывая в нее, как я узнал потом, свои утренние убытки, и среди этого неблагодарного занятия развлекался созерцанием нового лица.

– Слушайте-ка, новичок, – обратился он ко мне, – как вас зовут?.. Как?.. Сын Додда, большеголового?.. Велик ли ваш капитал?.. Десять тысяч?.. Так что вам за охота возиться с вашими книгами?

Я спросил у него, как же мне быть, коли книги просматриваются каждый месяц.

– Экий вы простофиля! Наймите писца! – крикнул он мне. – Возьмите кого-нибудь из праздношатающихся; тут их сколько угодно. Если вы успешно оперируете, то вам никогда не придется и пальцем двинуть, пока вы будете здесь, в этой старой школе.

Гвалт становился теперь оглушительным. Мой новый друг сообщил мне, что кто-то «провалился», что надо сбегать, узнать новости, и что когда он вернется, то приведет мне писца-конторщика. Он застегнулся на все пуговицы и нырнул в бурную толпу. Он был прав; кто-то провалился; рушилось чье-то могущество, а в результате он вернулся ко мне с конторщиком, который извлек на свет мои книги, избавив меня от всякого труда, и понес на себе весь груз моего коммерческого образования за тысячу долларов в месяц на наши, школьные деньги (десять долларов по курсу монеты Соединенных Штатов); и это был не кто иной, как многообещающий Билльсон, тот самый, про которого учитель говорил, что я лучше ничего не придумаю, как следовать его примеру. Бедняге не везло. Единственное доброе слово, какое я могу сказать о нашей Мускегонской торговой коллегии, это то, что все мы, словно стайка молодых рыбешек, были так запуганы, что нас нельзя было и причислить к виноватым. Падение такого коммерческого принца, как Билльсон, который так чванился в дни своего величия, было как-то особенно тяжело видеть. Но дух следования внешним приличиям поборол даже горечь недавнего позора, и мой конторщик вступил в свою должность, соблюдая всю подобающую учтивость и вообще внешний декорум.

Таковы были мои первые впечатления в этом нелепом учебном заведении, и, говоря по правде, они не были особенно неприятны. Пока я оставался богачом, мои вечера и послеобеденное время были в моем полном распоряжении. Мой письмоводитель вел мои книги, он же за меня толкался и драл горло на бирже; а я себе спокойно рисовал ландшафты, либо читал романы Бальзака, – два моих любимых занятия. Теперь у меня была только одна забота – оставаться богачом, или, другими словами, заниматься только верными делами. Я и до сих пор соблюдаю это правило. Я полагаю, что в сем несовершенном мире лучше всего придерживаться такой спекуляции, которая предательски предлагается ребятам в формуле: «Орел – я выигрываю,

---

<sup>6</sup> Студент, еще не получивший первой ученой степени.

решка – ты проигрываешь». Помня напутственные слова отца, я робко обратил свое внимание на железные дороги. С месяц или около того я выдерживал позицию безусловного равновесия, делая ставки лишь в ничтожных делах и терпеливо перенося презрительное отношение ко мне моего письмоводителя. Однажды я было попытался чуть-чуть рискнуть, действовать пошире и, будучи убежден, что акции будут падать, продал на несколько тысяч долларов бумаг какой-то компании сковородок. Едва я это совершил, как какие-то болваны в Нью-Йорке начали спекулировать на повышение, и мои «сковородные» вдруг вздулись как пузырь. В какие-нибудь полчаса мое состояние оказалось крепко скомпрометированным. Во мне заговорила кровь, как выразался мой отец. Я отважно встретил удар. Весь день я хлопотал над продажей этих чертовых акций. Должно быть, я шел прямо наперекор махинациям Джея Гульда, и вообще вся эта моя выходка наделала шума. В нашей школьной газете имя Лоудона Додда в тот день заняло заметное место. Я и Билльсон, вновь вынырнувший на поверхность, приглашались на одно и то же место клерка. Мое несчастье было более заметное, и место осталось за мной. Как видите, даже и в Мускегонском торговом училище было чему поучиться.

Что касается меня, то я мало заботился о том, теряю или выигрываю в этой сложной, азартной и глупой игре. Но все же пришлось сообщать бедному моему отцу довольно-таки печальные новости, и мне понадобились на это все ресурсы моего красноречия. Я писал ему (и это была правда), что благоуспевающие молодые люди вообще не блещут воспитанием, и что если он хочет меня чему-нибудь обучать, то пусть порадуется моей неудаче. Я просил (это уж было не очень последовательно), чтобы он снова поставил меня на ноги, и давал торжественное обещание поправить свои финансы на железнодорожных делах. В заключение же (уж совсем непоследовательно) я уверял его, что вообще не способен к делам и умолял его взять меня из этого гнусного места и отпустить меня в Париж изучать искусство. Он отвечал мне кратким и печальным письмом, в котором говорил только, что вакационное время не за горами, и что тогда мы обо всем поговорим толком.

Когда пришло это время, я встретился с ним на вокзале; тут мне сразу кинулось в глаза, что он постарел. Казалось, его единственным желанием было утешить и ободрить меня. Я не должен был падать духом; многие из лучших людей терпели неудачи вначале. Я отвечал ему, что моя голова не создана для дел, и его доброе лицо омрачилось.

– Не надо бы так говорить, Лоудон, – возразил он. – Я никогда не поверю, что мой сын трус.

– Но я этого не люблю, – жаловался я. – Эти все дела не имеют для меня ни малейшего интереса, искусство же мне нравится. Я знаю, что в искусстве я пойду гораздо дальше.

И я напомнил ему о том, что хорошие художники зарабатывают много денег, что, например, картины Месонье продаются за громадные суммы.

– Не думаешь ли ты, Лоудон, – возразил он, – что человек, который может написать картину в тысячу долларов, не найдет в себе отваги на то, чтобы бросить картины и вступить на рынок? Нет, сэр, этот самый Месонье, о котором ты говоришь, или наш собственный американский Бирштадт, если б их двинуть хоть завтра же в предприятие с пшеницей, они, наверное, выказали бы энергию. Милый ты мой, видит Бог, я стараюсь только ради твоей же пользы и предлагаю тебе такую сделку. Я вновь снабжу тебя капиталом в десять тысяч долларов; покажи, что ты человек способный, удвой эту сумму и затем, коли уж это тебе так хочется, поезжай в Париж; я отпущу тебя. Но отпустить тебя теперь, как бы побитого, – этого мне гордость не позволяет сделать.

У меня сердце сначала взыграло от такого предложения, но потом вслед затем и сжалось. Мне казалось, что легче написать картину как Месонье, чем выиграть десять тысяч долларов в эту мимическую биржевую игру. Мои размышления о том, как странно подобным путем испытывать талант человека к живописи, не способствовали выяснению положения. Однако я все же сделал попытку заговорить об этом.

Он глубоко вздохнул и сказал:

– Ты забываешь, друг мой, что я могу быть судьей только в одном случае, и отнюдь не могу быть им в другом. Может быть, ты так же гениален, как сам Бирштадт, но я от этого не стану умнее.

– Видите ли, – продолжал я, – ведь у меня всегда будет неудача. У других мальчиков есть кто-нибудь, помогающий им, посылающий им телеграммы, извещающий о ценах. У нас есть, например, некий Джим Кастелло; его отец посылает ему известия из Нью-Йорка, без которых он

никогда ничего и не предпринимает. Ведь вы сами понимаете, что коли кто-нибудь выигрывает, так, разумеется, кто-нибудь другой должен же проигрывать.

– Так я буду извещать тебя! – вскричал мой отец с необычным одушевлением. – Я не знал, что это дозволено у вас в школе. Я буду тебе передавать по телеграфу условным шифром все нужные сведения, и таким манером у нас выйдет целый торговый дом под фирмой «Лоудоны – Додд и Сын», – продолжал он, похлопывая меня по плечу, – Додд и Сын, Додд и Сын, – повторял он с явным наслаждением.

Ну, коли сам отец брался быть моим руководителем и наставником, и коли коммерческое училище для меня становилось необходимым путем к Парижу, то я еще мог смело смотреть в глаза неведомому будущему. А старик мой был так доволен этой затеей с нашей ассоциацией, что весь так и воспрянул духом, так и сиял. Встретились мы с ним как немые, а теперь усаживались за стол с праздничными физиономиями.

А теперь мне надо вывести на сцену новое действующее лицо, которое не произнесло ни слова и не двинуло пальцем, и, однако, обусловило созидание всей моей последующей карьеры. Вы изъездили Соединенные Штаты вдоль и поперек, и по всей вероятности, вы видели его позлащенную главу, с желобками, поднимающуюся где-нибудь над деревьями, среди равнины, ибо это новое действующее лицо было не что иное, как Капитолий штата Мускегон, тогда только что спроектированный. Мой отец предался этому делу со смешанным чувством патриотизма и коммерческой ревности, которые были в нем искренни и неподдельны. Он участвовал во всех комитетах, подписал на это дело изрядную сумму и постарался заручиться участием во всяческих поставках и контрактах. Было представлено немало конкурсных планов, и ко времени моего возвращения из школы отец как раз был погружен в их рассмотрение. Мысль эта всецело овладела его умом, и в первый же вечер моего прибытия домой он пригласил меня на совещание. Предмет был такого свойства, что и я сам предался ему с ревностной охотой. Правда, архитектура была вещь мне незнакомая, но все же это было искусство, а я ко всякому искусству чувствовал естественное тяготение и готов был посвятить ему все свои усилия, что, по мнению какого-то знаменитого идиота, и служит якобы признаком гения. Я с головой погрузился в работы отца, ознакомился со всеми представленными планами, с их достоинствами и недостатками, просматривал и изучал специальные сочинения, сам сделался знатоком архитектурных стилей, знакомился с ценами на материалы и, словом, так вник в дело, что, когда приступили к окончательному избранию плана, то «сорванец» Додд пожинал лавры. Его доводы показались самыми основательными, его выбор был одобрен комитетом, и я имел удовольствие убедиться в том, что выбор этот был, в сущности, мой. В окончательной обработке плана, которая затем последовала, мое участие было самое широкое; я собственноручно разметил все отдельные помещения, и эти разметки имели удачу или заслугу быть принятыми. Энергия и способности, какие я при всем этом выказал, восхищали и удивляли моего отца, и я смело говорю, – хотя и должен бы быть скромнее на язык, – что только благодаря моим стараниям Мускегонский Капитолий не сделался бельмом на глазу у всего моего родного штата.

Я вернулся в школу в отличнейшем настроении, и мои первые коммерческие операции прошли с отменным успехом. Отец писал и телеграфировал мне постоянно: «Старайся сам все обдумать, практикуйся, упражняйся», – казалось, хотел он внушить мне. Все, дескать, что я делаю для тебя, сводится к тому, что я подаю тебе шашки, и ты уж сам веди игру на свою ответственность, и тогда все, что ты заработаешь, все это будет плодом твоей собственной сметливости и предусмотрительности. Он вел, однако же, дело так, что ясно давал мне указания, что именно я должен делать, и я так и делал. Не прошло и месяца, как я уже собрал семнадцать или восемнадцать тысяч долларов, конечно, нашими, школьными бумагами. И вот тут-то я и пал жертвой этой нашей системы. Как я уже объяснил, бумаги наши соответствовали одному проценту истинной денежной стоимости; их можно было свободно продавать, обменивать на настоящие деньги. Неудачные спекулянты у нас то и дело продавали за них одежду, книги, гитары и иные вещи, чтобы оплатить проигрыш, а их более удачливые товарищи, со своей стороны, часто испытывали искушение реализовать и издержать на свои увеселения часть своих прибылей. Мне понадобилось купить долларов на тридцать рисовальных принадлежностей, так как я часто ходил в лес рисовать этюды, и мое желание было легко исполнить. Я уже начал было смотреть на биржевую игру (с помощью отца) как на хорошее помещение денег в рост. И вот в один

злополучный час я не вытерпел и «реализовал» три тысячи долларов в школьных бумагах и купил что мне требовалось.

Это было в среду утром. Я был на седьмом небе от счастья. А мой отец (не могу позволить себе сказать, что я) как раз в эту минуту задумал «straddle»<sup>7</sup> с пшеницей между Чикаго и Нью-Йорком. Операция эта, как вы хорошо знаете, один из самых искушающих, но зато и самых ненадежных ходов на шахматной доске финансов. В четверг удача начала поворачиваться спиной к расчетам моего родителя, а в пятницу вечером я уже попал в список банкротов – во второй раз. Это был тяжкий удар; отец особенно тяжело почувствовал его. Трудно, человеку видеть неспособность своего единственного сына, а он видел это воочию. Но в нашей неудаче было нечто, что делало из нее чистую отраву. Он поставил меня вновь на ноги, он дал мне три тысячи долларов в наших бумагах, и выходило так, что я украл эти три тысячи, но только уже в виде наличных тридцати долларов. Конечно, это было чересчур крайнее толкование, но до некоторой степени оно было верно. В общем, отец был не против всей этой спекуляции, но ее подробности смущали его. И вот я снова начал влачить существование письмоводителя, и мечты о Париже у меня угасли. Отец не хотел ободрить меня никаким добрым словом, не хотел помочь мне никаким благим советом.

Без сомнения, все это время он раздумывал о своем сынке и о том, что с ним делать. Я думаю, что он был очень потрясен моей беспринципностью и изыскивал средства и способы уберечь меня от соблазнов. Впрочем, архитектор Капитолия превосходно отзывался о моих рисунках. И в то время, как отец колебался и не знал, что со мной делать, фортуна выступила в мою защиту и Мускегонский Капитолий перевернул мою судьбу.

– Лоудон, – с улыбкой сказал мне отец, когда мы с ним снова увиделись, – скажи, если бы ты отправился в Париж, сколько понадобилось бы тебе времени, чтобы сделаться опытным скульптором?

– Что вы хотите сказать, отец? – закричал я. – Что значит «опытным»?

– Я подразумеваю человека, ознакомившегося с высшими стилями, – отвечал он, – например, с нагим телом, и также подразумеваю патриотический и эмблематический, то есть условный, стили.

– Я думаю, что на это понадобится года три, – ответил я.

– И ты думаешь, что необходимо ехать в Париж? – спросил он. – У нас, в нашей родной стране, есть отличные скульпторы. Вот, например, хотя бы Проджерс – прекрасный скульптор, хотя не знаю, стал ли бы он давать уроки.

– Париж – единственное место для этого, – уверял я его.

– Да мне и самому кажется, что так будет лучше, – согласился он и, смакуя слова, продекламировал: – Молодой человек, уроженец этого штата, сын одного из видных граждан, обучавшийся под руководством опытейших мастеров Парижа!..

– Но, милый мой папаша, что все это значит? – прервал я его. – Мне никогда не грезило быть скульптором.

– Видишь ли, в чем дело, – сказал он. – Я взял на себя поставку статуй для нашего нового Капитолия. Сначала я смотрел на это с чисто коммерческой стороны, а потом мне подумалось, что лучше бы устроить из этого фамильное дело. Это как раз и сходится с твоими мыслями; тут и деньги, и патриотическая заслуга. Так что если ты согласишься, то отправишься в Париж, а вернешься оттуда через три года и изукрасишь Капитолий своего штата. Это крупный шанс в твою пользу, Лоудон. Обещаю тебе, что около каждого доллара, который ты заработаешь, я положу другой. Но чем скорее ты отправишься и чем усерднее возьмешься за работу – тем лучше. Если же с полдюжины первых статуй не придется по вкусу Мускегону, то дело будет плохо.

---

<sup>7</sup> Буквальное значение слова «straddle» – езда верхом по-мужски, ходьба раскорячившись; в чем же состоит упоминаемая автором биржевая операция – не можем сказать (*прим. перев.*).

## Глава II

### Руссильонское вино

Моя мать происходила из шотландской семьи, и потому было сочтено приличным, чтобы по дороге в Париж я сделал визит моему дяде Адаму Лоудону, богачу-оптовому, оставившему торговлю и жившему в Эдинбурге. Это был очень чопорный и очень насмешливый человек. Кормил он меня превосходно, поместил у себя роскошно и, казалось, хотел таким образом поиздеваться надо мной, отчего у меня сверкали очки и подергивался рот. Главным источником этой худо скрываемой радости, как я догадываюсь, был просто-напросто тот факт, что я был американец.

– Да-а-а... – говорил он, насколько возможно растягивая слова, – так, значит, у вас, в вашей стране, то-то и то-то обстоит или делается вот так-то и так-то!..

А кучка моих двоюродных братьев при этом превесело хихикала. Беспрестанные повторения таких выходов, они, надо полагать, считали каким-то особенным способом развлечения, который можно бы назвать, пожалуй, американским. У меня, помню, являлось искушение начать им рассказывать о том, что мои американские друзья-приятели в летние месяцы ходят голые, и что методистская церковь в Мускегоне вся изукрашена скальпами. Впрочем, такими штуками их не очень-то удавалось пронять. Этому они не так изумлялись, как тому, что мой отец республиканец, или тому, что я, когда был в школе, то выговаривал слово colour через и<sup>8</sup>. Когда же я сообщил им о том (это была, однако же, сущая правда), что мой отец ежегодно расходовал значительную сумму на то, чтобы приучить меня к игре, то хихиканье и зубоскальство всей этой ужасной семейки, пожалуй, еще можно было и извинить.

Не стану отпираться, что иной раз мне ужасно хотелось хорошенько поколотить дядюшку Адама. Пожалуй, в конце концов это и случилось бы, не догадайся они вовремя устроить пикник, в котором я оказался львом. При этом случае я узнал (к великому моему изумлению и успокоению), что невежливое обращение со мной практиковалось лишь в своем тесном, семейном кругу, и что, в сущности, это была своего рода шутовская ласка. Чужим же меня представляли весьма почтительно. Я был «сын моего американского свояка, мужа моей бедной Джен, Джемса Додда, известного мускегонского миллионера», – рекомендация, явно рассчитанная на то, чтобы сердце мое наполнилось чувством фамильной гордости.

Пожилой помощник моего деда, забавное создание с явно выраженным пристрастием к виски, был ко мне прикомандирован в качестве моего проводника по городу. С этим безобидным, но полным аристократического достоинства компаньоном я ходил на Артуров Стул и на Кальтонов Холм, слушал концерты в садах Принц-стрит, осматривал драгоценности Короны и кровь Риччио и проникался любовью к большому замку на скале, бесчисленным шпилям церквей, стройным зданиям, широким улицам и узким кривым переулкам старого города, где предки мои жили и умерли еще в дни, предшествовавшие открытию Колубма.

Но превыше всех этих городских достопримечательностей интересовал меня мой дед, Александр Лоудон. В свое время старый джентльмен был простым каменщиком и быстро пошел в гору, скорее орудуя врожденным лукавством, нежели блистая действительными заслугами. Во внешности, говоре и манерах у него сквозил явный отпечаток своего происхождения, которое поднимало желчь дяди Адама и было для него горче полыни. Ногти его, назло тщательному надзору, были в явном трауре; одежда висела на нем мешками и складками и походила на воскресную одежду мужика; стиль его речи был самый вольный и терзающий ухо. Даже в лучшем случае, когда можно было заставить его держать свой язык за зубами, одно его присутствие в углу комнаты, с этими его морщинами, облезлой головой, широкими руками и каким-то неприятно пошлым выражением лица, давало нам чувствовать наше происхождение. Тетушка моя умела его извинять, двоюродные братья умели его обуздывать, но все же нам некуда было деваться от

---

<sup>8</sup> Слово colour, цвет, выговаривается кёлёр, а с буквой и выговаривалось бы кьюлёр (прим. перев.).

грубого, физического факта присутствия этого камня, положенного «во главу угла» нашей фамилии.

На стороне американца, каким был я, оказалась значительная выгода. Я ни капли не стыдился своего дедушки, и старый джентльмен отметил эту разницу. Он хранил нежную память о моей матери, быть может, потому, что она в его глазах была полной противоположностью дяде Адаму, которого она ненавидела яростно; и мое ласковое обращение с ним он приписывал наследственной преемственности от моей матери. Во время наших прогулок, которые скоро стали ежедневными, он иной раз украдкой забегал в кабачок (предварительно внушив мне, чтобы я держал это в строгом секрете от Адама), и когда случалось там повстречаться с какими-нибудь друзьями-приятелями ветеранами, он с явной гордостью представлял меня честной компании, стараясь в то же время набросить тень на своих прочих потомков.

– Это сын моей Дженни, – говорил он, – он-то ничего, славный малый.

Вообще же целью наших экскурсий было вовсе не любование древностями или величественными видами, а посещение одного за другим разных глухих пригородов, где старый джентльмен мог предаваться воспоминаниям о том, что он когда-то тут орудовал в качестве подрядчика, а иногда и архитектора. Редко случалось мне видеть что-нибудь более шокирующее; казалось, кирпич покраснел в стенах, а крыши побледнели от стыда; но я, конечно, старался не дать заметить моих чувств престарелому строителю, который шел рядом со мной, и когда он мне показывал какое-нибудь новое безобразие, да еще с комментариями насчет того, что, мол, вот моя мысль, которую у меня потом перехватили и построили по ней целый квартал около Глазго, – я спешил вежливо похвалить и (что, кажется, особенно его восхищало) спросить о стоимости каждого украшения. Само собой разумеется, что Мускегонский Капитолий очень часто служил у нас предметом собеседования. Я на память рассказывал ему обо всех планах, он же, при помощи небольшой книжки, полной чертежей и таблиц, автором которой, сколько помнится, являлся Мольсюрс и которая была его вечным карманным спутником, сейчас же сообщал мне грубо-приблизительные расчеты и оценивал поставки и подряды. наших мускегонских строителей он называл не иначе, как стаей бакланов. Знакомство его с делом в сочетании с моим знанием архитектурных терминов и стилей, а главное, цен на материалы в Соединенных Штатах способствовали тому, что из нас вышла весьма дружная и хорошо подобранная пара, и дедушка часто с пылким одушевлением объявлял меня «настоящим умницей-парнишкой». Таким образом, как видите, Капитолий моего родного штата уже во второй раз благотворно влиял на мою жизнь.

Я покинул Эдинбург не без мысли о том, что мне удалось немало совершить в свою пользу. А главное, я радовался, что бежал наконец из этого несносного дома и скоро погружусь в мой радужный Париж. У каждого человека свой роман; мой состоял в том, чтобы предаться исключительно обучению искусствам, вести жизнь студентов Латинского квартала и вообще войти в мир Парижа, как он изображен маститым мудрецом, автором «*La Comédie Humaine*»<sup>9</sup>. И я не был разочарован, да и не мог быть, потому что мне не надо было видеть фактов, я их принес с собой готовыми. Марко жил рядом со мной в моем неудобном и вонючем отеле на улице Расина; я обедал в скверном ресторанчике вместе с Лусто и с Растиньяком. Если мне встречался на перекрестке фиакр, правил им Максим де Трай. Как я сказал, жил я в скверном отеле и обедал в скверном ресторане; но делал это совсем не по нужде, а из чувства. Отец щедро снабдил меня средствами, и я, кабы захотел, мог бы жить в районе площади Звезды и ежедневно ездить в экипаже на уроки. Но если бы я так поступил, все очарование исчезло бы, и я остался бы просто Лоудоном Доддом; а теперь я был студентом Латинского квартала, преемником Мюрже<sup>10</sup>, который во плоти и крови переживал один из тех романов, которые я так любил читать и перечитывать, и мечтал над ними в лесах Мускегона.

В те времена все мы, обитатели Латинского квартала, были выкроены по Мюрже. В Одеоне тогда была поставлена «Жизнь Богемы» (очень унылая, плаксивая пьеса), державшаяся на сцене непостижимо долгое (для Парижа) время и оживившая свежесть легенды. Так как на любом чердаке по соседству творились совершенно такие же дела, то добрая треть парижского

---

<sup>9</sup> «Человеческая комедия». Автор ее Бальзак (прим. перев.).

<sup>10</sup> Известный автор «Цыганской жизни» (прим. перев.).



студенчества весьма добросовестно олицетворяла героев Мюрже, Родольфа или Шонара, к их великому собственному удовольствию. Некоторые из нас делали то же самое, а иные шли и еще дальше. Я, например, всегда с завистью смотрел на одного своего земляка, у которого была своя студия на улице Мосье-ле-Пренс, который носил сапоги и длинные волосы в сетке, и в таком виде заявлялся в сквернейшую столовую квартала в сопровождении своей натурщицы и любовницы – корсиканки в живописном национальном костюме. Надо обладать известным величием души, чтобы вознестись безумно на такую высоту. Я со своей стороны довольствовался тем, что воображал себя бедняком, потому что ходил по улицам в каком-то колпаке и преследовал с вечными неприятными приключениями исчезнувшее млекопитающее, носившее когда-то имя гризетки. Самая мучительная вещь была пища и питье. Я был рожден на свет с лакомым языком и с небом, приспособленным к вину, и только фанатическая приверженность к тексту романов могла заставить меня глотать рагу из кролика и красные чернила, называвшиеся Берси. И ведь каждый раз, изо дня в день, когда я кончал работу в студии, где я занимался чрезвычайно усердно и далеко небезуспешно, меня словно окатывало волной отвращения. Мне приходилось украдкой ускользать от своих приятелей и обычных компаньонов и вознаграждать себя за недели самоистязания тонкими винами и вкусными блюдами, сидя где-нибудь на террасе или среди зелени в саду с раскрытой книжкой одного из моих любимых авторов, в которую я по временам заглядывал. Так я наслаждался до тех пор, пока не наступала ночь и не зажигались огни в городе, а потом брел домой по набережной при свете месяца или звезд, предаваясь мечтаниям и перевариванию вкусного обеда.

Такая слабость духа вовлекла меня на второй год моего пребывания в Париже в некоторое приключение, о котором я должен поведать. Я отношусь пристрастно к этому случаю, потому что он послужил поводом моего знакомства с Джимом Пинкертоном. В один октябрьский день, когда пожелтые листья валяются на бульвары и настроение впечатлительных людей клонится в одинаковой степени к грусти и к исканию общества, я сидел один за обедом в ресторане. Ресторанчик был неважный, но в нем был хороший погреб и имелся длинный список разных вин. Я тут наслаждался вдвойне, и как любитель вин, и как любитель громких названий; просматривая карту, я уже в самом конце ее натолкнулся на название, не особенно прославленное и знаменитое, – Руссильон. Я вспомнил, что никогда еще не пробовал такого вина, приказал подать бутылку, нашел вино великолепным, и когда прикончил бутылку, крикнул гарсона и, по моему обычаю, хотел спросить еще полбутылки. Но руссильонского в полбутылках не оказалось.

– Ну, так давайте бутылку, – сказал я.

В этом заведении столики были сдвинуты вплотную. Последнее, что от этого обеда осталось у меня в памяти, это то, что я вел весьма громкий разговор с моими соседями. Затем я постепенно раздвигал круг моего внимания, ибо ясно помню, что стулья вокруг меня начали поворачиваться, и лица с усмешками уставились на меня. Что такое я говорил, этого я не помню, но и теперь, через двадцать лет после того, я все еще испытываю угрызения совести; скажу вам только вкратце, что моя муза в эту минуту была настроена патриотически. Помню, что мне непременно захотелось пойти пить кофе в обществе моих новых друзей; но едва ступив на тротуар, я нашел себя в полном одиночестве. В то время это обстоятельство удивило меня еще меньше, чем удивляет теперь; но все же я был слегка опечален, продолжая, однако, шествовать в кофейню. Я удивлялся, почему я так опьянел после моей второй бутылки, и решил подправить себя кофе и водкой. В кафе «Суре», когда я туда пришел, фонтан был пущен в ход, и, что меня ужасно удивило, мельница и разные механические фигурки на скалах казались все заново отделанными и выделяли презабавные штуки. В кофейне было жарко, и она была ярко освещена, так что все в ней было ужасно отчетливо видно: и лица гостей, и даже буквы на газетах, которые лежали на столиках, – и все помещение как-то плавно и приятно покачивалось, словно висячая койка. В первые минуты все это донельзя очаровало меня, и мне казалось, что я никогда не устану смотреть на это; потом я внезапно впал в беспричинную грусть; а затем, с той же внезапностью и скоростью, я наконец догадался, что я просто-напросто пьян, и что мне всего лучше улечься спать.

До моего дома было отсюда несколько шагов. Я взял от швейцара зажженную свечу и начал шагать по лестнице к себе на четвертый этаж. Хотя я не могу отпираться, что был пьянехонек, но в то же время помню, что думал и рассуждал здраво. Главное, что меня заботило, это чтобы хорошенько выспаться и не опоздать утром на работу, и когда увидел, что часы у меня на камине

остановились, я решил вновь спуститься вниз и сказать швейцару, чтобы он меня разбудил. Оставив свечу у моей открытой двери, чтобы потом не заблудиться, я пошел вниз. Весь дом был погружен во тьму; но на каждой площадке было только по три двери, так что запутаться было невозможно, и мне оставалось только спуститься по лестнице, пока не увижу огонька в каморке швейцара. И вот, отсчитал я четыре этажа, а швейцара не видать. Ну, что же, возможно, что я неверно сосчитал; иду себе дальше и дальше, спускаюсь этаж за этажом, наконец, по моему счету, спускаюсь до какого-то невозможного девятого. Мне становится ясным, что я как-нибудь проглядел каморку швейцара. Да и в самом деле, я теперь видел пять пар звездочек где-то ниже улицы, так что, значит, я очутился уже под землей. Видимое ли дело: наш дом был выстроен над парижскими катакомбами, и это открытие возбудило во мне живейший интерес; не будь я так крепко одержим заботой о своей работе, я наверное занялся бы исследованием этого подземного царства. Но я помнил, что мне надо быть в мастерской утром, в известный час, и что я во что бы то ни стало должен найти швейцара. Я повернул назад и поднялся снова до уровня улицы. Я взобрался на пятый, шестой, седьмой этаж, – швейцара все нет как нет. Это меня наконец истомило; я сообразил, что теперь я недалеко от своей комнаты, и решил бросить поиски и лечь спать. Я взбирался все выше. Вот восьмой, вот девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый этаж, и... моя открытая дверь оказалась для меня столь же потерянной, как и каморка швейцара, как его оплывшая свеча. Я вспомнил, что наш дом был всего-навсего шестиэтажный, так что по самому умеренному расчету я поднялся теперь на три этажа над крышей. Свойственный мне врожденный юмор внезапно уступил место несвойственному моей натуре раздражению.

– Моя комната должна быть тут, вот тут! – решил я и пошел прямо к двери, протягивая руки.

Но передо мной не было ни двери, ни стены; передо мной простирался темный коридор, по которому я некоторое время подвигался вперед, не встречая ни малейшего препятствия. И это в доме, где длиннейшая дистанция включала в себя три небольшие комнаты, узкую площадку лестницы и самую лестницу! Чистая нелепость! Вы не удивитесь, узнав, что я теперь уже начал выходить из себя. В ту же минуту я заметил полоску света на полу; протягивая руку, я нащупал дверную ручку и без дальнейших церемоний вошел в комнату. В ней была молодая женщина; она собиралась лечь в постель, и ее туалет уже далеко подвинулся вперед... или назад, если вам так больше нравится.

– Надеюсь, что вы извините мое вторжение, – сказал я, – но моя комната – № 12, и... черт его знает, что такое случилось с этим домом!..

Она с минуту посмотрела на меня и потом сказала:

– Подождите минуту около дверей, я проведу вас.

Затем все дело уладилось при обоюдной с обеих сторон готовности. Я подождал около ее двери. Потом она вышла в платье, взяла меня за руку, провела на другой этаж, четвертый над крышей (по моему счету), и втолкнула меня в мою комнату, где я, совершенно истомленный моими необычайными странствованиями, живо уснул сном невинного младенца.

Я рассказывал вам все это спокойно, так, как оно мне представляется и вспоминается. Но на другой день, когда я проснулся и стал рыться в своей памяти, я не мог скрыть от себя, что вся эта история полна невероятных вещей. Я и не подумал идти в мастерскую, а направился в Люксембургский сад, чтобы несколько освежить голову среди воробьев, статуй и падающих листьев. Я всегда очень любил этот сад. В нем сидишь словно в общественном месте истории и романов. Вот из этих окон смотрели Барра и Фушэ; Лусто и Банвилль (оба кажущиеся реальными) сочиняли стихи на этих скамейках. Из города доносится оживленный шум уличного движения, а вокруг и сверху шумят деревья, дети и воробьи наполняют воздух криками и статуи смотрят на все это своими вечными взглядами. Я уселся на скамью, стоявшую против входной галереи, раздумывая над событиями минувшей ночи, стараясь, насколько возможно, отделить возможное от невозможного.

Теперь, при дневном свете, дом оказался в шесть этажей, как и всегда был. И я, со всем моим архитектурским опытом, не мог найти комнату по всему протяжению его высоты и его бесконечных лестниц, не мог нащупать стен в этом коридоре, по которому слонялся ночью! Но было еще более значительное затруднение. Я где-то вычитал афоризм, гласящий, что все может оказаться фальшивым и обманчивым, кроме человеческой природы. Дом может удлиниться или

расширяться, или показаться таковым джентльмену, который плотно покушал и обильно выпил. Океан может высохнуть, скалы расплавиться от солнца, звезды валиться с неба, как яблоки осенью; во всем этом нет ничего такого, что могло бы смутить философа. Но случай с молодой дамой стоял особняком. Девицы могут быть либо недостаточно добры, или вовсе не добры, или слишком добры, как в подобном случае. Я готов был принять любую из этих мер; все они клонились к одному и тому же заключению, которое я уже склонен был сделать, когда внезапно ко мне пришел на помощь свежий аргумент, который сразу решил вопрос. Я смог припомнить в точности слова, которые произнес каждый из нас; и я говорил, и она ответила мне по-английски. Положим, все это могло быть грезой и сном: и катакомбы, и лестницы, и милосердная дама.

Я только что пришел к такому заключению, как вдруг по саду пронесся порыв ветра; повалились мертвые листья с деревьев, и целая стая воробьев, похожая на снежную тучу, взвилась над моей головой с дружным чириканьем. Эта приятная суматоха была делом одной минуты, но она оторвала меня от отвлеченностей, в которые я впал, словно меня кто окликнул. Я быстро выпрямился, и в это время мои глаза остановились на фигуре женщины в коричневом пальто, несшей ящик с рисовальными принадлежностями. Рядом с ней шел молодой человек на несколько лет старше меня, неся под мышкой мольберт. По направлению хода и по их ношам я заключил, что они идут в галерею Люксембургского дворца, где дама, по всей вероятности, копировала какую-нибудь картину. Можете судить о моем сюрпризе, когда я распознал в ней героиню моего приключения! Словно ради устранения всяких сомнений глаза наши встретились, и она, казалось, со своей стороны все припомнив, а в том числе и то состояние, в каком я перед ней предстал, быстро опустила глаза с явным смущением.

Теперь я не сумею вам сказать, была ли она хороша или нет, но она держала себя так хорошо, и я представлял рядом с ней такую жалкую фигуру, что я воспламенился желанием выказать себя в наивозможно благоприятном свете. Возможно было предположить, что молодой человек, шедший с ней, был ее брат. Братья же часто спешат стать взрослыми мужчинами в сравнительно юном возрасте; мне подумалось, что будет очень благоразумно предупредить возможные осложнения, прибегнув к извинению.

Остановившись на таком решении, я поспешил к дверям галереи и стал в позицию прежде, чем молодой человек успел дойти до нее. Так очутился я лицом к лицу с третьим вершителем моей судьбы, ибо вся моя карьера была всецело основана на трех элементах: моем отце, Мускегонском Капитолии и моем друге Джиме Пинкертоне. Что же касается молодой леди, которой мои мысли были исключительно заняты в ту минуту, я никогда ничего не слышал о ней с тех пор, – превосходнейший пример той игры в жмурки, которую мы называем жизнью.

### Глава III

## Знакомство с мистером Пинкертоном

Как я уже сказал, незнакомец был несколько постарше меня. Это был человек крепкого сложения, с оживленным лицом, сердечными, живыми манерами и острыми птичьими глазами.

– Могу я поговорить с вами? – сказал я.

– Дорогой сэръ, – ответил он, – я не знаю, о чем вы хотите говорить со мной, но сделайте милость, говорите сколько вам угодно.

– Вы сейчас были рядом с молодой дамой, – продолжал я, – с которой я вел себя, хотя и ненамеренно, так, что она могла счесть это за обиду. Обратиться прямо к ней – это значило бы вновь поставить ее в затруднение, и я поэтому пользуюсь случаем оправдаться перед лицом моего пола, которое состоит с ней в дружеских отношениях, и даже может быть, – добавил я, – является ее единственным защитником.

– Вы мой земляк, это я знаю! – воскликнул он. – Об этом я заключаю по вашему деликатному отношению к даме. Но вы только отдаете ей должное. Я был ей представлен недавно вечером, за чаем, в доме моих друзей, и вот встретил ее сегодня утром и помог ей донести сюда ее мольберт. Скажите мне ваше имя, друг мой.

Мне было не совсем приятно, что он так мало близок к молодой даме. Я сам искал знакомства, а теперь чувствовал искушение повернуть назад. Однако в то же время меня что-то привлекало во взгляде незнакомца.

– Мое имя Лоудон Додд, – сказал я. – Я из Мускегона и обучаюсь здесь скульптуре.

– О, скульптуре? – воскликнул он, словно он меньше всего мог этого ожидать. – А меня зовут Джемс Пинкертон. Очень рад познакомиться с вами.

– Пинкертон! – в свою очередь воскликнул я. – Вы Пинкертон Изломанный Стул?!

Он принял эту кличку с веселым смехом мальчугана, да и в самом деле, любой мальчик в Латинском квартале гордился бы, нося кличку, так доблестно приобретенную.

Для того, чтобы объяснить ее происхождение, мне придется коснуться истории нравов девятнадцатого столетия, заслуживающих внимания. В те времена во многих студиях шутки и каверзы, устраиваемые новичкам, отличались и варварством, и крайним неприличием. Вот два примера, следовавших один за другим, и которые, как это часто случается, являлись какими-то странными потугами двигать вперед цивилизацию, прибегая к чисто варварским средствам. Первый случай вышел с одним молодым армянином. У него на голове была феска, а в кармане (обстоятельство, никем не учтенное) – кинжал. Каверзы начались и шли обычным ходом, и, должно быть, благодаря головному убору жертвы, приняли гораздо более бойкий размах, чем обыкновенно. Тот принял сначала эти приставания с терпением, располагавшим к дальнейшей атаке. Но когда один из учеников чересчур уж разошелся, вдруг сверкнул кинжал и погрузился во чрево шутника. Я должен с удовольствием упомянуть о том, что этот джентльмен несколько месяцев пролежал в постели, прежде чем мог продолжать учение.

А другой случай как раз и был тот, при котором Пинкертон завоевал свою кличку. Дело происходило в одной очень многолюдной студии. В то время, как над одним трепетавшим новичком совершались разные грязные штуки, какой-то крупный детина вскочил с места и без всякого предисловия, вступления и объяснения заорал:

– Все англичане и американцы – вон отсюда!

Наша раса груба, но не развращена. На воззвание последовала благородная отповедь. Каждый англосакс схватил свой стул, и мастерская в одну минуту наполнилась окровавленными головами. Французы в беспорядке ударились в бегство, к удивлению их освобожденных жертв. В этой баталии обе нации, говорящие по-английски, покрыли себя неуязвимой славой; мой же новый знакомец, Пинкертон, как передавала потом молва, явил собой выдающегося ратоборца в этой стычке. Он одним взмахом разломал свой стул и самым обстоятельным образом «выставил» из мастерской своего очень дюжего противника, который при этом мимоходом прошиб холст, натянутый на подрамник, да так на улицу и вылетел, оправленный в раму.

Легко себе представить, какие толки поднялись в Латинском квартале по поводу этого случая. Я был чрезвычайно доволен, что заручился знакомством с моим знаменитым соотечественником. В это же утро я успел убедиться в донкихотской стороне его характера. Мы шли и болтали и подошли к мастерской одного молодого француза, работу которого я обещал посмотреть; согласно обычаям квартала, я захватил с собой и Пинкертона. Многие из моих товарищей того времени были пренеприятные парни. Я всегда ценил и почитал уже сделавших успехи учеников по художественной части, обучавшихся в Париже; но среди начинающих было много ужасно неприятных юношей, и я часто удивлялся, откуда являются художники, и куда деваются эти ученики. Подобная же тайна тяготеет над медицинской профессией и заставляет глубоко задуматься наблюдателя. Тот увалень, к которому я вел Пинкертона, был одним из самых грязных пачкунов во всем квартале. Для нашего услаждения он выставил чудовищную корку<sup>11</sup>[11], как у нас принято выражаться, изображавшую св. Стефана, валяющегося на брюхе в чем-то красном, и толпу евреев около него, синих, зеленых, желтых, которые дубасят его, по-видимому, какими-то прутьями или пучками. А пока мы рассматривали эту мазню, он угощал нас автобиографическими сведениями, причем пытался себя выставить чуть не героем. Я был одним из тех американских космополитов, которые принимают мир Божий, все равно у себя или на чужбине, как его находят; причем любимой их ролью служит роль простого наблюдателя. Так и тут, я стоял и смотрел с дурно скрываемым отвращением, как вдруг почувствовал, что меня крепко дергают за рукав.

– Что он такое рассказывал о том, что кого-то спустил с лестницы? – спросил меня Пинкертона, белый, как св. Стефан.

– Ну, да, – ответил я, – это он рассказывал о своей отвергнутой любовнице и дальше говорил о том, что швырял в нее камнями. Я думаю, что не это ли подало ему мысль насчет сюжета его картины. Он говорил, в виде оправдания, о том, что она была так стара, что годилась ему в матери.

У Пинкертона вырвалось что-то вроде рыдания или всхлипывания.

– Скажите ему, – с трудом выговорил он, – я сам худо говорю по-французски, хотя и понимаю; я ведь худо воспитан... скажите ему, что я размозжу ему башку!..

– Ради Бога, не делайте ничего подобного! – взмолился я. – Они ведь все равно ничего не понимают в этих вещах!

И я попытался увести его.

– Нет, сначала вы скажите ему, что мы о нем думаем, – возражал он, – пусть он знает, каким он выглядит в глазах благомыслящего американца.

– Предоставьте это мне, – сказал я, выпроваживая Пинкертона за дверь.

– *Qu'est-ce qu'il a?*<sup>12</sup> – спросил студент.

– *Monsieur se sent mal au coeur d'avoir trop regardé votre croûte*<sup>13</sup> – ответил я и поспешил выбежать вслед за Пинкертоном.

– Что вы ему сказали? – спросил тот.

– Единственное, что он еще может понять, и чем его можно пронять, – был, мой ответ.

После этой сцены, после вольности, с какой я вытолкнул моего нового знакомого, и поспешности, с какой выскочил вслед за ним, оставалось только пригласить его позавтракать. Я уже и забыл, куда я его повел; это было где-то около Люксембургского сада. Там мы уселись друг против друга за столиком и начали копаться в жизни и характере друг друга, как это обычно водится среди юношей.

Родители Пинкертона были уроженцы Ольд-Кентри. Как я догадываюсь, и он сам родился там же, хотя он, кажется, забыл об этом. Я никогда не мог допытаться, сам ли он убежал из дому, или отец бросил его; знаю только, что с двенадцати лет он начал существовать самостоятельно. Странствующий фотограф-ферротипист подобрал его где-то на дороге в Нью-Джерси, подобрал так, как срывают ягоды боярышника с живой изгороди; ему понравился этот мальчуган, и он

---

<sup>11</sup> Crust, по-английски, la croûte, по-французски, значит корка – уничижительная кличка дурно намалеванной картины.

<sup>12</sup> Что с ним?

<sup>13</sup> Этот господин почувствовал резь в животе от того, что слишком засмотрелся на вашу мазню.

всюду таскал его за собой в своей бродячей жизни. Он научил его всему, что сам знал, то есть искусству снимать портреты на ферротипных пластинках и сомневаться в священном писании. Он помер потом где-то на дороге в Огайо. «Это был любопытный человек, – воскликнул Пинкертон, – и я хотел бы, чтобы вы видели его, мистер Додд. У него было в наружности что-то такое, что заставляло меня вспоминать о патриархах».

По смерти этого случайного покровителя мальчуган унаследовал его фотографию и продолжал сам заниматься этим делом. «Это была жизнь, которую я охотно избрал, мистер Додд! – воскликнул он. – Я посетил все интересные места, видел всю жизнь этого великолепного континента, который мы с вами рождены унаследовать. Хотел бы я, чтобы вы взглянули на мою коллекцию снимков; жаль, что ее нет сейчас со мной. Я нарочно делал эти снимки для себя, на память; на них природа схвачена в самые ее величественные и полные красоты моменты!»

Во время странствований по западным штатам и территориям, делая снимки, мальчик постоянно запасался книгами, без разбора: худыми, хорошими, безликими, распространенными, неизвестными, начиная с повестей Сильвануса Кобба, вплоть до элементов Эвклида; к моему удивлению, обе эти книги он читал с одинаковым усердием. Он по дороге вдумчиво изучал народ, изделия ремесел и самую страну, обнаруживая замечательный дар наблюдательности и удивительную память. Он собрал ради собственного удовольствия и поучения кучу разного вздора, который, по его убеждению, так сказать, резюмирует собой природного американца. Быть благомыслящим, быть патриотом, загребать обеими руками сведения и деньги, то и другое с одинаковым рвением, – вот, казалось, в чем состоял его символ веры. Впоследствии, конечно, не в первые дни знакомства, я спрашивал у него не раз, зачем он это делает. У него на это был свой ответ: «Для того, чтобы создать тип! – восклицал он. – Все мы обязаны участвовать в этом; все мы должны стараться над созданием типа американца! Лоудон, на нас вся надежда мира. Если и мы провалимся, как феодальные монархи, так что же останется?»

Однако, ремесло фотографа-ферротиписта показалось мальчугану слишком скучным делом. Его амбиция метила выше. Фотография не могла быть расширена, – так объяснял он свои деловые соображения, – притом это дело недостаточно современное. И вот он совершает внезапную перемену и становится железнодорожным скальпировщиком. Я никогда не мог себе уяснить этот промысел в его основах, я знаю только, что сущность его, как кажется, состоит в том, чтобы надувать железные дороги на проездной плате, оттягивая часть этой платы.

– Я вложил в это дело всю мою душу. Я отказывался от еды и от сна, когда я погружался в него. Опытные люди утверждали, что я обдумал и наладил это дело в течение месяца и практиковал его в течение года, – говорил он. – А преинтересная штука, как-никак. Ведь в самом деле забавно подхватить кого-нибудь, идущего мимо, приспособить ваш ум к его характеру и вкусам, отвлечь его от кассы и на лету всучить ему билет туда, куда ему надо. Едва ли какой-нибудь скальпировщик на континенте делал меньше промахов. Но для меня это было только временным делом. Я берег каждый доллар: я смотрел вперед. Я знал, чего я хочу, – богатства, образования, уютного и комфортного дома, образованной женщины в жены, потому что, мистер Додд, – это он уже выкрикивал изо всех сил, – каждый человек должен жениться на женщине выше себя духовно; если жена не берет верх над мужем, то я называю такой брак чувственным. Такова моя мысль. Ради этого я и был бережлив. Ну, и довольно об этом! Но далеко не каждый человек, о, далеко не каждый, может сделать то, что я сделал: закрыть деятельнейшее агентство в Сент-Джо, где можно было добывать доллары целыми котлами, уединиться, и без единого друга, без знания единого французского слова поселиться здесь и расходовать свой капитал на изучение искусства!

– У вас всегда была страсть к искусству, – спросил я его, – или она внезапно овладела вами?

– Ни то, ни другое, мистер Додд, – ответил он. – Правда, во время моих фотографических странствований я научился ценить и возвеличивать творения Божьи. Но это все-таки не то. Дело в том, что я спросил себя: что может быть желаннее всего в моем возрасте и моей стране? Очевидно, больше образования, больше искусства, ответил я себе. Я и выбрал лучшее из двух, захватил все деньги и явился сюда, чтобы овладеть тем, что избрал.

Все существо этого молодого человека и возбуждало, и принижало меня. У него было больше огня в мизинце, чем у меня во всем теле. Он весь пылал мужественными добродетелями, и хотя его художественное призвание ни в чем явно не выказывалось, в глазах такого проникнутого призванием человека, как я, кто мог предугадать, что выработается из этого создания, одаренного

такой кипучей кровью, такой телесной и духовной энергией? Когда он предложил мне побывать у него и взглянуть на его работы (это уж общий обычай дружбы в Латинском квартале), я отправился с ним охотно и с любопытством.

Он жил очень экономно на самом вершине большого дома неподалеку от обсерватории. Он снимал комнату, которая вся была наполнена его собственными ящиками и чемоданами и вместо обоев покрыта его собственными, никуда не годными этюдами. Кажется, нет человека, который бы имел менее вкуса к неприятным обязанностям, чем я, и быть может, единственное, чего я не могу совершить, – это льстить человеку не краснея. Во всем же, что касается искусства, у меня чисто римская прямота и искренность. Я два раза молча оглядел эти стены, отыскивая в каком-нибудь потаенном уголке хоть что-нибудь стоящее внимания. А он тем временем ходил за мной по пятам, читая свой приговор на моем лице, иногда показывая мне какой-нибудь свежий этюд с неестественной боязнью и после того, когда он был безмолвно взвешен на весах критики и найден плохим, убирал его с явным движением безнадежности. Но вот окончился и вторичный обход, и оба мы были совершенно подавлены.

– О, – пробормотал он после долгого молчания, – вам нет надобности и говорить!..

– Хотите, я буду вполне откровенен с вами? Я думаю, что вы напрасно тратите время, – сказал я.

– Неужели вы не видите во всем этом ничего сулящего удачу? – спросил он, все еще не теряя надежды и впери в меня свои сверкающие глаза. – Вот, взгляните хоть на эту дыню. Один приятель находил ее недурной.

Мне оставалось только еще раз внимательно разглядеть эту дыню; но, всмотревшись в нее, я мог только покачать головой.

– Мне очень грустно, но я не могу поощрять вас к дальнейшим стараниям, Пинкертон, – сказал я.

Он, казалось, успел вполне овладеть собой и воспрянуть из бездны разочарования, так сказать, подскокить, словно резиновый мячик.

– Ну, что ж! – проговорил он решительным тоном. – Конечно, это для меня сюрприз. Но я буду продолжать, что начал, и вложу в это дело всю мою душу. Не думайте, что время потеряно даром. Ведь это все-таки образование; это поможет мне расширить круг знакомств, когда вернусь домой; это поможет мне приспособиться к какому-нибудь иллюстрированному журналу; а потом я всегда могу сделаться купцом, – говорил он, с удивительной простотой делая это предположение, которое произвело бы на Латинский квартал потрясающее впечатление. – Впрочем, это ведь просто-напросто опыт, попытка, – продолжал он, – а здесь, как мне кажется, проявляется склонность унижить опыт и со стороны выгоды, и со стороны помещения капитала. А между тем все это сделано мной не без выгоды. Во всяком случае, вам надо было обладать мужеством, чтобы сказать то, что вы сказали, и я никогда этого не забуду. Вот вам моя рука, мистер Додд. Я не ровня вам по образованию и таланту.

– Почему же вы знаете? – прервал я его. – Я видел вашу работу, но вы мной не видели.

– Да, не видел, – воскликнул он, – и потому отправимся сейчас же взглянуть на нее. Только я знаю, что ваша работа лучше, чувствую это заранее.

По правде сказать, мне было почти стыдно вводить его в свою студию, потому что моя работа, уж какая бы там она ни была, худая ли, хорошая ли, была неизмеримо лучше, чем его. Но теперь он совершенно оправился, и он даже удивил меня дорогой своими легкомысленными разговорами и новыми затеями. Я уже начинал понимать, что тут у нас, в сущности, произошло; не артист в нем был задет и обижен в своей страсти к искусству, а только деловой человек, с широкими замыслами и интересами, вдруг убедившийся, да еще притом с такой неожиданностью, что одно из двадцати помещений его капитала было неудачно.

Впрочем, хотя я никак этого не подозревал, он уже начал искать себе утешение в другом и ласкал себя мыслью об отплате мне за мою искренность, о скреплении нашей дружбы, и – одно к одному – о подъеме моей оценки его талантов. Я тем временем говорил ему что-то о себе; он вынул записную книжку и кое-что в ней записал. Когда мы вошли в студию, я снова увидел книжку в его руках и увидел, как он поднес ко рту карандаш, после того как бросил выразительный взгляд вокруг на мою некомфортабельную обстановку.

– Что это вы, хотите сделать набросок моей мастерской? – не удержался я от вопроса, снимая покрывало с моего Мускегонского Гения.

– О, это мой секрет, – сказал он. – Вам ни за что не догадаться. Мышь может пособить льву.

Он обошел вокруг моей статуи, и я объяснил ему ее. Я представил Мускегон в виде очень юной матери, несколько напоминающей индианку; на коленях у нее сидел младенец с крыльями, – эмблема нашего будущего воспарения; постамент ее был покрыт смесью скульптурных орнаментов в греческом, римском и готическом стилях, чтобы напомнить нам о тех древних мирах, откуда мы сами произошли.

– И что же, это удовлетворяет вас, мистер Додд? – спросил он, когда я объяснил ему все подробности моего произведения.

– Да, – сказал я, – приятели, как кажется, находят эту вещь недурной *bonne femme*<sup>14</sup> для начинающего. Да я и сам думаю, что это не так уж плохо. Вот, взгляните отсюда, с этого места. Нет, как хотите, в этом уже есть что-то похожее на дело, – допустил я, – но я намерен сделать нечто получше.

– Вот это настоящее слово! – вскричал Пинкертон. – Это слово я люблю! – И он снова что-то записал в свою книжку.

– Что вам в этом творении не нравится? – спросил я.

– Час от часу не легче! – рассмеялся Пинкертон. – Что же тут может не нравиться? Это прекрасная вещь!

И он опять принялся записывать.

– Ну, коли вы намерены говорить такие вещи, то я уберу с глаз долой предмет нашего собеседования. – И я начал закрывать холстом своего Гения.

– Нет, нет, – сказал он, – не спешите. Лучше поучите меня. Укажите мне, что тут у вас вышло особенно хорошо.

– Смотрите сами, что вам кажется лучше, – сказал я.

– Горе-то мое в том, что я никогда не был особенно внимателен к скульптуре, – сказал он, – я только любовался ею, как, впрочем, и всякий, у кого есть душа. Будьте же добрым малым, объясните мне, что вам тут всего более нравится, что вы хотели этим представить и в чем тут заслуга. Ведь это для меня будет полезным уроком.

– Ну, хорошо. Вот видите ли, в скульптуре первое дело – масса. Ведь скульптура – род архитектуры, – начал я и прочел ему лекцию об этой отрасли искусства, иллюстрируя ее указаниями на мое собственное произведение, лекцию, которую я не привожу, хотите вы этого или не хотите.

Пинкертон слушал с большим интересом, переспрашивал меня с несколько грубой бесцеремонностью и все продолжал строчить свои заметки и занимал ими чистые странички в своей записной книжке. Мне нравилось, что мои слова записываются, словно лекция профессора. Я был очень неопытен во всем, что касается печати, я не знал, что все это будет напечатано. По той же причине (странная черта в американце!) я никак не предполагал, что эти его записки предназначаются для того, чтобы из них вышли строчки газетной статьи по пенни за штуку, не думая, что я сам, моя персона и мои работы в области искусства предназначались «на убой», в интересах читателей воскресной газеты. Между тем, прежде чем я окончил излияния своего теоретического красноречия, на Мускегонского Гения успела уже спуститься ночь, и я расстался с моим новым другом не без того, чтобы уговориться повстречаться на следующий день.

Я был очень взволнован этой моей первой встречей с земляком, и чем дальше подвигалось наше знакомство, тем более я им интересовывался и развлекался, и привязывался к нему. Не могу сказать, чтобы в нем не было никаких недостатков, и не только потому, что уста мои сковывало чувство признательности, но потому, что те недостатки, которые в нем обнаруживались, происходили больше от его воспитания, и можно было видеть, что он их замечал сам и исправлял. Однако все-таки, он был для меня довольно беспокойным другом, и, главное, эти беспокойства от его дружбы начались в самое ближайшее время.

Прошло, кажется, не больше двух недель, как я уже разгадал секрет его записной книжки. Скоро мне стало известно, что мой хват пишет корреспонденции в одну из газет дальнего Запада,

---

<sup>14</sup> Добрая женщина – выражение, соответствующее нашему: тетка, тетенька, бабенка.



и что одна из этих корреспонденций была посвящена мне. Я сказал ему, что он не имел права так поступать, не спросив моего позволения.

– Я был уверен, что вы согласитесь! – воскликнул он. – Но вы могли из скромности, для виду, начать отнекиваться.

– Но, друг мой, – возражал я ему, – вы бы хоть предупредили меня.

– Я знаю, что так полагается по этикету, – согласился он, – но когда дело происходит между друзьями, и когда при этом имелось в виду только оказать вам услугу, я полагал, что можно обойтись и без лишних церемоний. Мне хотелось сделать вам сюрприз. Мне хотелось, чтобы вы, как лорд Байрон, проснулись и нашли около себя газету, где написано о вас. Вы сами согласитесь, что такая мысль не имеет в себе ничего ненатурального. Кому же охота заранее хвастаться тем, что он услужит своему приятелю?

– Но, Господи Боже мой, почему вы знали, что я сочту это услугой?! – вскричал я.

Тогда он мгновенно впал в отчаяние.

– Я вижу, вы сочли это за излишнюю вольность, – сказал он. – Но я готов дать руку на отсечение, что действовал из лучших побуждений. Я бы все это уничтожил, кабы не было поздно; но теперь статья уже напечатана. А я-то еще с таким удовольствием, с такой гордостью писал ее!

Теперь уже я думал только о том, чтобы утешить его.

– Ну, ладно, оставим это, – говорил я. – Я уверен, что вы это сделали с наилучшими намерениями и притом были уверены, что действуете вполне добропорядочно.

– Могу поклясться чем угодно, что это так! – вскричал он. – Это блестящая, первокласснейшая газета – «Воскресный Герольд», издающаяся в Сент-Джо. Мысль о корреспонденциях принадлежит мне; я лично виделся и переговорил с издателем, убедил его. Новость этой идеи понравилась ему, и я ушел от него с контрактом в кармане, и в тот же вечер, там же, в Сент-Джо, написал свою первую корреспонденцию из Парижа. Издатель, как только взглянул на заголовок, так прямо и сказал: «Вы именно тот, кто нам нужен».

Конечно, я был не очень-то утешен этим первым кратким опытом в литературном жанре, но я ничего не сказал и упражнял свою душу в терпении, пока не дождался номера газеты, на уголке которой было написано: «Привет от Д. П». Я с чувствительной робостью развернул лист, и вот, между отчетом о борьбе за призы и статьей о какой-то хироподии (вы только вообразите себе эту хироподию, обработанную по-газетному!) я увидел полтора столбца, в которых шло восхваление меня самого и моей статуи. Подобно тому, как это сделал издатель с Первой корреспонденцией, я тоже прежде всего бросил взгляд на заголовок и был удовлетворен по горло.

**НОВАЯ ПИКАНТНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ БЕСЕДА ПИНКЕРТОНА  
УЧЕНИКИ-ХУДОЖНИКИ В ПАРИЖЕ  
МУСКЕГОНСКИЙ КОЛОННАДНЫЙ КАПИТОЛИЙ  
Сын Миллионера Додда,  
Патриот и артист,  
«Он намерен сделать лучше».**

В тексте статьи, по мере того, как мои глаза пробежали его, встречались чертовски сильные выражения: «Фигура несколько мясистая...», «яркая, полная ума улыбка...», «бессознательность гения». «Теперь мистер Додд, – заканчивал корреспондент, – каково же будет ваше мнение об особенном, чисто американском качестве скульптора?» Верно, что вопрос этот был задан, и – увы! – верно и то, что я на него ответил! И мой ответ, представлявший собой какое-то странное крошево, был предан гласности, напечатан. Я благодарил Бога, что мои друзья, французские студенты, не понимают по-английски, но когда я вспоминал о товарищах-англичанах, Мейнере, например, или Стенвайзе, мне кажется, я готов был бы кинуться на Пинкертон и избить его.

С целью рассеять, если бы это было возможно, мои мрачные мысли, вызванные этой напастью, я обратился к письму моего отца, которое как раз было получено. В конверте была вырезка из газеты, и мои глаза опять сновали по «сыну миллионера Додда», «мясистой фигуре» и прочим позорным бессмыслицам. Что подумал мой отец, захотелось мне узнать, и я развернул его письмо.

*«Дражайший мой мальчик, – так начиналось оно, – посылаю тебе вырезку из Сент-Джозефской большой газеты, доставившую мне большое удовольствие. Наконец-то и о тебе заговорили, и я не могу без радости и признательности подумать о том, сколь немногие юноши твоего возраста занимают собою два газетных столбца, посвященные исключительно им. Как бы мне хотелось, чтобы твоя мать была при этом и прочла бы это через мое плечо. Но мы будем надеяться, что она созерцает мое признательное волнение с небес. Я послал вырезку твоему дедушке и дяде в Эдинбург, так что прилагаемую ты можешь оставить у себя. По-видимому, этот Джим Пинкертон – очень ценное для тебя знакомство; у него, наверное, большой талант. Вообще знакомство с писателем – очень хорошая вещь».*

Все это, надеюсь, можно было записать на правую сторону моей счетной книги. И не успел я дочитать этих слов, таких трогательно мягких, как моя злоба против Пинкертона превратилась в благодарность. Из всех событий моей жизни, за исключением, быть может, моего рождения, ни одно не доставило моему отцу такой глубокой радости, как эта статья в «Воскресном Герольде». Как же я был глуп, что вздумал жаловаться! Вместо этого я должен был бы благодарить, и мне следует теперь погасить этот долг. Поэтому, при первой же встрече с Пинкертоном я все ему рассказал.

– Отец доволен и находит статью очень искусно написанной, – сказал я ему. – Впрочем, что до меня самого, то публичность мне не по вкусу; публика не имеет дела с артистом, а только с его произведениями искусства. Я знаю, что вы действовали под влиянием доброго чувства, но прошу у вас как милости, чтобы вы впредь этого не делали.

– Ну, так и есть, – уныло произнес он. – Я обидел вас, знаю, что обидел, Лоудон, не разуберяйте меня. Это была бестактность.

Он сел и склонил голову на руку.

– Видите, когда я был юношей, я не получил хорошего воспитания, – добавил он.

– Ничуть не бывало, милый мой друг, – сказал я. – Только в другой раз, когда захотите оказать мне услугу, говорите лишь о моей работе; оставьте в покое мою злополучную особу, и в особенности мои злополучные разговоры, а главное, прошу вас, – добавил я с содроганием, которое не мог подавить, – не описывайте, мою манеру говорить. Ведь вот тут, например, вы пишете, что я проговорил свои слова «с гордой и веселой улыбкой». Ну, кому надо знать, улыбался я или не улыбался!..

– Ну, нет, Лоудон, вы ошибаетесь, – прервал он меня. – Публика это любит; описание личности имеет свои выгоды. Перед читателем словно воочию происходит вся сцена; разве не приятно последнему из граждан пережить то же, что я пережил? Подумайте хоть, например, о моих чувствах в то время, когда я странствовал со своими ферротипиями, если бы в то время мне попало полтора столбца разговора журналиста с каким-нибудь артистом в его мастерской, за границей, разговора именно о его искусстве; разве мне не было бы приятно узнать, как он выглядит, как он сделал то или другое, какой вид имела комната, что подавали на завтрак. Разве я не мечтал бы в то время, когда уселся закусывать где-нибудь у ручейка, о том, что если дела пойдут удачно, то рано или поздно и меня ждет такой же успех. Ведь это похоже на щелочку, сквозь которую подглядываешь, что делается на небе!

– Ну, коли это доставляет такое удовольствие, то потерпевший не будет жаловаться, – согласился я. – Только напишите уж и о других товарищах.

Дело кончилось тем, что дружеские отношения между мной и газетным сотрудником очень укрепилась. Если я что-нибудь понимаю в человеческой натуре – и здесь слово если я употребляю вовсе не ради риторики, а чтобы выразить откровенное сомнение, – то дружба наша укрепилась не взаимными выгодами, не вместе перенесенными и благополучно пережитыми опасностями, а именно этой размолвкой, этой фундаментальной разницей вкусов и воспитания, взаимно признанной и прощенной.

## Глава IV

### Я испытываю капризы фортуны

Оттого ли, что я уже был научен горьким опытом моего двукратного банкротства в Коммерческой школе, или путем прямого унаследования от моего деда, бывшего подрядчика, старика Лоудона, – не подлежит сомнению тот факт, что я был человек бережливый. Смотри на себя беспристрастным оком, я должен признать, что это была моя единственная добродетель. В течение двух первых лет моей жизни в Париже я не только не выступал из пределов получаемой мной пенсии, но даже скопил изрядное сбережение в банке. Вы скажете, что при моей маскарадной жизни на манер бедного студента мне это было вовсе не трудно; у меня должны были оказаться запасы средств, и было бы удивительно, если б у меня их не было. Случай, приключившийся со мной на третьем году парижской жизни, вскоре после знакомства с Пинкертоном, показал мне, что я поступал очень благоразумно. Подошел срок присылки мне денег, а повестки не было. Я послал письмо, и в первый раз за все время не получил на него ответа. Каблограмма оказалась действеннее, потому что принесла мне хоть надежду на то, что мне окажут внимание. «Напишу обо всем», – телеграфировал мне отец. Но я долго не получал от него письма. Я был сбит с толку, зол и встревожен. Однако благодаря сбережениям не могу сказать, чтоб был на самом деле поставлен в затруднение. Затруднение, бедствие, агония – все было на стороне моего несчастного отца, там, дома, в Мускегоне, где он боролся за существование и имущество против своенравной судьбы; после длинного дня, проведенного в бесплодных хлопотах, он возвращался домой, чтобы читать и, быть может, рыдать над последним сердитым письмом его единственного детища, на которое он не имел мужества ответить.

Месяца через три, когда мои сбережения начали уже истощаться, я, наконец, получил письмо с обычным переводным векселем.

*«Дорогой мой мальчик, – писал он, – под давлением трудных обстоятельств твои последние письма поневоле были оставлены без ответа некоторое время. Ты должен попытаться извинить твоего бедного старого папу, потому что для него наступили тяжелые времена. И теперь, когда все это прошло, доктор предписывает мне взять ружье и отправиться в Адирондаке ради отдыха. Не думай, что я расхворался, нет, я только ужасно утомлен и стал чувствителен к погоде. Многие из наших дельцов уезжают отсюда. Джон Мак-Бреди уехал в Канаду; Билли Сандуис, Чарли Даукс, Джо Кайзер и многие другие из наших выдающихся людей повалились так, что уж и подняться не могут, только упорный Додд выдержал бурю, и я думаю, мне так удалось устроиться, что к осени мы будем богаче, чем были раньше.*

*Теперь хочу сказать тебе, дорогой мой, что я затеял. Ты говоришь, что твоя первая статуя удалась. Отделай и закончи ее как следует, и если твой учитель – все я забываю, как выговаривается его имя, – пришлет мне удостоверение, что она исполнена вполне удовлетворительно по правилам искусства, ты получишь десять тысяч долларов и можешь ими распорядиться, как тебе вздумается у себя на родине или в Париже. Если, как я предполагаю, в Париже всего удобнее работать, то тебе бы хорошо было купить или выстроить себе там домик; и твой папа первым делом заявился бы к тебе на новоселье позавтракать. Я и в самом деле собираюсь к тебе; стар становлюсь и очень уж скучаю о моем дорогом мальчике, так долго его не выдавши, да только вот задерживают разные операции, которые надо как следует наладить и пустить в ход. Скажи своему другу Пинкертону, что я читаю его корреспонденции каждую неделю; и хотя я напрасно искал в них имя*

*моего Лоудона, все же ознакомился с жизнью, какую он ведет в этом страшном Старом Свете, описываемом талантливым пером».*

Это было такое письмо, какое ни один молодой человек не может переварить в одиночестве. В нем было нечто, чем было необходимо с кем-нибудь поделиться. И, конечно, избранный мной для этого приятель не мог быть не кто иной, как Пинкертоном. На этот выбор могло навести меня даже само письмо моего отца; но я это только так говорю, потому что наша дружба с Пинкертоном и без того зашла достаточно далеко. Я чувствовал сердечное влечение к моему земляку. Случалось, что я и подтрунивал над ним, и журил, но все же любил его. Он со своей стороны питал ко мне что-то вроде собачьей привязанности; он смотрел на меня как-то снизу вверх, как человек, который восторгается в другом теми преимуществами, какими сам желал бы обладать. Он ходил за мной по пятам; его смех сопровождал мой; наши общие друзья дали ему кличку «пажа». Порабощение ближнего предстало предо мной в этом коварном виде.

Мы с Пинкертоном читали и перечитывали знаменитое послание, и могу поклясться, что он делал это с более чистой и шумной болтливой радостью, чем я сам. Моя статуя была почти закончена; мне оставалось несколько дней работы, чтобы подготовить ее на выставку; она была показана учителю, и он дал согласие. И вот, в одно пасмурное майское утро, мы собрались в моей мастерской, ожидая экзамена. Учитель был украшен своей орденской ленточкой. Он явился в сопровождении двух моих сотоварищей-учеников, французов; оба были мои друзья, и оба теперь известные парижские скульпторы. Наш «капрал», как мы называли его, на этот раз отложил в сторону свои учительские манеры, которыми он так много выигрывал во мнении публики, и держался просто, по-провинциальному. Тут же, по особой моей просьбе, присутствовал и мой милый, старый Ромнэй; кто его знал, тот понимал, что удовольствие тогда только будет полным, когда его разделяешь с Ромнэем, да и горе переносится куда легче, если Ромнэй тут, – он сумеет утешить. Сборище дополнялось англичанином Мейнером и братьями Стеннисами, Стеннисом-аіне (то есть старшим) и Стеннисом-фреге (то есть братом), как они обычно различались; оба были легкомысленные шотландцы; конечно, присутствовал и неизбежный Джим, бледный как полотно и покрытый испариной от боязливого ожидания.

Я думаю, что и сам-то я был разве немного получше в ту минуту, когда стаскивал холстину с моего Мускегонского Гения. Учитель молча и серьезно обошел его вокруг; потом он улыбнулся.

– Что ж, это уже недурно, – сказал он на своем ломаном английском языке, которым он так гордился, – нет, ничего себе, недурно.

Все мы вздохнули с облегчением. Капрал Жан (как старший среди присутствующих), объяснил, что статуя предназначается для публичного здания, которое представляет собой нечто вроде префектуры.

– Что-о-о?.. – внезапно переходя на родной язык, воскликнул учитель. – Qu'est-ce que vous me chantez là?.. (Что вы мне поете). – Ах, да, в Америка! – добавил он, выслушав дальнейшие разъяснения. – Ну, эта трукой тел! Тогда ошень харошь, ошень харошь!..

Тут ему постарались осторожно и в шутовском тоне внедрить мысль насчет свидетельства от его имени о благоуспешности работы. Упомянули при этом и об отцовской фантазии американского набоба и даже что-то такое о краснокожих Фенимора Купера. Пришлось вкуче сочетать все наши таланты, чтобы придумать приемлемую с обеих сторон формулу этого аттестата. Наконец придумали, и капрал Жан изложил ее своим неудобочитаемым почерком; учитель украсил ее своей подписью с надлежащим росчерком; я запечатал аттестат в конверт вместе с другим заготовленным письмом, и в то время, как мы всей компанией тронулись завтракать на бульвар, Пинкертоном помчался на почту сдать мое послание.

Завтрак был заказан у Лавеню, где можно было без смущения и колебания угощать даже и учителя. Стол накрыли в садике. Я сам позаботился насчет меню, а насчет вин состоялся целый военный совет, принявший самое удовлетворительное решение. Как только учитель отложил в сторону свой ужасный английский язык, так тотчас же общая беседа приняла почти исступленные размеры. Правда, она иногда прерывалась тостами. Выпили за здоровье наставника, и он ответил ловко скомпонованным спичем, полным счастливых намеков на мою будущность и на Соединенные Штаты. Потом пили за мое здоровье; потом не только предложили и выпили за моего отца, но и решили ему послать телеграмму – экстравагантность, которая взяла начало в

разнuzданных от возлияний чувствах учителя. Избрав для исполнения этого поручения капрала Жана (вероятно, на том основании, что он уже почти стал артистом), учитель все повторял: «C'est barbare!», очевидно, выражая этими словами свои восторженные чувства. В промежутках между этими излияниями пылких чувств мы говорили, говорили без умолку об искусстве так, как могут говорить только артисты. Здесь, в южных морях, мы больше всего говорим о шхунах, а там, в Латинском квартале, мы толковали об искусстве с таким же неослабным интересом и, пожалуй, с таким же результатом.

Учитель через некоторое время удалился восвояси; капрал Жан последовал за ним по пятам (ведь он был уже и сам что-то вроде юного учителя), а с их уходом устранились всякие церемонии; теперь мы оставались все равные; бутылки ходили по кругу, разговор оживился. Мне кажется, я и сейчас слышу словообильные тирады братьев Стеннисов. Дижон, мой сосед по комнате, сыпал удачейшими остротами; кто-то другой, не француз и человек не бойкий в иностранных языках, все старался вломиться в беседу, выстреливая фразами, вроде: «Je trouve que pore oon sontimong de delicasy, Corot...» или «Pour moi Corot est le plou»<sup>15</sup>, но его маленький французский плот сразу нырял под воду, а потом снова карабкался на берег. Но этот, по крайней мере, хоть понимал, что говорят другие; а вот Пинкертон, так тот от шума, вина, солнца, от зеленой тенистой листвы, наконец, от гордого сознания, что он участвует в иноземном пиршестве, лишился всякой возможности участвовать в разговоре.

Мы сели за стол около половины двенадцатого и, надо полагать, часов около двух, под влиянием разговоров и споров об искусстве и картинах, решили отправиться в Луврскую Галерею. Я уплатил по счету, и спустя минуту мы уже шествовали по Реннской улице. Была удрушающая жара. Париж блистал тем свойственным ему поверхностным блеском, который так приятен человеку в сильно приподнятом настроении духа и так угнетает при подавленном настроении. Вино шумело у меня в ушах, прыгало и сверкало у меня в глазах. Картины, которые мы смотрели в тот день, быстро и шумно проходя по бессмертным галереям, казались мне упоительными, а наши замечания о них, то важные, то игривые, относились к области критики высочайшей марки.

Когда мы вышли из музея, в нашей компании обнаружилась разница расовых вкусов и склонностей. Дижон предлагал идти в кофейню и закончить день пивом. Старший Стеннис возмущался этим предложением и настаивал на загородной прогулке в лес, что ли, но только чтобы куда-нибудь подальше идти. В то же время англичане стояли за какую-нибудь гимнастическую или спортивную затею. Мне лично, часто тяготившемуся моим сидячим образом жизни, мысль о загородной прогулке показалась самой привлекательной. Прикинули время и увидели, что у нас как раз хватит времени поспеть на извозчиках к скорому поезду, идущему в Фонтенбло. Но с нами кроме одежды не было почти ровно ничего из обычной поклажи путешественников; возник вопрос, не найдется ли у нас еще время на то, чтобы запастись, захав домой, сумками? Но братья Стеннисы возопили против нашей изнеженности. Они приехали из Лондона, кажется, только с одними пальто да зубными щеточками. Вся тайна существования состоит в том, чтобы обходиться без багажа. Конечно, обращаться к парикмахеру каждый раз, когда нужно причесаться или побриться, – это требует лишних расходов, и каждый раз при покупке новой рубашки приходится бросать заношенную. Но все, что вам угодно, лучше, – рассуждали братья Стеннисы, – чем быть рабом чемодана и саквояжа.

– Добрый малый должен понемногу освобождаться от всяких материальных привязанностей, – говорили они, – это будет настоящее состояние человека взрослого, а до тех пор, покуда вы чем бы то ни было связаны – домом, зонтиком, дорожным ремнем, – это будет все равно, что у вас еще пуповина не перерезана.

В этой теории было что-то заманчивое, увлекавшее большинство из нас. Правда, два француза, посмеявшись над нами, ушли пить пиво, да Ромнэй, человек небогатый, не мог принять участие в поездке на свои средства и не желавший одолживать, тоже ушел, чтобы не навязываться. Оставшиеся в компании уселись в экипаж; кони вздрогнули, восприняв вдохновение возницы, к карманным интересам которого было обращено надлежащее воззвание; поезд был захвачен за минуту до отхода. Не прошло и полутора часов, как мы уже вдыхали

---

<sup>15</sup> Французские фразы, изуродованные в произношении на английский манер: «Я нахожу, что в отношении чувства деликатности, Коро... и Для меня Коро наиболее...»

нежнейший воздух леса; мы шли через холм от Фонтенбло к Барбизону, и вожди нашей компании прошли это расстояние в пятьдесят одну с половиной минуту, – в своем роде исторический рекорд той местности. Едва ли вы изумитесь, узнав, что я несколько поотстал от них. Философски настроенный британец, Мейнер, был моим спутником; великолепие солнечного заката, длинные тени, чудный воздух, вообще все наслаждение, доставляемое лесом, побуждало меня шагать молча, и мое молчание сообщалось моему спутнику. Помню, что когда он, наконец, заговорил, то я словно встрепенулся от глубокой задумчивости.

– Ваш отец, должно быть, добрейший из отцов, – сказал он. – Чего он не приедет сюда повидаться с вами?

У меня нашлось бы на это несколько дюжин ответов готовых, да еще больше того в запасе; но Мейнер сосвойственной ему пронизательностью, из-за которой его все боялись и которой все дивились, внезапно уставился на меня сквозь свои очки и спросил:

– Вы настаивали на том, чтобы он приехал?

Кровь залила мое лицо. О, нет, никогда я не настаивал на том, чтобы он приехал; никогда даже никак и ничем его не побуждал к тому. Я им гордился, гордился его внешностью, его манерами, его лицом, которое становилось таким ясным, когда он видел, что другие счастливы; гордился, хотя и нехорошо, пожалуй, было этим гордиться, его большим богатством и щедростью. Притом он знал о моей жизни в Париже во всех подробностях, и кое-что в этой жизни не одобрял. Я боялся, чтобы кто-нибудь не стал насмехаться над его наивными отзывами об искусстве. Я всем говорил, да отчасти и сам тому верил, что он не собирается в Париж. Я был и теперь еще остаюсь в убеждении, что вне Мускегона он всюду будет чувствовать себя нехорошо. Словом, у меня были тысячи всяких дурных и хороших причин ни на йоту не сомневаться в том, что он ждет только моего приглашения.

– Спасибо вам, Мейнер, – сказал я, – вы лучший товарищ, чем я думал. Я сегодня же напишу ему.

– О, вы очень скромный человек, – ответил он с более чем обычной живостью, но как мне казалось, без малейшего следа иронии.

Да, это были хорошие дни, о которых я всегда буду помнить. Не дурны были и те, которые за ними последовали, когда мы с Пинкертоном слонялись по Парижу и его пригородам, осматривая дома для моей новой мастерской и прицениваясь к ним, или, покрытые пылью, несли домой разных китайских идолов и бронзовые вещи, приобретенные у старьевщиков. Пинкертон потратил немало денег на покупку разных картин и редкостей для Соединенных Штатов; тут в этом деле, между прочим, выяснилось, что он, не будучи знатоком, проявил себя все же хорошим оценщиком. Сами вещи не возбуждали в нем ровно никакого чувства, но он радовался, что дешево купил их и дорого продает.

Между тем подошло время, когда я должен был получить ответное письмо от отца. Почта приходила каждый день, но мне ничего не доставляли. Наконец я получил какое-то странное письмо, почти бессвязное, в котором были и утешения, и ободрения, и вопли раскаяния и отчаяния. Из этого возбуждавшего жалость документа, который я, движимый сыновним чувством, поспешил сжечь как только прочитал, я убедился в том, что пузырь богатства моего отца лопнул, что он и нищ, и болен, я вместо того, чтобы получить десять тысяч долларов и растратить их по-мальчишески, мог быть спокоен за свою будущность лишь в пределах той четверти года, которая у меня была оплачена. Касса моя пока еще была довольно исправна; но во мне нашлось достаточно здравого смысла, чтобы понять, и достаточно благоприличия, чтобы исполнить свой долг. Я продал все свои редкости, или, правильнее сказать, поручил Пинкертону продать их; но он так экономно их покупал и так расчетливо распродал, что потеря моя на них оказалась ничтожной. Вместе с тем, что у меня оставалось от последней пенсии, у меня всего скопилось не менее пяти тысяч франков. Из них пятьсот я отложил на мои текущие нужды; остальные все на той же неделе отправил отцу в Мускегон, куда эти деньги и пришли как раз ему на похороны.

Известие о смерти отца поразило меня более как неожиданность, нежели как горе. Я не мог себе представить отца бедным человеком. Он слишком долго вел жизнь беззаботную и расточительную, чтобы перенести такую перемену. За себя я горевал, но за отца радовался, что он ушел от предстоящей житейской борьбы. Я сказал, что горевал за себя; кто знает, может быть, в то самое время тысячи людей тоже горевали по причинам гораздо более ничтожным. Я потерял

отца; я лишился средств к существованию; все мое богатство, считая и то, что мне пришлют обратно из Мускегона, едва ли превысит тысячу франков; да еще к довершению моей беды контракт на поставку статуй перейдет в другие руки. А у нового контрагента был свой собственный сын или, быть может, племянник, и мне с надлежащими соболезнованиями было дано знать, чтобы я искал другой рынок для моего товара. Я сдал свою комнату и стал ночевать в мастерской на складной кровати. И теперь, было ли дело ночью, когда я укладывался спать, или утром, когда я просыпался, передо мной торчала эта, отныне бесполезная грудка – мой Мускегонский Гений. Бедная каменная барыня! Явилась она на свет для того, чтобы воцариться над позолоченным, гулкозвучным куполом нового Капитолия, а теперь кто знает, какая судьба ее ждет! Может быть, она будет разбита, пойдет в лом, как неудачно выстроенное судно, негодное для плавания! И что-то станет с ее злополучным создателем, с его тыщонкой франков на пороге такой трудной жизни, как жизнь скульптора!

Обо всем этом мы с Пинкертоном часто разговаривали. По его мнению, мне следовало немедленно бросить мою профессию.

– Бросить надо все это, сейчас же! – убеждал он меня. – Поедем вместе домой и там всей душой уйдем в дела. У меня есть деньги, у вас образование. «Додд и Пинкертон»! Лучшего сочетания имен для объявлений я и не видывал. А вы себе представить не можете, Лоудон, как много значит имя!

Я лично держался того мнения, что скульптор должен обладать одним из трех достоинств: капиталом, значением или же энергией, но не менее как адской. Два первых шанса у меня теперь были утрачены, а к третьему у меня никогда не было ни малейшего позыва. Поэтому у меня теперь и обозначилось малодушие (а кто знает, пожалуй, и мужество), побуждавшее меня повернуться спиной к моей карьере, хотя и не бежать от нее. Я говорил Пинкертому, что как ни малы были мои шансы на успех по скульптурной части, но в коммерческих делах они могут оказаться еще слабее, и что к ним-то я уже совсем не чувствую ни склонности, ни способности. Но об этом он рассуждал так же, как покойный отец. Он уверял меня, что я говорю не зная дела; что каждый умный и образованный человек наверняка будет иметь успех в торговле; что я должен в этом смысле унаследовать способности своего отца; и что, наконец, я подготовлен к этому в торговой школе.

– Но вспомните же, Пинкертон, – говорил я ему, – что за все время пребывания здесь я не выказывал ни малейшего интереса к какому-либо торговому делу! Для меня всякое «дело» – чистая отравка!

– Не может этого быть! – кричал он. – Невозможно это! Вам нельзя будет жить среди дел и не чувствовать стремления к ним! Какая бы там ни была у вас поэтическая душа, вам не утерпеть! Ей-Богу, Лоудон, вы меня с ума сведете! Ведь подумайте – там, где люди бьются с утра до ночи, до истощения сил, вы не хотите рискнуть грошом, чтобы попытаться счастье! Тут у вас, около самых рук ваших, целая будущность, целое богатство, и вы только высматриваете какую-нибудь щелочку, куда бы можно было просунуть руку с долларом, и вы стоите одной ногой в разорении, а другой – на грудке долларов, и все кругом вас бурлит и кипит в погоне за удачей, – да неужели все это не способно вовлечь в себя человека и закружить его!

На эту поэму торгашества я мог ответить поэмой искусства. Я напомнил ему пример упорного труда, настойчивости, упорного сопротивления всяким невзгодам жизни, которыми иллюстрируется служение Аполлону, начиная от Милье и кончая нашими товарищами и друзьями, которые карабкаются сквозь скалы и камни, без копейки в кармане, но полные надежд.

– Вам никогда не понять этого, Пинкертон, – сказал я ему. – Вы смотрите только на результат; вам нужна выгода как результат ваших усилий; поэтому вы никогда не выучитесь рисовать, хотя бы прожили Мафусаилов век. Результат всегда ошибка; взор артиста углублен внутрь; он живет ради идейного образа. Взгляните на Ромнэя. Вот это настоящая артистическая натура. У него нет ни копейки, а предложите ему на завтра командование армией или президентство в Соединенных Штатах, он не примет, вы это сами хорошо знаете.

– Да, не примет, – кричал Пинкертон мне в ответ, ероша волосы обеими руками, – и я не могу понять почему! И не знаю, чего он хочет и что из него выйдет. Я не могу до этого возвыситься; должно быть, это происходит от недостатка образования. Но одно скажу, Лоудон: я так ничтожен, что все это мне кажется глупостью. Ведь как ни верти, – добавил он с улыбкой, – я не вижу, что вы

будете делать с вашими «идейными образами» без хорошего обеда. И вы никакими силами не выколотите из моей головы убеждения, что задача каждого человека состоит в том, чтобы стать богачом, если он может.

– Но чего ради? – спросил я.

– Не знаю, – ответил он. – Чего ради, например, вот хоть вы стремитесь сделаться скульптором? Я сам с удовольствием стал бы скульптором. Я только не могу понять, почему вы не хотите быть и еще кем-нибудь. Мне думается, что это указывает на ограниченность натуры.

Уж не знаю, понял он меня или нет, – притом я сам, после перенесенных мной ударов, был в таком состоянии, что и сам-то себя, пожалуй, не понимал, – но все-таки через некоторое время убедился, что я говорю серьезно. Пробившись со мной дней десять, он вдруг оставил все эти разговоры и объявил мне, что его деньги на исходе, и что ему надо ехать домой. Нет сомнения, что он уже давно бы собрался и уехал, и если оставался, то лишь ради нашей дружбы и сочувствия к моим бедствиям. Но человек уж так устроен, что я хоть и понимал это, но от этого только пуще раздражался. Его отъезд мне представлялся чем-то вроде бегства. Я этого не говорил, но, должно быть, невольно это выказывал. И мне казалось, что я усматриваю что-то вроде раскаяния в его удрученном, как у висельника, лице и всей фигуре. Несомненно лишь то, что во время его сборов мы как-то сторонились друг от друга, – обстоятельство, о котором я вспоминаю со стыдом. В последний день он повел меня обедать в ресторан, который, как он знал, я раньше посещал, а потом, ради экономии, перестал туда ходить. Он казался очень расстроенным; я тоже был и скучен, и зол; обед прошел у нас почти без разговоров.

– Ну, Лоудон, – заговорил он с видимым усилием, после того, как мы выпили кофе и стали курить, – едва ли вы в силах понять всю признательность, все благожелание, какие я к вам чувствую. Вы не знаете, какое это благоденствие – быть принятым в друзья человеком, который стоит на вершине цивилизации; вы не можете себе представить как это исправило и очистило меня, как это подняло мою духовную натуру. И мне хочется сказать вам, что я готов умереть у ваших дверей, как собака.

Уж не помню, что я собирался ответить ему, но он перебил меня.

– Дайте мне договорить! – крикнул он. – Я глубоко уважаю вас за то, что вы всю душу вкладываете в искусство; я не могу до этого подняться, но и во мне есть какая-то поэтическая струнка, Лоудон, которая отзывается на это чувство. И я хочу поддержать вас, помочь вам.

– Что это за нелепости, Пинкертон? – прервал я его.

– Погодите, Лоудон, не выходите из себя; это чисто деловое предложение, – сказал он. – Ведь как живут все эти ребята в Париже, – Гендерсон, Сомнер, Лонг?.. У всех одна и та же история. С одной стороны молодой человек, полный художественного гения, с другой – деловой человек, который не знает, куда девать свои доллары...

– Но, глупый вы человек, ведь вы бедны как церковная крыса! – закричал я.

– Дайте мне раскалить в огне мое железо! – возразил Пинкертон. – Я поклялся стать богачом. И я вам говорю, что я этого добьюсь. Вот ваша первая пенсия; возьмите ее из рук друга. Я из тех, кто считает дружбу вещью священной, и я знаю, что вы такой же. Тут всего сто франков. И такую же сумму вы будете получать каждый месяц; а как только мои дела улучшатся, мы повысим пенсию до надлежащих размеров. И не думайте, что это милость с моей стороны. Нет, я буду продавать ваши статуи в Америке, и буду это считать одним из самых лучших торговых дел в моей жизни.

Немало мне довелось потратить времени и немало мы оба испытали тяжелых волнений, пока я наконец решительно отказался от его предложения и мы покончили дело, потребовав бутылку вина. Он наконец бросил этот разговор, решительно выкрикнув: «Ну, ладно, пусть будет так!»

Остаток дня мы не расставались, но он уже не возвращался к этому предмету. Я провожал его до Сен-Лазарского вокзала. Я почувствовал угнетающее одиночество. Какой-то голос шептал мне, что я разом отринул и советы мудрости, и дружескую руку помощи. И в то время, как я возвращался к себе домой через блестящий город, я в первый раз смотрел на него сквозь призму невзгод.



## Глава V

### Я в затруднительных обстоятельствах в Париже

Нигде в мире голодание не бывает приятным занятием, но я думаю, что едва ли где в другом месте оно так тягостно, как в Париже. Здесь внешняя сторона жизни такая веселая, столько тут увеселительных садилов с выпивкой, дома так разукрашены, театры так многочисленны, экипажи так оживленно мчатся, что человек, у которого подавлен дух или страдает тело, волей-неволей углубляется в себя. Самому себе он кажется единственным серьезным существом, движущимся среди этого мирка, полного какой-то ужасной нереальности. Веселый народ, выходящий из кофеен, «хвосты» покупающих билеты у театров, праздничные экипажи, наполненные людьми, предпринявшими увеселительную поездку, разряженные женщины на панелях, роскошные выставки в окнах ювелиров – все эти обычные парижские зрелища как будто усиленно подчеркивают личное несчастье человека, его ожидания, его отчужденность. Но в то же время человек с моим складом характера находит в этом и свое ребяческое утешение. «Ведь это и есть жизнь, это именно и есть настоящая действительность, – говорит он себе. – Пузыри, которые держали меня на воде, лопнули, и теперь я очутился во власти океана; от моей ловкости зависит – погибнуть или спастись». И я на деле переживал теперь все, что с таким наслаждением читал когда-то о героях романов, – Лусто, Люсьене, Родольфе и Шонаре.

Не буду шаг за шагом проследивать мое обнищание. Пришло время, когда мне пришлось прибегнуть к тому, что политично называется «займом» (хотя эти займы никогда не возвращаются), – вещь, состоящая в беспрестанной беготне от одного приятеля к другому, практикуемая иными по несколько лет подряд. Но меня и тут преследовала неудача. Многие товарищи уехали, а другие и сами бились в нужде. Так, например, Ромнэй дошел до того, что странствовал по Парижу в деревянных башмаках, а костюм его пришел в такое плачевное состояние (назло искуснейшему применению к нему булавок), что служащие в Люксембургском музее намекали ему, что, мол, лучше бы ему уйти. Дижон тоже был на мели и кое-как перебивался расписыванием часовых циферблатов да ламповых подставок по заказу одного купца. Все, что он мог мне предоставить, – это угол в его мастерской, где я мог работать. Моя собственная мастерская была мною утрачена, и во время моего выдворения из нее Мускегонскому Гению пришлось распротиться со своим создателем. Для того, чтобы держать у себя такую статую во весь рост, надо обладать мастерской или галереей или хоть углом где-нибудь на задворках или в садике. Нельзя увезти ее с собой, как чемоданчик, положив ее в пролетку, нельзя также и жить в каморке длиной в пятнадцать и шириной в десять футов с таким объемистым компаньоном. Я сначала думал было оставить ее в мастерской; тут, в месте своего Рождения на свет, она, быть может, как мне думалось, могла бы вдохновлять моего преемника. Но домохозяин, с которым я, по несчастью, повздорил, рад был случаю сделать мне лишнюю неприятность и потребовал, чтобы я убрал свою недвижимую. Для меня при тогдашних моих финансах наем тележки для перевозки составлял крупную трату, да притом меня разбирал истерический смех при мысли о том, как я повезу по улицам Парижа моего Мускегонского Гения. Да и куда повез бы я его? Разве до ближайшей мусорной кучи, куда и пришлось бы мне свалить это излюбленное детище моей творческой мысли. В сей крайности я был рад-радехонек, когда нашелся покупатель, которому я и сбыл моего Гения за тридцать франков. Где-то он теперь красуется? Под каким наименованием выставлен на одобрение или порицание публики? Об этом история умалчивает. Мне хотелось бы, чтобы он украшал собой тенистые кущи какого-нибудь пригородного кабачка, где праздничные посетительницы вешают на мать свои шляпки, а кавалеры их из любезности называют младенца богом любви.

Мне удалось заполучить кредит в одной съестной лавочке, находившейся в черте внешних бульваров; я там обедал. Что же касается ужина, то я сказал, что обычно провожу вечера в домах у богатых знакомых. Такой распорядок моего дня был, кажется, принят с большим недоверием. С первого раза моим рассказам еще, пожалуй, и можно бы было поверить, покуда моя одежка

была в сносном состоянии, но потом мой сюртучок начал ярко лосниться, а затем и обтрепываться по краям, а сапоги – чавкать при ходьбе. Притом одноразовое питание хотя и чудесно соответствовало состоянию моих финансов, вовсе не удовлетворяло моего чрева. Рестораны такого рода я часто посещал еще в то время, когда, ради опыта, желал испробовать жизнь, какую вели студенты беднее меня. И никогда я не мог в них войти без отвращения и выйти из них без тошноты. И вот теперь я дивился на самого себя, как это я ем в таком месте с такой алчностью, встаю из-за стола очень довольный собой и считаю часы, отделяющие меня от нового заседания за этим столом. Но голод – великий маг и волшебник. Как только моя кассовая наличность иссякла, и я не мог заморить червяка чашкой шоколада или добрым ломтем хлеба, я очутился в полной зависимости от этой извозчицкой съестной и кроме нее мог рассчитывать только на редкие, долго и томительно ожидаемые и долго потом вспоминаемые счастливые случайности. Так, иной раз Дижон заполучал мзду за свою мазню, иной раз какой-нибудь старый приятель проездом являлся в Париж. Тут мне удавалось пообедать, как душа требовала, да еще и устроить заем на началах, принятых в Латинском квартале, заем, который обеспечивал меня табаком и утренним кофе недели на две; последнее было, конечно, много существеннее первого. Можно бы подумать, что такая жизнь, протекающая в самом близком соседстве с границей голода, должна была бы притупить остроту чувств моего неба. Ничуть не бывало. Чем скуднее у человека диета, тем больше изощряется вкус к лакомому куску. Остаток моей кассовой наличности, что-то около тридцати франков, был мною добросовестно проеден на одном обеде, а все мое свободное время, когда я был один, расходовалось на изобретение подробностей разных пиршеств, о которых я мечтал.

Однажды блеснул было мне луч надежды – заказ на бюст, сделанный одним богатым американцем, уроженцем южных штатов. Это был щедрый господин, говорун, весельчак; во время сеансов он все потешал меня, а после сеансов водил меня обедать и осматривать Париж. Я хорошо и сытно ел, начал даже отъедаться. Я снова ощущал радость бытия и, признаюсь откровенно, начал даже мечтать о том, что моя будущность обеспечена. Но когда бюст был готов и я его отправил за Атлантический океан, я так и не дождался уведомления о его получении. Это был для меня жестокий удар. Я был повержен в прах, да не чаял и подняться. А тут еще впуталась в дело и честь моей родины. Дижон осветил все это происшествие с европейской точки зрения. Он начал меня уверять, что таковы уж нравы американцев. Вся Америка – вертеп разбойников без малейшего признака законности и порядка; там долги могут быть взысканы лишь с помощью огнестрельного оружия.

– Ведь это знает весь свет, – говорил он, – только вы один, *mon petit* Лоудон, не знаете этого. Был случай, что члены верховного суда в Цинциннати дрались кинжалами на своих судейских креслах. Прочтите, если хотите, книжку одного из моих друзей «*Le Touriste dans le Far-West*» (турист на дальнем Западе). Все это там рассказано ясным французским языком.

Совершенно изведенный и измученный такими разговорами, тянувшимися несколько дней, я принял решение доказать ему противное и поручил это дело адвокату моего покойного отца. От него я через некоторое время получил извещение, что мой должник уже успел скончаться от желтой лихорадки, и что после него его дела оказались в весьма плачевном состоянии. Я не называю его имя, потому что, хотя он и отнесся ко мне с жестокой беззаботностью, но мне думается, что, в конце концов, он бы щедро расплатился со мной.

Вскоре после того я заметил некоторую перемену в обращении со мной в извозчицкой закуской, которая положила начало новой фазе моих бедствий. В первый день мне еще удалось себя убедить, что это мне так только показалось; на следующий день я уже убедился в том, что это действительно так; на третий день я уже не решился и войти в закускую, и, таким образом, пропостился сорок восемь часов. Это было весьма неблагоприятно, потому что должник, избегающий показываться на глаза, этим-то именно и кидается в глаза, и нахлебник, отказывающийся от обеда, легко может быть подвергнут подозрению. На четвертый день я, однако, пришел, внутренне весь содрогаясь. Хозяин посмотрел на меня весьма косо; служанки (это были его дочери) не обращали внимания на мои требования, да и на мои любезные поклоны и приветствия только фыркали в ответ. Когда же я вконец измученный кликнул швейцара, который подавал кушанья посетителям, мне напрямик объявили, что никакого швейцара для меня нет. Мне стало ясно, что я дошел до крайнего предела своего кредита; одна эта планочка отделяла

еще меня от полной голодовки, и теперь я чувствовал, что и она начинает трещать. Я провел бессонную ночь, и как только поднялся на другое утро, то первым делом направился в мастерскую Мейнера. Я давно уж думал об этом, да все откладывал, потому что я был далеко не так близок и дружен с этим англичанином. Я знал, что денег у него много, но, однако, ни нрав его, ни молва о нем отнюдь не располагали к попрошайничеству.

Я застал его за работой: он писал картину. Я с чувством похвалил ее. Он был просто, но очень опрятно одет, представляя в этом отношении пренеприятный контраст с моим изношенным и истрепанным костюмом. В то время как мы беседовали, он то и дело переводил свои глаза со своей работы на свою жирную натурщицу, которая сидела поодаль в совершенно натуральном виде, дугообразно возведя руки над головой. Задача моя, даже и при наиболее благоприятнейших обстоятельствах была бы нелегкая, а теперь, когда я очутился между Мейнером, погруженным в свою работу, и этой жирной голой бабой в смехотворной позе, я находил ее окончательно невыполнимой. Я несколько раз начинал попытку приступить к делу, но каждый раз сам же сворачивал речь на художество. Так шло дело до тех пор, пока натурщице не был предоставлен перерыв для отдыха; она немедленно овладела разговором и принялась слабым, тихим голосом рассказывать нам об успешных делах своего супруга, да о совращении своей сестры со стези добродетели, да еще что-то такое о своем брате, крестьянине, жившем где-то около Шалона-на-Марне, так что я долгое время не мог сделать приступа к новому натиску. Я снова заговорил, высказывая общеизвестные истины об искусстве, но на этот раз сам Мейнер прервал меня и, что называется, дал надлежащее направление нашему разговору.

– Ведь вы, очевидно, не за тем пришли, чтобы болтать все эти пустяки, – сказал он.

– Нет, – ответил я с раздражением, – я пришел, чтобы попросить у вас денег взаймы.

Он некоторое время молча работал.

– Сколько помнится, мы никогда особенно не дружили с вами? – спросил он.

– Благодарю вас, – сказал я, – я принимаю это, как ответ.

И я собрался уходить. Злоба кипела в моем сердце.

– Коли хотите – уходите, – сказал Мейнер, – но я советую вам остаться и успокоиться.

– Да зачем же мне оставаться! – закричал я. – Вы хотите задержать меня, чтобы полюбоваться моим унижением?..

– Слушайте, Додд, вам следует постараться умерить и сдержать свое раздражение, – сказал он. – Ведь этого свидания добивались вы, а не я. Если вы думаете, что оно для меня неприятно, то вы ошибаетесь. Если воображаете, что я дам вам денег, не осведомившись о ваших обстоятельствах и видах на будущее, значит, считаете меня дураком. Притом же, – добавил он, – ведь самое трудное вами уже выполнено, вы высказали вашу просьбу и вам известно, чем может быть обусловлен мой отказ. Признаюсь, я не питаю особенных надежд, но все же вам стоило бы попытаться сделать меня судьей ваших дел.

Должен признаться, что это ободрило меня, и я ему рассказал мою историю о том, как я получил кредит в съестной лавочке и как этот кредит, по-видимому, иссяк; о том, как Дижон уступил мне уголок в своей мастерской, где я пытался выделывать орнаменты, фигурки для часов: Время с косою, Леду с ее лебедем, мушкетеров для подсвечников и прочее в таком роде, да только все это не удостоилось доселе ничьего одобрения.

– А ваша комната? – спросил Мейнер.

– О, с моей комнатой все обстоит благополучно, – сказал я. – Хозяйка добрая старуха, и ни разу еще не подавала мне счет.

– Коли она добрая старуха, так я не понимаю, за что же ее наказывать? – заметил Мейнер.

– Что вы хотите сказать? – вскричал я.

– А вот что, – ответил он. – У французов приняты длинные сроки уплаты, причем, конечно, предполагается, что плата производится сполна и аккуратно, а иначе такая система, конечно, никуда не годится. Теперь посмотрите, что мы сделали из этой системы. Я не думаю, чтобы было честно со стороны англосаксонцев пользоваться льготами этой системы и давать тягу через Ла-Манш или, как делаете вы, янки, через Атлантический океан.

– Да я вовсе и не думал о бегстве, – заметил я.

– Прекрасно, – возразил он. – Но выдержите ли вы, вот в чем вопрос. Мне вот что-то думается, что вы не очень-то заботитесь о хозяевах вашей извозчицей съестной лавочки. По вашим

собственным словам, вы с ними не рассчитались. И чем дальше вы будете жить здесь, тем накладнее будет для кармана вашей старухи. А теперь я скажу, что хочу вам предложить. Я приму на себя расходы по вашему путешествию в Нью-Йорк и затем оттуда до Мускегона (так, кажется?), где жил ваш отец, и где у него, вероятно, остались друзья, которые, без сомнения, окажут вам поддержку. Я не рассчитываю на благодарность и даже уверен, что вы считаете меня порядочной скотиной, я просто ставлю условие, чтоб вы мне вернули эти деньги, когда будете в состоянии. Вот и все, что я могу сделать. Если б я считал вас талантливым художником, Додд, тогда бы, разумеется, дело иное, но я вас вовсе не считаю талантливым, да и вам бы тоже посоветовал.

– Мне кажется, я вас об этом не спрашиваю, и вы могли этого не говорить, – сказал я.

– А я смею думать, что мог, – возразил он все с той же спокойной твердостью. – Я не нахожу свои слова неуместными. Да ведь сами же вы, обратившись ко мне с просьбой о деньгах без всякого обеспечения, отнеслись ко мне как к другу, значит, и я могу к вам отнестись так же. Но теперь весь вопрос в том, принимаете ли вы мое предложение?

– Нет, благодарю вас, – сказал я. – На моем луке другая тетива.

– Хорошо, – сказал Мейнер, – так, конечно, будет честнее.

– Честнее?.. Честнее?.. – вскричал я. – Что вы хотите сказать, поднимая вопрос о моей чести?

– Если вам это не нравится, то я не буду этого делать. Вы, по-видимому, считаете вопросы чести чем-то вроде игры в жмурки, а я – нет. Мы по-разному определяем это понятие.

Прямо с этого раздражающего меня свидания, во время которого Мейнер не переставал спокойно рисовать, я направился в мастерскую своего учителя. У меня в руках оставалась только одна карта, и я решил сделать последний ход. Я решил скинуть джентльменское обличье и приступить к искусству в блузе чернорабочего.

– Tiens, это маленький Додд! – воскликнул учитель. Но в ту же минуту его взгляд окинул мой несчастный костюм, и мне показалось, что его приветственное настроение тотчас померкло.

Я рассказал ему по-английски про все мои беды; я нарочно говорил по-английски, зная его слабость к языку островитян, знанием которого он очень гордился.

– Господин профессор, – сказал я ему, – не возьмете ли вы меня снова в свою мастерскую, только на этот раз уже в роли простого работника?

– Но я думал, ваш отца биль огромная богача? – сказал он.

Я объяснил ему, что я теперь сирота и у меня нет гроша за душой.

Он покачал головой.

– Гораздо лучши работник ждуд у мой дверь, – говорил он, – гораздо много лучши.

– Но ведь вы до некоторой степени одобряли мою работу, сэр, – говорил я просительным тоном.

– Да, до некоторой степени, до некоторой степени! – вскричал он. – Она и была удовлетворительна для сына богача, но далеко не удовлетворительна для сироты. Вы могли выучиться и стать артистом, но едва ли вы могли бы выучиться быть простым работником.

Я ушел на внешние бульвары и здесь, неподалеку от гробницы Наполеона, уселся на скамью. В то время эта скамейка была осежена деревьями, и с нее открывался вид на грязную дорогу и белую стену. Я сидел и мужественно боролся с моими бедами. Погода стояла ненастная, было пасмурно. За последние три дня я поел только один раз; у меня не было табака; сапоги у меня истрепались, на брюки было смотреть страшно; настроение мое, и все окружающее, и погода сливались в одну мрачную гармонию. Были два человека, которые прекрасно отзывались о моей работе, когда я был богат и не знал никакой нужды, а теперь, когда я стал беден и во всем нуждался, один из них говорил: «Ни малейшего таланта», а другой: «Далеко не удовлетворительно для сироты». Один предлагал оплатить мой проезд на родину, словно снаряжал туда нищего эмигранта, а другой отказывал мне в поденной плате за каменотесную работу, занятие как раз впору для человека с пустым желудком. Оба были неискренни в прошлом, неискренни были и теперь, просто-напросто перемена обстоятельств породила новый критерий, вот и все.

Но хотя я и оправдывал обоих этих утешителей меня, многострадального Иова, в их неискренности, все же я был далек от того, чтоб признать их непогрешимыми судьями. Артистов часто подолгу не признавали, и они смеялись над своими хулителями. В каком возрасте Коро удалось наконец найти в себе жилу благородного металла? Какой молодой человек подверглся

более лютым насмешкам, да еще и не лишенным основания, чем мой идеал, мой предмет изумления и поклонения, Бальзак? Но если б я пожелал вдохновиться еще основательнее подобными примерами, что стоило мне повернуть голову вон туда, где сквозь мглу ненастного дня тускло светится золотой купол Дома инвалидов и вспомнить повесть того, кто там покоится! Вспомнить всю жизнь его, с того дня, когда он был еще мелким артиллеристом и над ним издевались резвые барышни, называя его Котом в Сапогах, и до того времени, когда у него было столько побед и столько корон, и столько сотен пушечных жертв, и столько тысяч конских копыт под его командой стучало по дорогам изумленной Европы за несколько миль впереди его великой армии! Уступить, сдаться, признать свое поражение, постыдное поражение, – о, нет, пусть будет сначала ракета, а потом уж ее хвост! Чтобы я, Лоудон Додд, который гордо отринул все другие средства существования, о котором возвестили в Сент-Джозефском «Lunday Herald» как о великом патриоте и артисте, вернулся в свой родной Мускегон как попорченный товар и начал шататься по старым знакомым отца, снимая перед ними шляпу и прося их взять меня к себе на службу, подметать полы у них в конторе! Нет, клянусь именем Наполеона! Я умру на избранной стезе! И пусть те двое, которые отвергли меня, мучаются завистью при виде моего торжества, или захлебнутся слезами от позднего раскаяния, идя за моим нищенским гробом!

Но, хотя мое мужество и не поколебалось, я от этого не подвинулся ближе к своему обеду. Как раз неподалеку оттуда стоял мой кабачок для извозчиков, и виднелся длинный ряд грязных фиакров и словно манил меня. Ведь, может быть, меня туда и впустят, и мне удастся еще раз утихомирить мою утробу.

Но ведь и другое может быть: как раз сегодня у меня перед носом захлопнут дверь с обычным треском. Попытаться можно, отчего не попытаться. Однако в это утро я уже дважды потерпел поражение, и мне казалось, что легче умереть, чем стать лицом к лицу еще с одним. Я набрался мужества и решил оставить это посрамление про запас, на будущее, чтоб не все претерпеть в один день. Надо экономить мужество для большого боя, а не тратить его на ничтожную стычку в съестной лавочке. И я продолжал сидеть на скамейке неподалеку от останков Наполеона, то одержимый дремотным состоянием, то вновь приободряясь, то впадая в полную душевную тупость и испытывая лишь какое-то чисто животное удовлетворение от чувства покоя. Я размышлял, строил планы, многое очень ясно вспоминал, тешил себя историями о разных внезапно сваливавшихся с неба богатствах и иногда принимался мысленно закатывать где-то какие-то роскошные пиршества. Тут меня мало-помалу и одолел сон.

Было уже совсем темно, когда холодный душ дождя вернул меня к резкому ощущению голода. Я быстро вскочил на ноги. Одно мгновение я стоял как оглушенный, у меня в голове снова проснулись все мои рассуждения и грезы. Снова затуманил меня образ съестной лавочки, и меня потянуло туда, словно на веревке, и снова я одумался, вспомнив о грозящем там посрамлении.

– Qui dort dine!<sup>16</sup> – подумал я. И я колеблющимися шагами побрел к своему жилью по грязным улицам, в которых уже светились окна от зажженных ламп в лавочках, где чудились мне толпы обедающих.

– А, это вы, monsieur Додд, – встретил меня наш консьерж. – А вам было заказное письмо. Почтальон доставит вам его завтра утром.

Мне заказное письмо, мне, который так давно не получал их!.. Какое, от кого, я не мог даже догадаться, да и не трудился над этим. У меня сразу, без предварительного придумывания, возник бессовестный план; ложь сочилась из меня, словно какое-то естественное выделение.

– О, – сказал я, – наконец-то прислали мне деньги! Но какая досада, что он не застал меня дома! Не можете ли вы одолжить мне сотню франков до утра!

Раньше я никогда еще не посягал на заем у консьержа; впрочем, на этот раз письмо служило залогом, и он высыпал мне все, что у него нашлось, – три наполеондора да несколько франков серебром. Я с беззаботным видом опустил деньги в карман, да еще для виду помедлил, постоял у дверей. Потом во всю прыть моих дрожавших от голода ног помчался в кафе Ключи. Французская прислуга вообще проворна, но на этот раз на меня не угодила бы никакая расторопность. Я не дождался, пока гарсон поставит на стол вино, хлеб, масло, как мой стакан был уже налит, а рот

---

<sup>16</sup> Кто спит, тот обедает.

набит. О, чудный хлеб кафе Ключи, о, изысканный первый стаканчик старого Помара, заигравший в моих ногах, о, неопишуемая первая маслина, подхваченная мной из какого-то hors d'oeuvre'a! Кажется, умирать буду, при последнем издыхании вспомню ваш вкус! Конец этого пиршества и конец вечера для меня тонут в тумане; вероятно, в бургундском тумане, а может быть, отчасти в тумане голодовки, внезапно сменившейся пресыщением.

Впрочем, я хорошо помню тот стыд, то отчаяние, которые овладевали мной утром, когда я вспомнил свою проделку, как я надул бедного честного консьержа; и словно этого еще мне показалось мало, я сжег корабли и вернулся со своим банкротством к себе домой, на свой чердак. Теперь консьерж дожидается этих денег, а мне нечем отдать ему долг; подымется скандал на весь дом, и кончится тем, что придется и отсюда выбираться. «Что вы хотите сказать, поднимая вопрос о моей чести?» – кричал я за день до этого Мейнеру. Ох, этот день! Это канун Ватерлоо, канун Флуда, канун того дня, когда я продал кровлю над своей головой, все мое будущее, уважение к своей личности, за один обед в кафе Ключи!

Но во время всех этих терзаний заказное письмо наконец попало ко мне, и принесло исцеление под своими печатями. На нем стоял штампель Сан-Франциско, где поселился и вел разнообразные дела Пинкертон. Он возобновлял свое предложение насчет выплаты мне стипендии, цифру которой он, благодаря своим поправившимся делам, мог теперь повесить до двухсот франков в месяц. На случай же, если нужда притиснула меня и мне деньги нужны до зарезу, он вложил в послание свое перевод на сорок долларов. Найдутся тысячи причин, по которым человек попавший в безвыходное положение, готов стать в полную зависимость от другого; в моем же положении этих причин набралось бы бесчисленное множество, и потому едва двери банка отворились в то утро, как я уже получил деньги по переводу.

Эта продажа себя в рабство приключилась у меня в Декабре. После того я битых полгода влачил длинную цепь признательности и душевной тяготы. Стараясь исполнить свой долг, я пытался превзойти самого себя и создать нечто почище моего Мускегонского Гения; я трудился над маленьким глубоко патриотическим «Знаменосцем», которого предназначал для выставки. Его туда и приняли, и он стоял там долгие дни, никем не замеченный, и вернулся ко мне во всеоружии своего патриотизма. Тогда я, как выражался Пинкертон, всей душой погрузился в часы и канделябры, но эти черти, часовщики и литейщики, каждый раз находили что возразить против моих моделей. Дижон, вечно подтрунивавший над этой художественной поденщиной и считавший ее позором, попробовал было сбывать мои изделия вместе со своими, но покупатели отбирали мои и браковали их; и все они возвращались ко мне домой, как и мой Знаменосец, который теперь, в ряду других истуканчиков, торчал как бельмо на глазу в убогой мастерской моего друга. Мы с Дижоном иной раз целыми часами глядели на эти изваяния. И чего тут только не было, каких стилей: строгого и игривого, и классического, и стиля Людовика XV, начиная с Жанны д'Арк, в ее воинских доспехах, и кончая Ледою с ее лебедем; были даже – да простит мне Бог – юмористические опыты. Мы сидели и смотрели на все это; мы судили, рядили, разбирали и так и этак; по самой строгой оценке нашей выходило, что все-таки это статуэтки что надо; однако никто и даром не брал их.

Тщеславие вещь упорная; бывают и такие случаи, когда оно переживает иного упрянца. Однако по истечении шести месяцев, когда я задолжал Пинкертону около двухсот долларов, да еще половину этой суммы в Париже, я в одно утро проснулся, одержимый странным сознанием одиночества: мое тщеславие выдохлось без остатка за эту ночь. Я не смел глубже погружаться в эту тень; я видел, что на мое злополучное ваятельство не остается никакой надежды; я признал себя наконец побежденным. Я уселся у окна в одной ночной рубашке и скользил взглядом по высоким деревьям бульвара, и когда до моего уха начала доноситься обычная уличная суетолака, я стал писать окончательное «прости» и Парижу, и искусству, и всей моей прошлой жизни, всему моему прежнему «я».

*«Я сдаюсь, – писал я. – Когда получу следующую стипендию, двинусь на Запад, где вы можете делать со мной, что хотите».*

По правде говоря, Пинкертон с самого начала звал меня, хотя и не прямо, а косвенно, расписывая свое полное одиночество в кругу своих знакомых, «среди которых не найдется ни

одного с вашим развитием», – писал он. При этом он высказывал свою дружбу ко мне в таких выражениях, что мне становилось тяжело при воспоминании о том, как мало я был отзывчив на нее; горевал он и о том, что нет у него никого, кто помогал бы ему; но тут же спешил прибавить похвалы моей твердости, постоянству и побуждал меня оставаться в Париже.

*«Помните только, Лоудон, – писал он, – если все это надоест вам там, то здесь для вас найдется дел полные руки, и дел честных, хорошо оплачиваемых, состоящих в разработке богатств этого, в сущности, девственного штата. Я уж и не говорю о том, сколько удовольствия вы доставили бы мне, работая со мной рука об руку».*

Теперь, оглядываясь назад, я только дивился, что так долго не откликнулся на эти призывы, а вместо того тратил деньги своего приятеля на такие дела, которые, я знал, были ему вовсе не по нутру. Но зато когда я очнулся и вполне оценил свое положение, то очнулся уже вполне и окончательно и решил не только в будущем следовать его советам, но и, по возможности, загладить все потери прошлого. Я вспомнил, что в этом смысле я не совсем лишен всяких средств, и, как это ни было тяжело и унижительно для меня, я решился воспользоваться фамилией Лоудонов в ее историческом городе.

Я начал с того, что распростился без малейшего сожаления со всем моим имуществом. Дижон унаследовал от меня и Жанну д'Арк, и Знаменосца, и Мушкетеров. Я в его присутствии связал мои пожитки в новые ремни. Расстался я с ним у дверей кабака и последние несколько часов моего пребывания в Париже провел в полном одиночестве. Один, в пределах, допускаемых моими финансами, заказал я себе обед. Один купил себе билет на Сен-Лазарском вокзале. Одинокий, хотя и окруженный толпой пассажиров, любовался я игрой луны на волнах Сены в Париже, потом на колокольни руанских церквей, потом на лес мачт в Дьеппской гавани. Когда первые проблески зари разбудили меня от тревожных снов на палубе, я впервые с удовольствием полюбовался восходом солнца. Я с нетерпением ждал минуту, когда передо мной покажутся зеленые берега Англии из-за розового тумана; я вдыхал соленый воздух полной грудью. Потом вдруг вспомнил обо всем: о том, что я больше уже не артист, что я более не я, что я бросил все, что было мне дорого, и вернулся ко всему тому, чего терпеть не мог, рабом долга и признательности, что я потерпел банкротство полнейшее.

От этой картины моего собственного злополучия моя мысль обратилась к Пинкертону, который, я был в этом уоужден, любовно ждал меня и был полон глубокого уважения ко мне, которого я вовсе не заслуживал, но которого, как я смело мог надеяться, я никогда не утрачу. Наше неравенство крепко поразило меня. Я был бы очень уж туп, если бы мог взирать на всю историю нашей дружбы, не ощущая стыда; ведь я так мало дал, а между тем столь многим спокойно воспользовался.

У меня был в распоряжении целый день в Лондоне, и я хотел как следует свести наши счета с ним. Я исписывал лист за листом, стараясь вылить на бумаге всю полноту моей признательности, все мое раскаяние за прошлое, всю мою решимость вести себя как следует в будущем. До этого времени, писал я ему, я жил, как настоящий эгоист. Таков я был по отношению к отцу и таков же по отношению к другу; я принимал их помощь и поддержку, а сам отказывал им даже в моем обществе и сотрудничестве, хотя они от меня больше ничего и не требовали.

Как велико утешение, доставляемое сочинительством! Едва я сочинил, запечатал и отправил это письмо, как уже во мне расцвело сознание своей выпренной добродетели и разлилось по жилам моим, словно благороднейшее вино!

## Глава VI

### Я отправляюсь на Запад

Я приехал к дяде на другой день, как раз вовремя, чтоб усесться за завтрак со всей семьей. Прошло чуть не три года, в течение которых в этом устойчивом доме не произошло почти никаких перемен. Тогда я был в первый свой приезд свежий американский юнец, дивившийся на невиданные шотландские кушанья, вроде копченой семги, вахни<sup>17</sup>, копченой баранины, и старавшийся отгадать, что такое таится под крышками. Если я и заметил какую перемену, то разве только в том, что вся семья относилась ко мне гораздо почтительнее, чем раньше. Прежде всего, конечно, была отдана дань соболезнования по случаю смерти моего отца грустным покачиванием головы со стороны женской половины семьи, а затем завтрак прошел в изумлении перед моими блестящими успехами. Они были так рады, слыша обо мне такие лестные вещи. Я сделался ведь почти великим человеком. Где теперь эта великолепная статуя Гения?.. Где и другие мои произведения?

– Она не с вами? Она не здесь? – спрашивала меня тупоумнейшая из кузин, встряхивая своими кудряшками. Она, кажется, думала, что я все это привез с собой на извозчике, или держу спрятанное в кармане, словно сюрприз, подносимый в день рождения. В недрах этой семьи, не освоившейся с бессмыслицами дальнего Запада, пышные корреспонденции Пинкертон в «Sunday Herald» были приняты за чистую монету. Трудно было бы и вообразить что-либо более мучительное для меня, чем эти разговоры; в продолжение этого завтрака я чувствовал себя в положении школьника, подвергнутого сечению.

Но наконец этот мучительный завтрак окончился, и я попросил позволения побеседовать с дядей Адамом насчет «моих дел». При этом заявлении физиономия добрейшего человека изрядно вытянулась. Когда это заявление было повторено дедушке (он был туговат на ухо) и он изъявил желание присутствовать при совещании, мне показалось, что грустное настроение дяди Адама на минуту сменилось видимым раздражением. Однако внешность его не выражала ничего, кроме обычной сердечности. Все мы церемонно перешли в соседнюю со столовой библиотеку – мрачный театр для исполнения удручающих дух деловых пьес. Дедушка набил табаком глиняную трубку, уселся у нетопившегося камина и принялся бурно сосать трубку. Утро было холодное и пасмурное, но, несмотря на это, окно позади него было приоткрыто, и штора приспущена. Он сидел с каким-то странным видом, словно потерпевший кораблекрушение. Дядя Адам занял позицию за столом посредине. Ряды дорогих книг смотрели со своих полок на всю эту сцену пыток. Я слышал чириканье воробьев в саду и голос моей игривой кузины, усевшейся за фортепиано в гостиной у меня над головой и затянувшей какую-то унылую песню.

В такой-то обстановке, в угрюмом настроении, с какою-то мальчишеской краткостью и отрывистостью, уставившись глазами в пол, я поведал моим родственникам о своем финансовом положении, о своем долге Пинкертону, об утрате всякой надежды на скульптуру, о карьере, которая мне предстояла в Соединенных Штатах, и о том, что, прежде чем продолжать залезать в долги и дальше, я решил рассказать обо всем своим родным.

– Очень сожалею, что вы не обратились ко мне, – сказал дядя Адам, – позволяю себе утверждать, что это было бы приличнее.

– И я то же думаю, дядя Адам, – возразил я, – но ведь я совсем не знал, как вы приняли бы мое обращение к вам.

– Надеюсь, я никогда не оборачивался спиной к моей плоти и крови, – ответил он напыщенным тоном; только моему робкому уху в его тоне послышалось больше раздражения, нежели любовного чувства. – Не мог же я забыть, что вы сын моей сестры. Я смотрю на это как на свой долг. У меня нет другого выбора, как принять вполне на свою ответственность создавшееся у вас положение.

Я мог только пробормотать: «Благодарю вас» в ответ на эти слова.

---

<sup>17</sup> Порода трески.



– Да, – продолжал он, – и я вижу что само провидение позаботилось том, что вы явились как раз вовремя. У моей прежней фирмы есть свободная вакансия; они теперь стали называться «Итальянскими оптовиками»<sup>18</sup>, – добавил он, подмигивая мне с оттенком юмора. – Вам повезло: мы ведь назывались просто оптовиками. Я завтра же определю вас на это место.

– Погодите, дядя Адам, – прервал я его. – Я совсем не того хотел бы. Мне хотелось бы только, чтоб вы уплатили мой долг Пинкертону; он человек не богатый. Я прошу вас лишь очистить меня от долга, а не о том, чтобы вы меня обеспечили на всю мою жизнь.

– Если б я пожелал быть с вами резким, я мог бы вам напомнить, что попрошайка не располагает свободным выбором, – сказал мой дядя, – что же касается до устройства вашей жизни, то вы уже пытались сами это сделать, и сами видите, что из этого вышло. Теперь вам волей-неволей приходится подчиниться руководству людей более солидных по летам и более разумных, чем вы сами. Что же касается ваших друзей (о которых мне ровно ничего не известно), их планов и предложений, и разговоров о каких-то открытиях на дальнем Западе, – я просто-напросто ничего не хочу знать обо всем этом. В том же положении, какое я, по счастливой случайности, могу вам предоставить, и за которое любой благоразумный молодой человек с радостью ухватился бы, вы будете, для начала, зарабатывать восемнадцать шиллингов в неделю.

– Восемнадцать шиллингов в неделю! – вскричал я. – Да мой бедный друг даром давал мне больше этого!

– Это тот самый друг, об уплате долга которому вы теперь хлопчете? – заметил мой дядя с видом человека, готового выдвинуть решительный довод.

– Адам... – произнес мой дедушка.

– Я очень сожалею о том, что вы присутствуете при этом совещании, – обращаясь к каменщику с деланной любезностью ответил дядя, – но должен вам напомнить, что вы сами того хотели.

– Адам... – повторил старик.

– Я слушаю вас, сэр, – сказал мой дядя.

Дедушка два-три раза пыхнул своей трубкой, не говоря ни слова, а затем промолвил:

– Мне тошно смотреть на тебя, Адам.

Дядя, видимо, был задет этим оскорблением.

– Очень жалею, что это так, – сказал он, – и еще больше жалею о том, что это было высказано в присутствии нашего собеседника.

– Верю, что тебе это неприятно, – сухо ответил ему старый Лоудон. – Да ведь я не из церемонных. Слушай, милый мой, – обратился он ко мне. – Я твой дед, так ведь? Не обращай внимания на Адамовы слова. Я помогу тебе. Я богат.

– Батюшка, – сказал дядя Адам, – я хотел бы поговорить с вами наедине.

Я встал.

– Сиди, сиди! – крикнул мне дедушка почти свирепым тоном. – Если Адаму надо что сказать, так и пусть говорит. Деньги, какие здесь есть, – мои, черт побери! И меня должны слушаться!

На эти обращенные ко мне ободрительные слова дядя, по-видимому, не нашел никакого замечания. Дважды приглашенный говорить, он дважды уклонился. Мне показалось, что он вдруг проникся ко мне нерасположением.

– Слушай-ка, что я скажу! – сказал дедушка. – Ты сын моей Дженни! Я устрою тебя. Твоя мать всегда была моей любимицей, а с Адамом я никогда не ладил. Я и тебя люблю; ты разумный парень, ты хорошо понимаешь строительное дело. Ты был во Франции, а мне говорили, что там отличные знатоки штукатурной работы. А у нас во всей Шотландии не найдется такого строителя, который бы так много занимался штукатуркой, как я. Если ты займешься этим делом с теми деньгами, какие я тебе дам, так ты сделаешься богаче меня.

Дядя Адам прокашлялся и сказал:

– Это прекрасно, отец, и я уверен, что Лоудон чувствует это. Это прекрасно и справедливо. Но позвольте мне высказать вам, что, быть может, было бы лучше, если бы это оформить в виде документа.

---

<sup>18</sup> В подлиннике: «Italian Warehousemen», это значит, собственно, – продавцы съестных припасов.

Вражда, всегда теплившаяся между этими двумя людьми, при этих словах едва не вспыхнула ярким пламенем. Старый каменщик повернулся к своему отпрыску и вытянул губы, словно раздраженная обезьяна, некоторое время храня молчание, а потом сказал:

– Позвать Грегга!

Слова эти произвели видимый эффект.

– Он ушел к себе в контору, – пробормотал дядя.

– Позвать Грегга! – повторил дед.

– Я же вам говорю, что он в конторе, – повторил дядя.

– А я тебе говорю, что он ушел покурить, – возразил старик.

– Ну, хорошо! – крикнул дядя, с раздражением поднимаясь с места. – Я сам схожу за ним.

– Не надо! – крикнул дед. – Сиди здесь, не уходи!

– Но, черт возьми, как же его тогда позвать! – крикнул дядя с большой раздражительностью.

Дедушка вместо ответа взглянул на своего сына с какой-то школьнической усмешкой и позвонил.

– Возьми ключ от сада, – сказал он вошедшему слуге, – пойти туда, и если мистер Грегг, стряпчий, там, – а он всегда сидит под боярышником, – скажи, что старый мистер Лоудон ему кланяется и просит его сюда прийти на минутку.

«Мистер Грегг, стряпчий!»... Я сразу понял то, что сначала было для меня загадкой, – значение слов моего дедушки и тревоги бедного дяди. Дело шло о завещании дедушки.

– Послушайте, дедушка, – сказал я, – я не добиваюсь ничего подобного. Все, чего я желал, – это была ссуда, примерно фунтов в двести. Я сумею сам о себе подумать, у меня есть друзья в Соединенных Штатах, и имеются в виду благоприятные случаи и надежды...

Старик махнул мне рукой.

– Здесь я говорю, – отрезал он.

Мы все трое замолчали и стали ждать стряпчего. Он наконец явился; служанка доложила о нем. Это был сухой, но не угрюмый человек, в очках.

– Слушайте, Грегг, – крикнул ему дед, – вот в чем дело. Что может сделать Адам с моим завещанием?

– Боюсь, что я не верно вас понимаю, – проговорил ошеломленный законник.

– Что он имеет право сделать? – повторил старик, колотя кулаком по ручке кресла. – Мои деньги чьи – мои или Адамовы? Может Адам ими распорядиться?

– О, я понимаю теперь, – сказал Грегг. – Ну конечно, нет. При бракосочетании ваших детей оба они получили известную сумму на раздел. Вы, без сомнения, помните это обстоятельство, мистер Лоудон.

– Ну, коли так, – заключил дед, колотя кулаками, словно молотком, – значит я могу все, что после меня останется, отдать кому хочу, хоть самому великому Магуну? (Он, должно быть, хотел сказать: Великому Моголу).

– Без всякого сомнения, – с легкой улыбкой ответил Грегг.

– Слышишь ты, Адам? – спросил дед.

– Позволю себе заметить, что мне нет никакой надобности слышать это, – сказал дядя.

– Отлично, – сказал дед. – Теперь вы оба, ты и сын Дженни, можете пойти прогуляться. Мы с Греггом закончим это дело вдвоем.

Как только мы очутились вдвоем с дядей Адамом, я, с болью в сердце, повернулся к нему.

– Дядя Адам, – сказал я ему, – вы лучше меня самого поймете, до какой степени все это мучительно для меня.

– Да, сожалею, что вы видели вашего дедушку в таком нелюбезном состоянии духа, – ответил этот необыкновенный человек. – Вы, однако же, не допустите, чтоб это произвело на вас слишком сильное впечатление. У него ведь удивительный характер. Я не сомневаюсь, что он будет очень щедр к вам.

Но я не хотел отвечать на это примирительное настроение дяди. Я не хотел оставаться в этом доме и не намерен был никогда в него возвращаться. Было решено, что через час я буду в конторе стряпчего, которому дядя Адам об этом скажет, когда тот будет уходить. Мне кажется, что никогда еще не создавалось такого головоломного положения. Выходило так, как будто я получил

холодный отказ, а твердый Адам был великодушным победителем, которому не хотелось злоупотреблять своим триумфом.

Ясно было, что мне собираются выделить мою часть наследства. При таких-то обстоятельствах мне было теперь предоставлено размышлять, слоняясь по улицам нового города, совещаясь со статуями Георга IV и Уильяма Питта, наслаждаясь картинами в окнах магазинов и возобновляя свое знакомство с Эдинбургом. Час спустя я направился к конторе мистера Грегга, где мне был с надлежащей речью вручен чек на две тысячи фунтов и пачка книг по архитектуре.

– Мистер Лоудон просил меня еще сказать вам, – продолжал законник, просматривая свою записную книжку, – что хотя все эти книжки очень ценны для зодчего, но что вам надо заботиться о самобытности, самостоятельности в работе. Он говорил, чтобы вы смело доверялись портландскому цементу, и что при надлежащей примеси песку он является очень прочным строительным материалом.

Я улыбнулся и сказал, что, наверно, он будет очень прочен.

– Мне однажды случилось жить в доме, построенном моим достопочтеннейшим клиентом, – заметил стряпчий, – и мне казалось, что он простоит очень долго.

– Только дело-то в том, сэр, – сказал я, – что я не имею ни малейшего желания быть архитектором.

При этих словах он от души расхохотался. Лед был сломан и я решил посоветоваться с ним насчет того, как мне вести себя. Он настаивал на том, чтоб я вернулся в дом, хотя бы к завтраку и к обычной моей прогулке с дедушкой.

– А вечером я вас вызволю, если хотите, пригласив вас на холостяцкий обед к себе. Но завтрака и прогулки, по-моему, вам не избежать, неловко будет. Надо угодить старичку; да притом он, кажется, в самом деле очень любит вас и будет очень огорчен, если увидит, что вы как будто избегаете его. Что же касается мистера Адама, то с ним излишняя деликатность, пожалуй, будет и неуместна. Ну, а теперь скажите, мистер Додд, что вы намерены делать с этими деньгами?

А ведь это в самом деле вопрос! С двумя тысячами фунтов, то есть пятьюдесятью тысячами франков, я могу вернуться в Париж и снова заняться искусством и зажить по-царски в этом экономном Латинском квартале. С одной стороны, я радовался тому, что послал Пинкертону мое письмо из Лондона; а с другой стороны – горько в этом каялся. В одном только пункте все мое существо чувствовало полное удовлетворение: письмо было уже отправлено, значит, и мне самому оставалось только отправиться вслед за ним. Согласно всем этим соображениям деньги мои были разделены на две неравные части. Одна часть была переведена на имя Дижона, в Париж, чтобы он заплатил все мои долги, а другая часть осталась у меня, и Грегг дал мне на нее переводной вексель на Сан-Франциско.

Дальнейшие мои дела в Эдинбурге, кроме очень приятно проведенного обеда со стряпчим и ужасного фамильного завтрака, приняли форму прогулки с старым подрядчиком, который на этот раз не водил меня по пригородам и не показывал выстроенных им домов, но повел меня прямо к тому, более прочному и предназначенному на вечное пребывание жилищу, которое он заготовил для своих бранных останков. Оно было на кладбище, странным образом втиснувшимся между стенами тюрьмы, на краю скалы, покрытом надгробными камнями и окруженном деревьями и плющом. Восточный ветер, должно быть, очень тяжкий для старика, сотрясал ветви, и скудное солнышко шотландского лета рисовало их движущиеся тени.

– Я хочу, чтоб ты видел это место, – говорил он. – Вот они. Вот тут Эвфемия Росс – моя покойная жена, твоя бабушка... Ох, вру, это не она, это моя старшая дочь; твоя мать – вторая дочь. Вот тут – Мэри Моррей, родилась в 1819 году, умерла в 1850; славное было создание. Вот тут Александр Лоудон, родившийся в 1792 году, а дальше пустое место; это я буду тут лежать. Мое имя Александр. Меня, когда я был маленький, звали Эkki. Эй, Эkki, теперь уж ты стал стариком!

Потом было у меня другое, более грустное посещение кладбища, на моей второй остановке в пути, в Мускегоне, который стал теперь куда величественнее благодаря куполу нового Капитолия, окруженному лесами. Я прибыл туда днем, в дождливую погоду. Я двигался по большим улицам, имена которых были мне неизвестны; по ним тянулись двойные, тройные, четверные ряда экипажей; над ними тянулись сотни телеграфных и телефонных проводов, затмевавших небо у меня над головой; меня с обеих сторон обступали громадные многоэтажные дома. И тут мне

вспомнился мой дом на улице Расина и мой извозчикий кабачок, и эти воспоминания вызвали у меня слезы. После моего отъезда из Мускегона из него вырос такой монотонный Вавилон, что мне то и дело приходилось расспрашивать про дорогу. И кладбище оказалось другое, новое. Смерть, однако, не сидела сложа руки в Мускегоне, и могил было уже изрядное количество; я долго брел под дождем среди роскошных памятников миллионеров и скромных черных крестов бедняков, пока инстинкт или случай не привел меня к могиле моего отца. Над ней был надгробный камень, поставленный «признательными друзьями», о котором я уже знал; теперь я мог судить о их вкусе по части монументов; мог также судить и о их литературном вкусе и стиле, когда подошел вплотную к камню и прочел надпись на нем. Имя было начертано крупными буквами:

### **«ДЖЕМС К. ДОДД»**

«Странная вещь имя человека! – подумал я. – Как оно вцепляется в человека, как оно иной раз неверно его представляет, как оно переживает его!» И вот я теперь с какой-то странной смесью сожаления и горькой радости подумал о том, что я никогда не знал, и, вероятно, не узнаю, что обозначает эта буква К. Кильтер, Кай, Кайзер – перебирал я в уме, и наконец почему-то уперся в имя Корнелиуса и чуть-чуть не расхохотался. Никогда еще кажется, я не был в таком ребяческом настроении, и, быть может, именно потому, что был глубоко растроган. Но среди этого ни с чем несообразного нервного веселья я был охвачен настоящей бурей угрызений совести и быстро обратился в бегство с кладбища.

Я остался в Мускегоне на несколько дней, посещая друзей и знакомых моего отца; к этому меня побуждало чувство благоговения к его памяти, но я смело мог бы не тратить напрасно времени. Его, правда, помнили, и ради него меня радушно принимали. Но его видимо уже начали забывать. Разговоры, с трудом и натугой вращались вокруг добродетелей покойного; друзья и знакомые, пока я говорил с ними, вспоминали его деловые таланты, его ревность к общественным интересам, но когда я уходил, они больше уж и не вспоминали о нем. Отец любил меня. Я бросил его одного жить и умереть среди равнодушных чужих; теперь я вернулся и нашел его умершим, погребенным и забытым. Мое позднее раскаяние побудило меня принять новое решение. Я вспомнил о другой душе, которая прилепилась ко мне, – о Пинкертоне. Я не должен был дважды делать одну и ту же ошибку.

Я опоздал на целую неделю и не известил об этом своего друга. Когда я пересаживался на другой поезд в Консил-Блуфсе, я увидел человека, который, войдя в вагон и держа в руке телеграмму, спрашивал, нет ли тут пассажира по имени *Лондон Додд*? Я счел, что это имя подходит к моему достаточно близко, чтоб я мог овладеть этой телеграммой, и увидел, что она от Пинкертона и гласит: – «*В какой день прибудете? Очень важно*». – Я отправил ему ответ, обозначив в нем день и час, а в Огдене меня ожидала новая депеша: «*Несказанно рад, встречу вас в Сакраменто*». В парижские дни у меня было придумано прозвище для Пинкертона: «Неукротимый» – так звал я его в минуты раздражения, и на этот раз кличка припомнилась мне. Наверное, он опять надумал какую-нибудь штуку. В какую новую затею впутаюсь я на берегах Тихого океана? Моя вера в этого человека и мое недоверие к нему стояли на одинаковой высоте. Я знал, что он ничего не сделает с дурным умыслом, и в то же время был уверен, что ничего он (с моей точки зрения) не сделает как следует.

Эти неопределенные опасения еще более сгустили тени моего путешествия. Небраска, Вайоминг, Юта, Невада мелькали передо мной и, как мне казалось, заслоняли от меня мой другой родной край – Латинский квартал. Но когда наконец перевалили через Сьерру и поезд загромыхал на равнине по ту сторону гор, когда я увидел перед собой бесконечную ширь процветающей страны, тянущейся от горных лесов в сторону океана, и безграничные хлебные поля, и деревья, растущие и цветущие вдоль железной дороги, и мальчиков, толпами осаждавших поезд, предлагая фиги и персики, и ломовиков и фермеров, по горло погруженных в свои деловые хлопоты, моя душа воспарила, словно воздушный шар. Забота, навалившаяся на мои плечи, слетела с них, как курица с нашествия. И когда в толпе, собравшейся для встречи поезда в Сакраменто, я рассмотрел моего Пинкертона, я думал только об одном – кричать и махать ему и схватить его в свои объятия, этого дражайшего из моих друзей.

– О, Лоудон, – кричал он, – друг вы мой, как я страдал о вас! И вы явились как раз вовремя. Здесь вас уже знают и ждут. Я уж тут нашумел о вас. В газетах уже объявлено о том, что вы завтра вечером читаете лекцию: «Студенческая жизнь в Париже, ее серьезные и веселые стороны». Двенадцать тысяч мест уже продано... Но постойте, вы что-то нехорошо выглядите! Вот выпейте-ка капельку этой штуки.

И он подал мне бутылку с режущей глаза надписью:

***«Пинкертоновская тринадцатизвездочная водка, гарантированная цельная».***

– О, Господи! – воскликнул я, разинув рот после первого же глотка этой свирепой жидкости. – Но я не понимаю, что значит «гарантированная цельная»?

– Ну вот еще! Вы должны это знать! – ответил Пинкертон. – Это настоящая английская надпись, и вы могли ее видеть на всех придорожных кабачках!

– Но, если не ошибаюсь, она обозначает, что за вещь ручаются, что она особенная, отличная от обычного, – сказал я, – и относится это к заведению, а не к напиткам, которые в нем продаются.

– Может быть, и так, – сказал Джим, нисколько не смущаясь. – Но надпись оказывает свое действие, и я вам доложу, сэр, что из-за нее это пойло чудесно прославилось и продается теперь дюжинами ящиков... Да, я надеюсь, вы ничего не будете иметь против, – я заказал ваш увеличенный портрет с визитной карточки, и его носят по всему Сан-Франциско при объявлениях о завтрашней лекции и с надписью: «*Лоудон Додд, американо-парижский скульптор*». Вот тут я захватил с собой маленькие объявления для раздачи на улицах; они такие же, только те напечатаны красным и синим.

Я смотрел на этот листок, и у меня голова шла кругом. К чему послужили бы слова? Зачем напрасно пытаться разъяснить Пинкертону весь ужас выражения «американо-парижский»? Он сказал бы, что это придает двойной блеск имени. Когда мы приехали в Сан-Франциско и я увидел эти мои изображения на громадных афишах, я выразил свои чувства и мысли в словах, но мне никак не удалось сообщить Пинкертону своего отвращения к такой рекламе.

– Если бы я знал, что вам так не нравятся красные буквы! – вот все, что он уловил в моих сетованиях. – Вы правы, правы, – твердил он. – Черные буквы гораздо лучше, да их и видно гораздо дальше... Да, портрет, ну... так ведь если б я знал, что это вам не понравится... Но уверяю вас, что это вышло очень удачно, и все газеты теперь подхватили...

– Но послушайте, Пинкертон, – перешел я прямо к сути дела, – ведь эта лекция самая сумасшедшая из всех ваших сумасшедших затей. Ну как я могу приготовить лекцию в тридцать часов?

– Да она уже готова, Лоудон! – с торжеством воскликнул он. – Она готова! Готова и переписана на машинке и лежит готовая у меня дома на конторке. Ее составил самый бойкий писатель в Сан-Франциско, Гарри Миллер, самый блестящий литератор во всем городе.

И он продолжал трещать, не слушая моих возражений, о своих очень осложнившихся делах, о своих новых знакомствах, и все повторял, что познакомит меня с каким-то великим человеком, «острым, как игла», от которого я уже заранее инстинктивно пятился, не чуя добра в этом новом знакомстве.

Ну, ладно, пусть будет так! Я вступлю во всю эту Пинкертоновскую затею, помирюсь с портретом и с лекцией, переписанной на машинке. Я только взял с него обещание, что впредь он никогда не выдвинет меня ни в какой затее без моего ведома. Но я чувствовал, как ему это было тяжело, и мне было жаль его, но я досадовал, что мне приходится волей-неволей идти за ним теперь на веревочке. Я называл его «Неукротимым», а пожалуй, лучше было бы назвать его «Неотразимым».

Но взглянули бы вы на меня, когда я уселся за чтение лекции Гарри Миллера! Забавный парень был этот Гарри Миллер! У него было удивительное умение ходить вокруг да около самых скромных сюжетов, но таких, что у меня они вызывали что-то вроде физической тошноты. Он обладал также мастерством по части изображения в сентиментальном, даже мелодраматическом тоне гризеток и умирающих с голоду гениев. Он, очевидно, широко воспользовался моими письмами к Пинкертону. Мои собственные приключения то и дело выступали на сцену в самом ужасном виде, мои собственные чувства отразились в его лекции в таком виде, что я весь пылал

от стыда. Но я должен отдать справедливость Гарри Миллеру: у него был несомненный литературный талант, почти гений. Все мои попытки смягчить его произведение своими вставками оказались бесплодными; я не мог стереть с его лекции печати гарримиллеризма. У него был своеобразный стиль, который было невозможно нарушить; мои вставки, как я с ними ни бился, до такой степени не гармонировали с его текстом, так шли с ним вразрез, что не только не смягчали его, а, наоборот, только подчеркивали и усиливали.

В начале вечера, назначенного для лекции, меня можно было видеть обедающим в ресторане «Пуделя» вместе с моим «агентом» – так Пинкертону было благоугодно называть себя. Потом он меня отвел, словно быка на веревке, которого волокут на бойню, в зал, где я очутился лицом к лицу с публикой Сан-Франциско, столом, стаканом воды и кучей рукописных и машинописных заметок, которые представляли меня и Гарри Миллера. Я прочел лекцию. Так как у меня не было времени выучить ее наизусть, то читал я с заминками, нетвердо, конфузясь. Временами мне удавалось уловить в толпе слушателей пристальные взгляды, но временами я запинался около чересчур живых мест лекции Гарри Миллера, и тогда сердце во мне падало и я начинал неясно бормотать. Публика зевала, пошевеливалась, тихонько роптала, ворчала и наконец послышались громкие замечания, вроде: – «Говорите громче!» – «Ничего не слышно!» Я начал пропускать целые абзацы лекции и, будучи плохо ознакомлен с рукописью, по которой читал, то и дело попадал на самые неудачные места, так что речь моя далеко не всегда была удобопонятна. Особенно зловещим казалось мне, что все эти мои комические выпады принимались публикой молча, без хохота, который они должны были вызывать. Я начал побаиваться кое-чего худшего, даже чего-нибудь вроде личного оскорбления, но весь юмор того, что происходило, внезапно разбился о меня. Публика расхохоталась, и когда после того меня попросили продолжать, я в первый раз смело взглянул на моих слушателей с улыбкой и сказал им:

– Очень хорошо, я попытаюсь, но не думаю, чтобы кто-нибудь желал слушать меня, да и не вижу причины, почему бы кто-нибудь мог этого пожелать.

Тут и публика, и сам лектор расхохотались до слез; громкие возгласы и шумные рукоплескания наградили мою внезапную выходку. Я перевернул разом три страницы рукописи и позволил себе новую выходку.

– Вы видите, – сказал я, – я пропускаю как можно больше!

Публика от этого прониклась еще большим сочувствием ко мне и, когда я закончил и уходил, меня провожали хохотом, топаньем, криками и маханьем шляп.

Пинкертон ждал меня в другой комнате, пожираемый нетерпением: он быстро писал что-то в своей записной книжке. Увидав меня, он ринулся ко мне со слезами на глазах.

– Милый мой, – вскричал он, – я никогда не прощу себе, да и вы никогда не простите меня! Но, клянусь, вам, я действовал с добрым намерением! И как вы ловко выпутались! А я уж думал, что нам придется вернуть деньги.

– Это было бы честнее всего с нашей стороны.

За мной гнались представители печати с Гарри Миллером во главе. В общем это были славные люди, и в особенности Гарри Миллер, который выглядел истинным джентльменом. Мы уселись за устрицы и шампанское, потому что выручка от лекции была превосходная, и так как я был в очень приподнятом нервном настроении, то пир у нас вышел очень шумный. Никогда, кажется, в жизни, не был я так вдохновлен, как на этот раз, когда разглагольствовал о литературном стиле Гарри Миллера и о моих чувствах перед лицом моей аудитории. Мои собутельники заявили мне, что считают меня душой доброй компании и настоящим царем лекторов. И если б вы прочли газетные отчеты о моей лекции, появившиеся на другой день, вы остались бы в убеждении, что я имел небывалый, выдающийся успех.

Я вернулся домой в прекраснейшем расположении духа, но бедный Пинкертон терзался вдвойне, за нас обоих.

– О, Лоудон, – говорил он, – я никогда не прощу себе! Право, если б вы отказались от лекции, то я, кажется, решился бы сам прочесть ее.

## Глава VII

### Железо в огне

#### Opes Strepidumque

Пища телесная не слишком различается для глупца и умного, для слона и воробья; одни и те же химические элементы, в разных формах, поддерживают смертных. Непродолжительное наблюдение над Пинкертоном в его новом положении убедило меня в аналогичной истине по отношению к другому, духовному пищеварению, посредством которого мы извлекаем из жизни, как говорится, «удовольствие за свои деньги». Как школьник, погрузившись в Майн Рида, орудует не стреляющим ружьем и бродит по воображаемым лесам, так Пинкертон ежедневно спешил по Кэрни-стрит к своим занятиям, разыгрывая в мыслях яркую роль на жизненной сцене и радуясь часами, если ему удавалось потереться около миллионера. Реальность была его романом; он гордился своими занятиями, с головой уходил в свое дело. Представьте себе человека, который откопал галион на Коромандельском берегу, и пока его валкая шхуна уходит в открытое море с неполной парусностью, он мерит ведрами золотые слитки на бурном взморье; такой человек, быть может получит гораздо большую материальную добычу, но не извлечет из своего дела больше романтического интереса, чем Пинкертон, когда он подводил еженедельный баланс в своей жалкой конторе. Каждый выигранный им доллар был подобен сокровищу, извлеченному на берег из таинственных недр; каждое предприятие уподоблялось нырку водолаза; и запуская свою смелую руку в гущу денежного рынка, он с наслаждением чувствовал, что потрясает основы существования, рассыпает людей, с боевым криком работать в дальние страны и перетряхивает золото в сундуках миллионеров.

Я никогда не мог измерить всей глубины его спекуляций; но было пять отдельных дел, с которыми он носился, как со знаменем. «Водка Тринадцать Золотых звезд, высшего качества» (отвратительной очистки) занимала большое место в его мыслях и рекомендовать публике в красноречивом, но вводившем в заблуждение трактате «Зачем пить Французскую Водку? Слово Мудрому». Он держал контору для объявителей, дававшую советы и указания, принимавшую посредничество по печатанию и расклейке объявлений, для неопытных или не одаренных фантазией: тупой лавочник являлся к нему за идеями, бойкий театральный агент за сведениями относительно местных условий; и тот, и другой уходили с экземпляром брошюры «Как, Когда и Где» или «Спутник Объявителя». Он нанимал буксирное судно для рыбной ловли в субботу от полудня до вечера и снабжал желающих удочками и прикормом для шестичасовой ловли по пять долларов с персоны. Я слышал, что иные из них (несомненно искусные удильщики) оставались в барышах от такой сделки. При случае он покупал разбитые и предназначенные на слом суда; эти последние (не знаю, каким образом) снова выходили в море под другими названиями и продолжали торжественно рассекать волны под флагом Боливии или Никарагуа. Наконец, была какая-то сельскохозяйственная машина, блиставшая алой и голубой красками и восполнявшая (кажется) «давно ощущавшийся пробел», в которой он имел долю процентов в десять.

Все это фигурировало в качестве закономерного конца его предприятий. «За кулисами», по его выражению, он пускался в самые разнообразные и таинственные аферы. Ни один доллар не задерживался в его руках; напротив, они все куда-то исчезали моментально, как апельсины у фокусника. Мои полочки – когда я вошел в долю – он только показывал мне на минуту и тотчас же пускал в оборот, как те мнимые подарки, которые показываются детям, чтобы немедленно исчезнуть в миссионерской кружке. Подведя баланс за неделю, он являлся сияющий, хлопал меня по плечу, сообщал о своих барышах цифры Гаргантюа и оказывался без гроша на выпивку.

– Да куда же вы их дели? – спрашивал я.

– Пустил в оборот, все снова помещено! – отвечал он.

«Помещение» было его любимым словом. Он терпеть не мог биржевой игры. «Никаких оборотов с акциями, Лоудон, – говорил он, – ничего, кроме законного дела». – А между тем, ей-Богу, иной закаленный биржевой игрок отшатнулся бы в ужасе при одном намеке на кое-какие из Пинкертоновских «помещений»! Одним из них, которое мне удалось проследить, и которое я привожу в качестве примера, была доля в седьмой части в найме некоей злополучной шхуны,

отправлявшейся в Мексику с целью провезти контрабандой оружие в один конец и сигары в другой. Заключительная часть этого предприятия, связанная с кораблекрушением, конфискацией и судебным процессом со страховщиками, была слишком печальна, чтобы останавливаться на ней подробно. «Вышла неудача», – вот все, что сказал мне мой друг по этому поводу; но я заметил, что здание его успехов пошатнулось. Остальное я узнал только случайно, потому что Пинкертон с течением времени перестал посвящать меня в свои тайны: причину вы сейчас узнаете.

Контора, которая была (или должна была быть) местом успокоения этого потока долларов, находилась в центре города и представляла собой высокую и просторную комнату в несколько окон с зеркальными стеклами. Полированный шкаф красного дерева являл взорам армию бутылок, штук в двести, с яркими ярлыками. Все они были наполнены пинкертоновским «Тринадцать Звезд», хотя только эксперт мог бы отличить их через комнату от бутылок Курвуазье. Я обыкновенно упрекал моего друга этим сходством и предлагал новое издание брошюры с измененным заглавием: «Зачем Пить Французскую Водку, Когда Мы даем Вам те же Ярлыки?» Дверцы шкафа весь день вращались на своих петлях; и если являлся кто-нибудь, еще незнакомый с достоинствами напитка, то уходил, нагруженный бутылкой. Когда я протестовал против этой расточительности, Пинкертон восклицал: «Дорогой Лоудон, вы, по-видимому, не усвоили принципов дела! Ведь напиток буквально ничего не стоит. Я не найду более дешевой рекламы!» К боковой стенке шкафа прислонился пестрый зонтик, сохраняемый, как реликвия. Когда Пинкертон готовился выпустить на рынок «Тринадцать Звезд», приближался сезон дождей. Он поджидал, в стесненных обстоятельствах, почти в нищете, первого ливня, а лишь только хлынул дождь, на всех перекрестках, точно по сигналу, появились его агенты, раздающие объявления, и все обитатели Сан-Франциско, от дельца, спешащего на перевоз, до дамы, поджидающей на углу вагона, укрылись под зонтиками со странной надписью:

**«Вы промокли? Попробуйте „Тринадцать Звезд“.**

– Это была грандиозная спекуляция, – рассказывал Пинкертон, видимо наслаждаясь воспоминанием. – Никакого другого зонтика не было видно. Я стал у этого окна, Лоудон, любовался зрелищем, и, уверяю вас, чувствовал себя Вандербильтом.

Этому умелому использованию местного климата он был обязан не только значительным сбытом «Тринадцати Звезд», но и всем предприятием агентства объявлений.

Большая конторка (чтобы закончить описание комнаты) стояла посередине, утопая в горах объявлений и брошюр «Зачем Пить Французскую Водку?» и «Спутник Объявителя». С одной стороны помещались две барышни с пишущими машинками, работавшие без перерыва с девяти до четырех часов, с другой – модель сельскохозяйственной машины. Стены, там, где они не были заняты телефоном и двумя фотографиями – одна изображала кораблекрушение «Джемса Л. Мауди» у пустынного и скалистого берега, другая – субботний буксир, благополучно везущий любителей рыбной ловли – почти исчезали под картинами в ярких рамках. Большинство представляли реликвии Латинского Квартала, и я должен отдать справедливость Пинкертону: ни одна не была плоха, а некоторые отличались замечательными достоинствами. Они сбывались медленно, но за хорошую цену, и их места постепенно занимались произведениями местных художников. Моим первым делом было рассмотреть и раскритиковать их. Некоторые были безобразны, но все годились на продажу. Я сказал это и в ту же минуту почувствовал себя ренегатом, перебежчиком во вражеский лагерь. Я смотрел на картины уже не глазами художника, а глазами торговца, и чувствовал, как расширяется пропасть, отделявшая меня от того, что я любил.

– Теперь, Лоудон, – сказал Пинкертон на другое утро после лекции, – мы можем идти плечом к плечу. Это все, о чем я мечтал: мне нужно было две головы и четыре руки, и вот они налицо. Вы увидите, что это все равно что искусство – все дело в наблюдении и воображении; требуется только больше движения. Подождите немножко, и вы почувствуете прелесть этого дела.

Мне пришлось долго ждать. Быть может, у меня не хватало воображения, но все наше дело казалось мне удручающей суетой, а место, где мы суетились, по-моему, всего правильнее было бы назвать «Местом Зевоты». Я спал в маленькой каморке за конторкой; Пинкертон в самой конторе, на патентованном диване, который для этого раскладывался; кроме того, его сну мешали



неизбежные часы с будильником. Благодаря этому дьявольскому приспособлению мы вставали рано, рано уходили завтракать и возвращались в девять часов к тому, что Пинкертон называл работой, а я развлечением. Приходилось распечатывать и прочитывать массу писем и отвечать на них; на одни отвечал я за добавочной конторкой, поставленной в день моего вступления в дело; на другие – мой быстроглазый друг, расхаживавший по комнате, точно лев в клетке, и диктовавший постукивающим барышням. Приходилось просматривать массу влажных корректур и делать отметки синим карандашом – «рустик», «шестидюймовый», «раздвинуть»; иногда же и в более резких выражениях, например, в таком роде (заметка Пинкертона на поле объявления об «Умягчающем Сиропе»): «Разобрать все. Или вы никогда не печатали объявлений? Зайду через полчаса». Главная конторская и торговая книги также всегда были с нами. Таковы были наши основные занятия, довольно сносные; но гораздо большую долю нашего времени отнимали посетители – без сомнения, благодущные, славные ребята, и острые, как игла, но, к несчастью, не интересные для меня. Иные казались полоумными, им приходилось втолковывать битый час самое простое решение, и все для того, чтобы оставив контору, они вернулись через десять минут отменить его. Другие делали вид, что очень заняты и спешат, но я замечал, что это только для пущей важности. Сельскохозяйственная модель, например, которую можно было пускать в ход, оказывалась чем-то вроде мушиной бумаги для этих занятых людей. Они вертели ручку минут по пять, с напускным (никого не обманывавшим) видом делового интереса: «Хорошая это штука, Пинкертон? Много таких продаете? Хе! А нельзя ли ее пустить в ход для рекламы моего завода?» то есть, например, туалетного мыла. Другие (еще худшая разновидность) тащили нас в соседний ресторан сыграть в кости «на петушиный хвост»<sup>19</sup> и (по уплате за петушиный хвост) на доллары, примостившись на краешке конторки. К костям вся эта публика питала действительно необычайное пристрастие: в одном клубе, где я обедал как-то в качестве «моего компаньона, мистера Додда», ящичек с костями появился на столе вместе с вином, как безыскусная замена послеобеденной беседы.

Из наших посетителей я, кажется, предпочитал всем остальным Императора Нортон, и вспомнив это имя, чувствую, что не совсем справедливо отнесся к публике Сан-Франциско. В каком другом городе безобидный сумасшедший, вообразивший себя императором обеих Америк, нашел бы такую ласку и поощрение? Где уличная толпа уважила бы иллюзию бедняги? Где банкиры и купцы принимали бы его визиты, выплачивали по его чекам, подчинялись его маленьким капризам? Где допустили бы его присутствовать и произносить приветствия по торжественным дням в школах и колледжах? Где в Божьем мире он мог бы выбирать любой ресторан, требовать по карте, что ему вздумается, и уходить безнаказанно? Мне говорили даже, что он был очень требовательным клиентом и грозил переменить ресторан, если что-нибудь ему не нравилось; и я готов поверить этому, так как по лицу его было видно, что он большой гастроном. Пинкертон получил от этого монарха кабинетное назначение; я видел патент и удивлялся добродушию типографщика, который напечатал его: помнится, мой друг был поставлен во главе министерства иностранных дел или народного просвещения: это, впрочем, не имело значения, так как дань во всех министерствах была одинакова. Мне сравнительно рано довелось увидеть Джима за исполнением его государственных обязанностей. Его Величество вошел в контору – тучный, довольно рыхлый человек, с наружностью джентльмена, которому большая сабля на боку и петушиные перья на шляпе придавали необыкновенно патетическое и нелепое выражение.

– Я пришел напомнить вам, мистер Пинкертон, что вы немножко запоздали с уплатой, – сказал он со старосветской величавой любезностью.

– Слушаю, ваше величество; как велик итог? – спросил Джим; и когда цифра была названа (она составляла обычно два или три доллара), расплатился чистоганом, прибавив премию в виде «Тринадцати Звезд».

– Я всегда рад покровительствовать отечественным производствам, – сказал Нортон Первый. – Сан-Франциско одушевлен почтением к своему императору; из всех моих владений, сэр, это мой любимый город.

– Право, – сказал я, когда он ушел, – я предпочитаю этого посетителя остальной публике.

---

<sup>19</sup> Cocqtail («петушиный хвост») – смесь нескольких водок с различными ингредиентами (прим. перев.).

– Он оказывает нам особое внимание, – заметил Джим. – Должно быть, его привлекла история с зонтиком.

Между нами говоря, нас отличали и другие, более важные люди. Бывали дни, когда Джим напускал на себя необычайно важный и решительный вид, говорил отрывисто, точно торопился, и с языка его то и дело срывались фразы вроде «Лоннерет сказал мне сегодня утром» или «я сейчас от Лоннерета». Я не удивлялся, что Пинкертона приглашали на совещания с такими титанами, так как его находчивость и быстрота соображения были выше всякой похвалы. В первые дни, когда он советовался со мной без всякого стеснения, расхаживая по комнате, проектируя, выводя цифры, высчитывая возможные барыши, утраивая воображаемый капитал, причем его «машина» (чтобы возобновить это превосходное старое выражение) работала на всех парах, я никогда не мог решить, какое чувство у меня преобладает, – уважение или интерес. Но этим хорошим часам суждено было сократиться.

– Да, это довольно ловкая штука, – заметил я однажды. – Но, Пинкертона, неужели вы думаете, что это честно?

– Вы думаете, что это нечестно! – простонал он. – Боже, не думал я услышать такое выражение из ваших уст!

При виде его огорчения я не постеснялся ответить ему по-мейнеровски.

– Вы, кажется, думаете, что честность такая же простая вещь, как игра в жмурки, – сказал я. – Это гораздо более деликатное дело: деликатное, как всякое искусство.

– О, в этом смысле! – воскликнул он, совершенно успокоившись. – Ну, это казуистика.

– Я совершенно уверен в одном: то, что вы предлагаете, нечестно, – возразил я.

– Ладно, не будем больше говорить об этом; это решено, – ответил он.

Таким образом недоразумение было улажено почти с первых слов. Но беда в том, что подобные недоразумения повторялись, так что наконец мы стали глядеть друг на друга с тревогой. Единственная вещь, которую Пинкертона ценил в себе, была его честность – единственная вещь, которой он дорожил, было мое доброе мнение; и раз то и другое колебалось, как оно и было при этих коммерческих недоразумениях, он оказывался в мучительном положении. Мое собственное положение, если принять в расчет, сколь многим я был обязан ему, как неприятно ремесло обличителя чужих грехов, а равно и то обстоятельство, что я жил и кормился этими самыми операциями, оказывалось, пожалуй, не менее тяжелым. Если бы я был честнее или сварливее, дело могло бы пойти очень далеко. Но, сказать правду, я был достаточно низок, чтобы пользоваться тем, что не навязывалось моему вниманию, и не искать объяснений; Пинкертона же был достаточно хитер, чтобы приспособиться к моей слабости, и мы оба почувствовали облегчение, когда он начал облекать свои операции покровом пристойной тайны.

Наш последний спор, имевший совершенно неожиданные последствия, произошел по поводу переделки судов, назначенных на слом. Он купил какую-то несчастную посудину, и, потирая руки, заявил мне, что скоро она уже выйдет в море под другим именем. Когда я впервые услышал об этом предприятии, то не совсем ясно понимал, в чем дело; но последующие разговоры прояснили мне ее суть, и теперь мой лоб нахмурился.

– Я не хочу участвовать в этом деле, Пинкертона, – сказал я.

Он подпрыгнул, точно ужаленный.

– Что такое? – воскликнул он. – Чем вы недовольны? Вам, кажется, не по вкусу всякое доходное предприятие.

– Судно было назначено на слом агентом Ллойда, – ответил я.

– Но уверяю вас, это интриги. Корабль в отличном состоянии; попорчены только шпунтовый пояс и сторн-пост. Я вам говорю, что агент Ллойда плут, как и все они; только он английский плут, и это вводит вас в заблуждение. Будь он американец, вы бы сами разнесли его. Это англomanия, чистая англomanия! – кричал он с возрастающим раздражением.

– Я не хочу наживать деньги, рискуя жизнью людей, – поставил я ультиматум.

– Великий Цезарь! Да разве всякая спекуляция не риск? Разве даже самые честные из кораблестроителей не рискуют жизнью людей? А горное дело – разве в нем нет риска? А операция с элеватором – это ли не опасность? Разве я не рисковал, когда купил ее? А она могла бы пойти чересчур далеко; и где бы я был теперь! Лоудон, – воскликнул он, – я скажу вам правду: вы слишком утонченны для здешнего мира!

– Я буду судить вас на основании ваших же слов, – возразил я, – вы сказали «самые честные из кораблестроителей». Так давайте и будем заниматься только самыми честными предприятиями.

Выстрел оказался удачным: неукротимый был вынужден умолкнуть, а я воспользовался случаем, чтобы сделать залп с другого борта. Я указал ему на то, что он совершенно ушел в добывание денег и не думает ни о чем, кроме долларов. Куда же девались все его благородные намерения, прогрессивные устремления? Что случилось с его культурой, спрашивал я. И что случилось с Американским Типом?

– Это правда, Лоудон! – воскликнул он, бегая взад и вперед по комнате и отчаянно ероша волосы. – Вы совершенно правы. Я превратился в материалиста. О, какое слово приходится выговорить! Какое признание сделать! Материалист! Я! Лоудон, это не должно продолжаться! Вы еще раз показали себя моим верным другом; дайте мне вашу руку – вы еще раз спасли меня. Я должен что-нибудь сделать, чтобы поднять в себе дух, что-нибудь отчаянное, изучать что-нибудь, что-нибудь скучное, тяжеловесное. Что бы мне выбрать? Теологию? Алгебру? Что такое алгебра?

– Вещь достаточно сухая и тяжеловесная, – отвечал я, –  $a^2 + ab + b^2$ .

– Но все же и возбуждающая? – осведомился он.

Я ответил утвердительно и прибавил, что она считается полезной для Типов.

– Стало быть, эта вещь как раз для меня. Я буду изучать алгебру, – решил он.

На другой день, при посредстве одной из пишущих барышень, он познакомился с молодой леди, некоей мисс Мэми Мак-Брайд, которая была готова и могла руководить им в этой безотрадной области; и так как ее средства были скудны и потому условия умеренны, то он и Мэми живо согласились относительно двух уроков в неделю. Он увлекся с беспримерной быстротой; по-видимому, он не мог оторваться от этой символической науки: часовой урок занимал целый вечер, и первоначальные два урока скоро превратились в четыре, затем в пять. Я предостерегал его против женских чар:

– Смотрите, не влюбитесь в эту алгебраичку, – сказал я ему.

– Не говорите этого даже в шутку! – воскликнул он. – Я уважаю эту леди. Я так же не способен прикоснуться к ней, как к бесплотному духу. Лоудон, я уверен, что Бог никогда не создавал женщины с более чистой душой.

Это заявление показалось мне чересчур пылким, чтобы быть успокаивающим.

Немного погодя я объяснился с моим другом по другому предмету.

– Я здесь пятая спица в колеснице, – сказал я ему. – На что я здесь нужен? Я мог бы с таким же успехом жить в Сенегамбии. Я отвечаю на письма, но на них мог бы ответить и грудной младенец. И вот что я вам скажу, Пинкертон: или найдите мне какое-нибудь занятие, или я найду его сам.

Говоря это, я подумывал о своем любимом искусстве, не подозревая, какая участь готовится мне.

– Я нашел вам занятие, Лоудон, – объявил наконец Пинкертон. – Эта идея пришла мне в голову в вагоне Потреро. Карандаша у меня не было, я занял его у кондуктора и сочинял всю дорогу. Я убедился, что это настоящее дело; оно покажет вас во всем блеске. Все ваши таланты и способности могут развернуться в нем. Вот проект объявления. Посмотрите-ка: *«Солнце, озон и музыка! ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПИКНИКИ ПИНКЕРТОНА!»* (Это очень заманчивая фраза, хотя «*hebdomadary*» (еженедельное) трудно произносить). Я заметил это слово, когда смотрел в словаре, как пишется *hectogonal*. Ну, говорю ему, ты действительно всем словам слово. Вот погоди, я пропечатаю тебя такими же длинными литерами, как ты само. И вот оно здесь, видите. *«Пять долларов с персоны, дамы бесплатно. ЧУДНАЯ СМЕСЬ АТТРАКЦИОНОВ!»* (Как вам это нравится). *«Бесплатный ленч под зелеными деревьями. Танцы на упругой мураве. Возвращение домой в Ясные Вечерние Часы. Распорядитель и Почетный старшина, Г. Лоудон Додд, эскв., известный знаток».*

Как странно человек попадает из Сциллы в Харибду? Я так хлопотал об устранении единственного эпитета, что без разговоров принял остальное объявление и все, что из него следовало. Так и вышло, что слова «известный знаток» были вычеркнуты; но Г. Лоудоц Додд сделался распорядителем и почетным старшиной Ежедневных Пикников Пинкертона, которые народный голос превратил в Дромадеров<sup>20</sup>.

<sup>20</sup> По созвучию слов *Hebdomadary* (еженедельный) и *Dromedary* (верблюд) (прим. перев.).

Каждое воскресенье, в восемь часов утра, публика могла любоваться мной на пристани. Облачение и знаки достоинства состояли из черного фрака с розеткой, с оттопыривающимися от конфет и дешевых сигар карманами, светло-голубых брюк, шелковой шляпы, напоминающей рефлектор, и лакированного жезла. С одного бока у меня пыхтел и трясся красивый пароход, украшенный на корме и на носу флагами, во славу Дромадеров и патриотизма. С другого бока находилась касса, вверенная надежному малому шотландского происхождения, украшенному розеткой и курившему сигару по случаю торжества. В половине девятого, убедившись, что все необходимое для бесплатного ленча приготовлено, я тоже закуривал сигару и поджидал «Оркестр Пионеров». Мне недолго приходилось ждать – они были немцы и отличались пунктуальностью – и спустя несколько минут до моего слуха доносился гул отряда, спускающегося по улице с барабанным боем: десятка два добровольных ослов в медвежьих шапках и полукафтанах из оленьей кожи, с блестящими секирами. Мы, разумеется, нанимали этот отряд; но пристрастие жителей Сан-Франциско к публичным представлениям так велико, что ослы поступали к нам добровольцами, единственно из любви к искусству, и не стоили нам ничего, кроме угощения ленчем.

Музыканты располагались на носу моего парохода и принимались наигрывать веселую польку; ослы становились на страже на шкафуте и подле кассы; затем начинала съезжаться публика целыми ватагами зараз, в виде семей, состоящих из отца, матери и детей, влюбленных парочек и одиноких молодых людей, от четырехсот до шестисот, с сильной примесью немцев, и все веселые как дети. Когда они устраивались на пароходе, и неизбежные двое-трое опоздавших поднимались на палубу при понуканиях публики, – отдавали швартовы, и мы отплывали в залив.

Теперь-то почетный старшина является во всем блеске исполнения своих обязанностей; стоит посмотреть, как я разгуливаю в толпе – сияя благодушием и улыбками, угощая пассажиров конфетами и сигарами. Я говорю бессовестные комплименты девочкам-подросткам, уверяю робких молодых особ, что это судно только для женатых людей, лукаво осведомляюсь у рассеянных, не задумались ли они о своих милых, угощаю сигарой отца семейства, поражаюсь красотой мамы и любопытствую, сколько лет ее младшему сыну, который (как я шутливо уверяю ее) сделается взрослым раньше своей матери; или, если мне кажется по осмысленному выражению ее лица, что она может дать разумный совет, спрашиваю, не знает ли она какого-нибудь особенно приятного местечка на берегу Сауселито или Сан-Рафаэля, так как место нашего пикника предполагается неизвестным. Затем я возвращаюсь к легкомысленной болтовне с молодыми леди, возбуждая на своем пути смех и одобрительные замечания, вроде «не правда ли, мистер Додд большой забавник?» или «По-моему, он очень мил!»

Проведя час в таких легкомысленных занятиях, я снова начинаю обход с сумкой, наполненной цветными билетиками с воткнутыми в них булавками и с надписями: «Старая Германия», «Калифорния», «Истинная Любовь», «Старые чудачки», «La belle France», «Зеленый Эрин», «Страна Кэков», «Вашингтон», «Голубая Сойка», «Реполов», по двадцать экземпляров каждого названия, так как за ленчем мы рассаживаемся по двадцати. Они распределяются со строжайшей разборчивостью – это действительно самая деликатная часть моих обязанностей, – но с виду совершенно наудачу, среди веселой суматохи и гомона; они немедленно припиливаются к шляпам и шляпкам, что сопровождается проявлениями крайней экспансивности; совершенно незнакомые люди окликают друг друга по их артельным кличкам, как мы юмором называем эти билетки, и палуба оглашается криками: «Сюда, все Голубые Сойки, на выручку!» или: «Неужто я один на этом проклятом пароходе? Есть тут еще Калифорнийцы?»

Тем временем мы подплываем к назначенному пункту. Я поднимаюсь на мостик, привлекая взоры всех пассажиров.

– Капитан, – говорю я ясным, звучным, далеко разносящимся голосом, – по-видимому, большинство публики решило в пользу маленькой бухты за Он-Три-Пойнтом.

– Ладно, мистер Додд, – дружелюбно отвечает капитан, – мне все едино. Я не помню в точности того места, которое вы назвали; по стойте здесь и будьте моим лоцманом.

Я так и делаю, указывая направление моим жезлом. Я руковожу плаванием к невыразимому удовольствию публики, потому что я (зачем мне отрицать это?) популярный человек. Мы медленно приближаемся к устью травянистой долины, орошаемой ручьем и усеянной соснами и секвойями. Якорь брошен, лодки спущены две из них уже нагружены напитками и закуской для

импровизированного бара, а Оркестр пионеров, сопровождаемый лучезарными осликами, направляется к берегу под увлекательные звуки: «Выходите вечером, девушки Буффало!» Согласно нашей программе, один из ослов должен, по своей неуклюжести, уронить во время высадки в воду свою бутафорскую секиру, отчего веселью компании нет конца. В одном из таких случаев секира всплыла. И веселье направилось не по надлежащему адресу.

Минут через десять-двадцать лодки возвращаются, участники выстраиваются на палубе по артелям, и вся компания переправляется на берег, где ее ожидают оркестр и импровизированный бар. Тут выступают на сцену корзины, Нагроможденные на берегу под строгой охраной дюжих ослов с секирами на плечах. Здесь помещаюсь я, с записной книжкой в руке, под флагом с надписью «Пожалуйста за корзинами». Каждая корзина содержит полный припас на двадцать человек: холодные закуски, тарелки, стаканы, ножи, вилки и ложки. Трогательное печатное воззвание, набросанное лихорадочным пером Пинкертона и приклеенное на внутренней стороне крышки, умоляет беречь стекло и серебро. Пиво, вино и лимонад уже текут из бара, и отряды по двадцать душ отправляются в рощу, с бутылками под мышкой и с корзинами, подвешенными на палках. Там они угощаются до часу, в довольно сомнительном уединении, на таком расстоянии, откуда можно слышать оркестр. С часу до четырех происходили танцы на траве; бар действовал вовсю; а почетный старшина, уже и без того выбившийся из сил, стараясь развеселить скучные компании, должен был теперь неумолимо выплясывать с наименее интересными дамами. В четыре раздавался гудок, а в половине пятого мы снова были на пароходе – пионеры, разобранный железный бар, пустые бытылки и все остальное; и почетный старшина, освободившись наконец, блаженствовал в капитанской каюте за содовой водой с виски и книгой. Я говорю, освободившись, но еще оставалось шумное прощание на пристани и скромное путешествие в контору Пинкертона с двумя полисменами и дневной выручкой в мешке.

Я описал обычный тип пикников. Но мы лучше угождали вкусам Сан-Франциско в специальных празднествах. «Пикник Старых Времен», шумно возвещенный в афишах, начинавшихся словами: «Слушайте, слушайте!», и привлекая множество рыцарей, монахов и кавалеров, попал под несвоевременный дождь и представлял во время возвращения в город самое плачевное зрелище, какое мне когда-либо случалось видеть. Забавным контрастом и нашим главным успехом был «Сбор кланов», или шотландский пикник. Никогда еще не выставлялось разом на публике столько белоснежных колен, а судя по преобладанию «Королевских сенешалей» и количеству орлиных перьев, мы были очень высокородной компанией. Я выставлял напоказ шотландскую линию моих предков и вызвал аплодисменты как начальник клана, делая проверку. Только одно облачко омрачило этот счастливый день. Я захватил с собой большой запас национального напитка «Настоящая старая о'бленда Роброя Мак-Грегора», и она несомненно оказалась благородным напитком, так как мне стоило немало труда перетаскивать на борт безжизненные, по-видимому, тела вождей с четырех до половины пятого.

На один из наших обычных праздников явился инкогнито сам Пинкертона, с алгебраичкой под ручку, и показал себя душой и сердцем своей артели. Мисс Мэми оказалась недурненькой барышней с большими светлыми глазами, с очень хорошими манерами и с потоком самых приличных выражений, какие я когда-либо слышал из человеческих уст. Так как инкогнито Пинкертона хранилось строго, то мне не пришлось много пользоваться обществом этой леди; но потом я узнал, что она отозвалась обо мне как «о самом остроумном джентльмене, с которым когда-либо встречалась». «Да исправит Бог твое понятие об остроумии», – подумал я; но не могу скрыть, что таково было общее мнение. Одна из моих острот даже приобрела популярность в Сан-Франциско, и я сам слышал ее в ресторанах. Под конец почти не осталось людей, не знающих меня; мое появление вызывало шепот. Если кто-нибудь спрашивал: «Кто это?», ему отвечали: «Это? Дромадерный Додд!», или с уничтожающим презрением: «Так вы не знаете мистера Додда, устроителя пикников? Ну!», – и я думаю, что такое незнание действительно говорило о печальной судьбе; потому что наши пикники, хотя и немножко вульгарные, отличались весельем и невинностью золотого века. Я уверен, что ни один народ не развлекается так благодушно и искренно; и несмотря на заботы почетного старшины, я часто был очень доволен тем, что участвую во всем этом.

В самом деле, тут были только две неприятные вещи. Первая – мой ужас перед девицами, против которых я (по обязанностям моего положения) был беззащитен. Вторая, менее серьезная,

была еще неприятнее. В раннем возрасте: можно сказать, на коленях матери, я приобрел незавидную привычку, от которой никогда с тех пор не мог отделаться: распевать «Перед самой битвой». Голосишко у меня был слабенький – мои лучшие ноты едва можно было слышать за обеденным столом, а верхний регистр можно было принять скорее за молчание. Знатоки говорили мне, кроме того, что я пою без выражения; и будь я лучшим певцом в мире, я бы, обладая зрелым вкусом, не выбрал для пения «Перед самой битвой». Несмотря на все эти соображения, я на одном из пикников, замечательно унылом, истощив все способы развеселить публику, пропел от отчаяния свою песню. С этого дня моя участь была решена. Был ли у нас какой-нибудь бессменный пассажир (хотя я никогда не мог открыть такого) или сами железо и дерево парохода сохранили воспоминание о моей песне, только на каждом последующем пикнике возникала молва, что мистер Додд певец; что мистер Додд поет «Перед самой битвой»; и наконец, что мистер Додд сейчас споет «Перед самой битвой». Так что в конце концов это сделалось таким же неизбежным пунктом программы, как потопление бутафорской секиры; мне приходилось каждое воскресенье исполнять мою плачевную арию, по окончании которой следовали благодушные аплодисменты. Могу отметить, как сокровенную черту человеческой природы, что меня всякий раз просили повторить.

Правда, мне хорошо платили даже за пение. В среднем каждый пикник давал нам с Пинкертоном пятьсот долларов. Мало того, эти пикники, хотя и косвенно, сделались орудием необыкновенной удачи для меня. Это случилось в конце сезона после «Большого Прощального Фантастического Костюмированного Бала». Многие из корзин жестоко пострадали, и мы нашли более благоразумным не платить за хранение, а продать корзины, с тем, чтобы сделать новый запас с возобновлением кампании. В числе моих покупателей был мастеровой по имени Спиди, к которому после нескольких тщетных писем мне пришлось отправиться лично, с удивлением сознавая, что я снова нахожусь в ложном положении и играю роль кредитора по отношению к чьему-то должнику. Спиди находился в воинственной стадии страха. Он не мог заплатить. Кажется, он уже перепродал корзины и заявил мне, что я могу делать, что мне вздумается. Я не хотел терять мои деньги, мне было очень неприятно терять Пинкертоновские; а поведение моего кредитора взорвало меня.

– А знаете ли вы, мистер Спиди, что я могу засадить вас в исправительный дом? – сказал я, желая прочесть ему нотацию.

Это жестокое выражение было услышано в соседней комнате. Из нее тотчас выбежала здоровенная, толстая тетеха-ирландка и принялась осаждать меня ласками и мольбами.

– Конечно, вы не будете так жестоки, мистер Додд, вы всем известны как милый джентльмен; и действительно, у вас такое милое лицо, – как две капли воды мой покойный брат. Это правда, что он выпивши, вы сами можете понять по запаху, и тем хуже для него. Но, право, в доме нет ничего, кроме мебели и негодных акций. Возьмите акции, милый. Они таки влетели мне в копеечку, а теперь, все говорят, не стоят понюшки табака.

Под влиянием этих заклинаний и несколько сконфуженный собственной свирепостью, я позволил ей навязать мне значительное количество потерявших цену акций, на которые эта превосходная, но нелогичная женщина затратила свои трудовые денежки. Вряд ли они могли улучшить мое положение, но мой поступок успокаивал женщину; а с другой стороны, я не особенно рисковал, так как эти бумаги (я назову их акциями Катомоунтской Серебряной «Копи») уже некоторое время назад упали до того, что перестали котироваться на бирже, и покупались в оборот (подобно другим обесценившимся акциям) только обанкротившимися спекулянтами.

Спустя месяц или два я заметил в биржевом бюллетене, что Катомоунтские внезапно поднялись; еще до полудня «негодные акции» стоили изрядную сумму денег, и я узнал, наведя справки, что в забракованном карьере была найдена богатая жила и от копеек ожидалось теперь чудеса. Любопытная вещь для философов – это нахождение богатых жил в забракованных карьерах, причем всегда так бывает, что копи находились как раз перед этим на точке замерзания! Случайно Спиди сделали выгодное помещение, и если бы я не явился требовать долг, мистрис Спиди могла бы теперь щеголять в шелковом платье. Я, конечно, не захотел воспользоваться случайностью и отправился к ней вернуть деньги. В доме стояла суматоха; соседи, все отчаянные игроки, толпились в доме, явившись выразить свое сочувствие, а мистрис Спиди, заливаясь горячими слезами, сидела в центре трогательной группы.

– Пятнадцать лет я билась, – жаловалась она, когда я вошел, – детишкам жалела молока – бесстыдница! – чтобы выплачивать поганые налоги. А теперь, голубчики, могла бы зажить барыней и кататься в собственном экипаже, если бы все делалось по справедливости; ни дна ни покрышки этому Додду!

Только взглянула на него, сразу увидела, что разбойник пришел.

Мое появление совпало с этими словами, так что вышло довольно драматичным, хотя его и сравнивать нельзя с тем, что последовало. Ибо вы сами можете представить себе, какой энтузиазм царил в маленькой голой комнате со швейной машинкой в одном углу и спящими младенцами в другом, с картинками, изображавшими Гарфильда и сражение при Геттисбурге, на желтых стенах, когда выяснилось, что я пришел вернуть утерянное состояние, и когда мистрис Спиди (пролив потоки слез на моей груди) отказалась принять его обратно, а мистер Спиди (нарочно для этого вызванный из лагеря Великой Армии Республики) тоже отказался, а я настаивал, и они настаивали, и публика аплодировала и выражала сочувствие каждой стороне поочередно, и решено было наконец что мы разделим акции на три части: одну мне, одну мистеру Спиди и одну его супруге. Кто-то из сочувствующих принес бутылку портвейна, и мы распили ее, смешивая вино с нашими слезами.

– Пью за ваше здоровье, голубчик, – всхлипывала мистрис Спиди, особенно тронутая моей галантностью по поводу третьей доли, – и уверена, что все выпьют за ваше здоровье – кто же не знает мистера пикникового Додда? Нет другого такого известного джентльмена, и я молю Бога, чтобы он послал вам здоровье и счастье на много лет!

В конце концов я оказался в небольшом выигрыше, так как продал свою долю, когда она стоила пять тысяч долларов, Спиди же рискнули держать ее, пока синдикат не затеял обратной аферы, так что они рады были, когда удалось сбить акции за четверть этой суммы. Это, впрочем, не помогло, так как большая часть вырученных денег была (употребляя выражение Пинкертона) снова помещена; и когда я встретился с мистрис Спиди, она все еще была в нарядном платье, – результате последней удачи, но уже смоченном слезами вследствие новой катастрофы.

– Мы разорены, голубчик! Все деньги, какие у нас были, и швейная машинка, и мундир Джима пошли на Золотой Запад, а эти аспиды наложили новый налог.

К концу года мои дела обстояли так. Я нажил:

На Катомоунтской Серебряной Копи – 5,000 долл.

На пикниках – 3,000 долл.

На лекции – 600 долл.

Прибыли и убытки на капитал, завязанный в Пинкертоновском деле – 1,350 долл.

9,950 долл.

К которым нужно прибавить

Остаток от подарка моего деда – 8,500 долл.

18,450 долл.

С другой стороны

Я истратил – 4,000

Не стыжусь сознаться, что я смотрел на этот результат с гордостью и благодарностью. Тысяч восемь (последняя добыча) были налицо и действительно находились в банке, остальные кружились где-то вне сферы достижения и даже вне поля зрения (разве в зеркале баланса), повинуюсь заклинаниям кудесника Пинкертона. Мои доллары направлялись к берегам Мексики, рискуя погибнуть в пучине или попасть в лапы таможенных; они катались по прилавкам салонов в городе Томбстоне, в Аризоне; они сверкали в игорных палатах в становищах рудокопов, и воображение уставало следить за ними, так широко они были рассеяны, так быстро вертелись по мановению палочки кудесника. Но здесь, там и где бы то ни было, я все же мог сказать, что все это мое, и – что было еще убедительнее – приносит существенные дивиденды. Я называл это своим состоянием; и выраженное в долларах или даже британских фунтах, оно составляло порядочную сумму денег; а переведенное на франки – подлинное состояние. Быть может, я выдал себя; быть может вы уже видите, куда устремляются мои надежды, и упрекаете меня за

непоследовательность. Но я должен сначала поведать вам о перемене в судьбе Пинкертона, которая и послужила мне извинением.

Спустя неделю после пикника, на котором он был с мисс Мэми, Пинкертона признался мне в своих чувствах. На основании того, что мне пришлось наблюдать на пароходе, – где, как мне показалось, Мэми не спускала с него своих светлых глазок, – я ободрил робкого влюбленного; в следующий же вечер он пригласил меня к своей невесте.

– Вы должны подружиться с ней, Лоудон, как всегда дружили со мной, – сказал он патетически.

– Говоря неприятные вещи? Сомневаюсь, чтобы этим способом можно было заслужить расположение молодой леди! – воскликнул я. – Со времени пикников я приобрел кое-какой опыт.

– Да, вы ведете их блистательно; не могу выразить, как я восхищаюсь вами! – воскликнул он. – Не то, чтобы она нуждалась в этом; она обладает всеми преимуществами. Бог знает, чем я мог заслужить ее расположение. О, какая ответственность для грубого малого, к тому же не всегда правдивого!

– Бодрее, старина, бодрее! – сказал я.

Но когда мы пришли в пансион Мэми, он представил меня ей почти со слезами.

– Вот, Лоудон, Мэми, – были его слова. – Я желал бы, чтобы вы полюбили его; он человек великой души.

– Вы, конечно, не незнакомец для меня, мистер Додд, – сказала она любезно. – Джемс не устает расхваливать вашу доброту.

– Дорогая леди, – сказал я, – когда вы получше узнаете нашего друга, вы будете снисходительно относиться к его горячему сердцу. Моя доброта заключалась в том, что я позволял ему кормить, одевать и содержать меня, когда у него самого едва хватало средств. Если я теперь жив, то обязан этим ему; ни у кого еще не была такого нежного друга. Вам следует хорошенько заботиться о нем, – прибавил я, положив руку ему на плечо, – и держать его в порядке, потому что он нуждается в этом.

Пинкертона был очень тронут этой речью, а также, боюсь, и Мэми. Я согласен, что мое заявление было бестактно. «Когда вы получше узнаете нашего друга», – было неудачно сказано; и даже «держать его в порядке, так как он нуждается в этом», – можно было принять за оскорбление. Но спрашиваю, вполне полагаясь на ваше суждение: разве общий тон был «покровительственный»? Если таков был приговор леди, то я не могу винить в этом ни себя, ни ее; я могу только предположить, что Пинкертона уже прожужжал бедняжке уши моим именем; так что явился я хоть с песнями Аполлона, она все же была бы недовольна.

Таким образом два обстоятельства указывали на Париж: Джим собирался жениться и, следовательно, менее нуждался в моем обществе; я не понравился его невесте, и, следовательно, мне, пожалуй, лучше было удалиться. Однажды вечером я поделился этими мыслями с моим другом. Это был великий день для меня: я только что положил в банк мои пять тысяч катомоунтских долларов; и, так как Джим наотрез отказался от акций, то риск и прибыль были мои и я отпраздновал это событие портером и бисквитами. Я начал с заявления, что если мой проект внесет какое-либо затруднение или беспорядок в его дела, то ему стоит только сказать слово, и он больше не услышит о нем. Он лучший и вернейший друг, какой когда-либо был или будет у меня; и странно было бы, если бы я отказывал ему в услуге, которая ему необходима. В то же время я желал бы, чтобы она была действительно необходима, так как я недоволен своей жизнью. Я как будто не у себя дома: все мои истинные интересы влекут меня в другое место. Я должен напомнить ему, кроме того, что он собирается жениться, что у него будут новые интересы, и что слишком тесная дружба между нами может даже оказаться неприятной для его жены.

– О, нет, Лоудон; я чувствую, что вы ошибаетесь, – перебил он горячо, – она ценит ваши достоинства.

– Тем лучше, если это так, – заметил я и продолжал доказывать, что наша разлука не будет продолжительной; что, судя по ходу дел, он может рассчитывать через два года присоединиться ко мне с состоянием, правда, незначительным для Соединенных Штатов, но крупным на французский масштаб; что мы можем соединить наши средства и купить дом в Париже для зимнего сезона и дачу в Фонтенбло для летнего и счастливо воспитывать маленьких Пинкертонов, как практических артистов, вне атмосферы денежной наживы Запада.



– Позвольте же мне уйти, – заключил я, – не как дезертиру, а как передовому Пинкертоновского отряда.

Так я рассуждал и доказывал, не без волнения, а друг мой сидел против меня, подперев подбородок рукой и храня молчание (кроме приведенного выше случайного замечания).

– Я думал об этом, Лоудон, – сказал он, когда я закончил. – Мне это тяжело, не стану отрицать, – я такой жалкий себялюбец! Я думаю также, что это смертельный удар для пикников; нельзя же отрицать, что вы были их сердцем и душой, с вашим жезлом и вашими галантными манерами, с вашим остроумием, юмором, любезностью и умением распространять вокруг себя как бы атмосферу общественного оживления. Но при всем том вы правы и должны ехать. Вы можете рассчитывать на сорок долларов в неделю; а если Динью-Сити, один из естественных центров этого штата, хоть сколько-нибудь оправдает мои ожидания, эта сумма, пожалуй, удвоится. Но сорок долларов – это во всяком случае; а ведь два года тому назад вы чуть было не дошли до нищеты.

– Я *дошел* до нее, – заметил я.

– Да, эти скоты не дали вам ничего, и теперь я рад этому! – воскликнул Джим. – Вы возвращаетесь с торжеством, и я его участник! Подумайте об учителе и о бездушном Мейнере! Да, пусть только афера с Диньюити удастся, и вы можете отправляться; а через два года – день в день, я встречу с вами в Париже, С Мэми под ручку, да благословит ее Бог!

Мы болтали на эту тему глубоко за полночь. Я так радовался моей вновь обретенной свободе, а Пинкертон так гордился моим триумфом, так был счастлив моим счастьем, так восхищался своей женой, а комната так переполнилась воздушными замками и коттеджами в Фонтенбло, что нет ничего удивительного, если сон бежал от наших глаз, и на конторских часах пробило три, прежде чем Пинкертон развернул механизм своего патентованного дивана.

## Глава VIII

### Видные лица города

Обычно смотрят на жизнь так, как будто бы она точно делится на две половины (подобные сну и бдению) – область развлечения и область дела, совершенно обособленные друг от друга. Деловая сторона моей карьеры в Сан-Франциско была теперь устроена; я приближаюсь к главе о развлечениях; и окажется, что то, и другое играет приблизительно равную роль в истории Крушителя – джентльмена, появление которого теперь можно ожидать.

При всех моих занятиях шесть послеполуденных отдыхов и два или три случайных вечера оставались в моем распоряжении каждую неделю: обстоятельство, особенно приятное для иностранца в необыкновенно живописном городе. Из «Парижского Любителя», как я называл себя когда-то, я превратился (или опустился) в берегового бродягу, в зеваку на пристанях, в посетителя глухих закоулков, в искателя знакомств с эксцентричными людьми. Я посещал китайские и мексиканские игорные притоны, германские тайные общества, гостиницы для моряков и самые сомнительные и опасные вертепы. Я видел грязные мексиканские руки, пригвожденные к столу ножом за плутовство, матросов (когда цена крови поднималась высоко), сбитых с ног на модной улице и уносимых без чувств на судно, где не хватало рук, обмен выстрелами, после которого дым (и компания) вылетали из дверей салонов. Я слышал хладнокровных поляков, рассуждавших о наилучшем способе сжечь дотла Сан-Франциско; разгоряченных мастеровых и мастериц, галдевших на трибуне в Сандлоте; и самого Кэрни, объявлявшего подписку на сооружение виселицы, называвшего фабрикантов, которые украсят ее своими качающимися телами, и читавшего вслух восхищенной толпе телеграмму о присоединении какого-то члена магистратуры штата; причем все эти приготовления к пролетарской войне разом сходили на нет и улетучивались при одном имени мистера Колемана. Стоило только этому льву Виджилянтов<sup>21</sup> подняться и потрянуть гривой, чтобы галдящая чернь умолкла. Я не мог не дивиться на этого странного человека, по-видимому, частное лицо, купца, ничем не выделявшегося по образу жизни и тем не менее внушавшего страх всему городу; и если в качестве наблюдателя я бывал разочарован тем, что дело кончалось без выстрела и без повешения хоть одного миллионера, то философия все же говорила мне, что зрелище оказывается тем живописнее. В тысяче городов и в различные эпохи я мог бы наблюдать трусость и жестокость уличной драки; но где и когда еще мне удалось бы любоваться фигурой Колемана (временного деспота), задумчиво взбирающегося на холм в спокойной части города медлительной походкой, слегка похлопывая себя по бедрам!

*Minora canamus.* Эта историческая фигура безмолвно выступает в моих воспоминаниях о Сан-Франциско. Остальное – хлам, воспоминания праздношатающегося рисовальщика. Моим главным развлечением были бедные кварталы. «Маленькая Италия» особенно манила меня. Здесь я заглядывал в маленькие харчевни, перенесенные целиком из Генуи и Неаполя с их макаронами, бутылками кианти, портретами Гарибальди и раскрашенными политическими карикатурами, или (войдя внутрь) слушал громогласные рассуждения какого-нибудь матроса с серьгами в ушах о планах Австрии и России. Меня часто можно было видеть (если бы кому-нибудь вздумалось наблюдать за мной) в малолюдной, пустынной, раскинувшейся по склону холма «Маленькой Мексике», с ее грязными деревянными домами, бесконечными грязными деревянными лестницами и опасными тропинками по песчаным обрывам. Китайский квартал, с его тысячами эксцентричностей, неудержимо привлекал меня; я никогда не мог надышаться двусмысленной междурасовой атмосферой этого живого музея; надивиться на невиданные, диковинные овощи, выставленные на продажу в обыкновенных американских лавочках, на открытые двери храмов, в которых курилась смола, на змеев восточного образца, запутывавшиеся в западных телеграфных проволоках, на стаи бумажек с напечатанными на них молитвами, раз носимые пассатным ветром

---

<sup>21</sup> Vigilants – частные комитеты хранителей порядка, пользующиеся западных штатах Америки нередко гораздо большим значением, чем администрация (прим. перев.).

по канавкам западных улиц. Я часто навещал Норс-Бич, глаза на проливы и высокий Кап-Горнерс, сползающий к морю, и неизбежный Тамалпайс. Затем, возвращаясь домой, я заходил иногда в странный грязный сарай с земляным полом, уставленный вдоль стен клетками с дикими животными и птицами, где за ветхим прилавком среди визга обезьян, в удушливой атмосфере зверинца, разливал виски владелец, такой же грязный, как его животные. Не пренебрегал я и Ноб-Гиллем, который сам по себе представляет род закоулка, населенного исключительно миллионерами. Они живут на вершине холма, высоко над людской суматохой, и пассатный ветер дует меж их дворцами по пустынным улицам.

Но Сан-Франциско не исчерпывается самим собой. Это не только самый интересный город штатов и самая грандиозная плавильня рас и драгоценных металлов. Ой стоит, кроме того, у дверей в Тихий океан и представляет собой вход в другой мир и в более раннюю эпоху истории человечества. Нигде вы не увидите (употребляя старинную фразу) столько огромных судов, сколько их сходитесь здесь из-за мыса Горн, из Китая, из Сиднея и из Индии. Но в толпе этих океанических гигантов шныряют, почти незамечаемые, другого рода суда, островные шхуны – низко сидящие в воде, с высокими мачтами и изящными очертаниями, оснащенные и отделанные на манер яхты, с большими, характерной формы, шлюпками, с командой из смуглых, с мягкой речью и мягкими глазами, туземных матросов, говорящих о бурных морских приборах. Они уходят и приходят, не отмечаемые даже в газетах, – разве для пополнения столбца проскользнет коротенькая заметка: «Шхуна такая-то отплывает в Ян и на Острова»; выходят с неопишным грузом лососины в консервах, джина, пестрых бумажных материй, женских шляпок и часов Уотербери, а год спустя возвращаются, нагруженные до краев копррой или черепашьими щитами и перламутровыми раковинами. Для меня, в качестве парижского любителя, эта островная торговля и даже островной мир были за пределами любопытства и тем более знания. Я стоял здесь на крайнем рубеже Запада и настоящего времени. Семнадцать веков тому назад и за семь тысяч миль к востоку от меня какой-нибудь легионер стоял, быть может, на валу Антонина и смотрел на север, на горы пиктов. Несмотря на громадное расстояние во времени и в пространстве, я, глядя с утеса на безбрежный Тихий океан, являлся родичем и наследником этого легионера: каждый из нас стоял на рубеже Римской Империи (или, как мы выражаемся ныне, западной цивилизации), каждый смотрел на области, еще не романизированные. Но меня одолевало уныние. Я чаще оглядывался назад, устремляя нежные взоры на Париж; и потребовался целый ряд действовавших в одном направлении случаев, чтобы мое равнодушие уступило место интересу, даже влечению, какого я никогда в жизни не ожидал испытать.

Первый из этих случаев познакомил меня с одним обитателем Сан-Франциско, имя которого известно за пределами этого города и знакомо многим любителям хорошего английского языка. Я открыл новый закоулочек, местечко с песчаными буграми, глубокими выемками, одинокими старыми домами и пустырями, заканчивающимися улицы. Оно было уже внесено в черту города. Ряды уличных фонарей уже пересекали его. Город теснил его со всех сторон своим многолюдством и шумной торговлей. Я не сомневаюсь, что теперь все деревенские признаки в нем исчезли, но в то время там царила, восхитительная тишина и (по утрам, когда я главным образом заходил туда) почти деревенское уединение, по крутому склону песчаного холма в этом закоулке громоздился на самом ненадежном основании ряд домов, каждый с маленьким садиком, и все (я предполагаю) необитаемые. Сюда-то я и взбирался по осыпающейся тропинке, садился перед последним домом и рисовал.

Впервые же день я заметил, что за мной наблюдает из окна нижнего этажа какой-то еще не старый, добродушно вида малый, преждевременно облысевый, с живым приветливым выражением на лице. Во второй раз, так как кроме нас двоих никого не было по соседству, мы, весьма естественно, кивнули друг другу. На третий раз он торжественно вышел из своей цитадели, похвалил мой рисунок и с импровизированной сердечностью артиста утащил меня в свои апартаменты, где я очутился в музее странных предметов: весел, боевых палиц, корзин, грубо отесанных каменных изображений, украшений из раковин, чаш из кокосовых орехов, султанов из кокосовых листьев, – предметов, говоривших о другой земле, другом климате, другой расе и друго (более грубой) культуре. Они оказались также подходящим комментарием к беседе моего нового знакомого. Без сомнения, вы читали его книгу. Вы уже знаете, как он странствовал и голодал, и пользовался редким преимуществом жить на островах; и можете себе представить, с

каким увлечением он рассказывал, и с каким удовольствием я слушал, встретившись с ним, таким же артистом, как я, после целых месяцев конторских занятий и пикников. В этих разговорах, к которым мы оба охотно возвращались, я впервые услышал названия и впервые поддался очарованию островов, а после первого же из них вернулся домой счастливец с «Ому» в одной руке и приключениями моего друга в другой.

Второй случай был более драматичен и, кроме того оказал влияние на мое будущее. Я стоял однажды на пристани под Телеграфным Холмом. Довольно большое судно, водоизмещением примерно в тысячу восемьсот тонн, подошло необычайно близко к тому месту, где я находился; я невнимательно следил за ним, когда заметил двух человек, которые внезапно спрыгнули шлюпку и, отняв у матроса весла, направились к пристани. В поразительно короткое время они достигли ее, взбежали по лестнице, и я заметил, что оба слишком хорошо одеты для простых матросов – один даже щегольски; по-видимому, оба, особенно первый, были в сильнейшем волнении.

– Где ближайшее полицейское управление? – крикнул первый.

– Вон там, – ответил я, невольно ускоряя шаги вместе с ними. – Что случилось? Что это за судно?

– Это «Собиратель Колосьев», – отвечал он. – Я штурман, этот джентльмен подштурман; мы хотим дать показания раньше команды. Извольте видеть, они могут запутать нас вместе с капитаном, а это мне вовсе не улыбается. Я пережил немало передряг на своем веку, видал здоровые потасовки, – но куда же им до нашего старика. Тут побоище не прекращалось от Гука до Форальонеса, и последний человек укукошен не более шестнадцати часов тому назад. Неробкая подобралась команда; однако всякий раз пасовала, когда капитан принимался палить.

– Ну, теперь ему крышка, – заметил другой. – Больше уже не выйдет в море.

– Не мелите вздора! – возразил штурман. – Если выберется на берег целым и не будет линчеван в первые десять минут, то отлично устроится. У владельцев память длиннее, чем у публики, они заступятся за него; такого молодца капитана не каждый день найдешь.

– О, капитан лихой, что и говорить, – сочувственно подхватил другой. – Я думаю, жалованье на «Собирателе» не платилось уже за три плавания?

– Не платилось жалованья! – воскликнул я, так как еще не был знаком с морскими делами.

– Ни единому матросу, – подтвердил штурман. – С людьми разделялись жестоко; не ловкая ли штука! Да ведь это не первый корабль, который не платит жалованья!

Я не мог не заметить, что наши шаги постепенно замедляются, и впоследствии часто спрашивал себя, не для вида ли разыгрывалась комедия торопливости. Во всяком случае, когда мы явились в полицию и моряки сделали свое показание и рассказали ужасную историю о пяти матросах, убитых – частью в припадке бешенства, частью с холодным зверством – между Сэнди-Гуком и Сан-Франциско, полиция была послана как раз вовремя, чтобы опоздать. Раньше чем мы пришли, негодяй улизнул на берег, смешался с толпой и нашел убежище в доме одного знакомого; на судне же остались олько его последние жертвы. Счастье его, что он поторопился, потому что когда слухи распространились среди береговых жителей, когда последняя жертва была внесена в госпиталь, когда уцелевшие (чудом) разошлись с этой плавучей бойни и стали показывать свои раны толпе, странно было видеть, какое волнение охватило эту часть города. Люди публично плакали; кабатчики, привыкшие к грубому обращению, особенно с матросами, потрясали кулаками. Попадись капитан «Собирателя Колосьев» в такую минуту, расправа с ним была бы короткая. В ту же ночь (так гласили слухи) его, запрятанного в бочку, контрабандой вывезли из порта. На двух судах уже он рисковал тюрьмой и виселицей; и тем не менее, по последним сведениям, командует ныне третьим в западной части Великого океана.

Как я уже сказал, я никогда не мог удостовериться, намеренно ли мистер Нэрс (штурман) дал возможность улизнуть своему командиру. Это было бы под стать его предпочтению лояльности закону. Но этому суждено остаться в области догадок. Хотя я хорошо познакомился с ним впоследствии, но он никогда не отличался экспансивностью насчет этого пункта, ни вообще насчет плавания «Собирателя». Без сомнения, у него были какие-нибудь основания умалчивать об этом. Даже во время нашего хождения в полицейскую контору он несколько раз принимался обсуждать с Джонсоном (подштурманом), следует ли ему выдавать себя и доносить на капитана. Он решил отрицательно, рассуждая, что «вероятно, дело кончится ничем; а если и выйдет какая-нибудь

скверность, то у него немало добрых друзей в Сан-Франциско». И действительно, дело кончилось ничем; хотя, кажется, было близко к тому, чтобы что-нибудь вышло, так как мистер Нэрс немедленно скрылся с горизонта и был упрятан не хуже своего капитана.

Напротив, с Джонсоном я часто встречался. Я никогда не мог узнать, откуда он родом; и хотя он называл себя американцем, но ни его английский язык, ни воспитание не говорили в пользу этого утверждения. По всей вероятности, он был скандинавского происхождения, но долго околичивался на английских и американских кораблях. Возможно, что, подобно многим представителям своего племени, находившимся в подобном же положении, он уже забыл родной язык. В душе, по крайней мере, он совершенно денационализировался; думал только по-английски, если можно так выразиться, и хотя по натуре был добрейший, кротчайший и развеселый малый, но до того привык к жестокостям морской дисциплины, что от его историй (рассказываемых со смехом) у меня иногда мороз продирает по коже. Он был высок ростом, сухощав, с темно-русыми волосами и с равномерно бурым цветом лица – украшения моряков. Когда он сидел, его можно было принять за баронета или офицера; но стоило ему встать, и вы видели морского волка с неуклюжей, косолапой походкой; стоило ему открыть рот, и перед вами был морской волк, куривший трубку и рассуждавший на тарабарском языке. Он много плавал (кроме других мест) между островами, и, обогнув мыс Горн с его снежными шквалами и инеем на парусах, объявил о своем намерении «побывать у канаков». Я думал, что скоро потеряю его из виду, но, согласно неписанному закону моряков, он должен был сначала спустить на берегу свое жалование. «Я задам звону этому городу», – говаривал он гиперболически, так как, без сомнения, ни один моряк не развлекался благодуще, чем он, проводивший почти все дни в маленькой задней гостиной трактира Черного Тома, в отборной компании старых приятелей, тихоокеанских моряков, с коротенькой трубкой в зубах, за стаканом виски.

Трактир Черного Тома с переднего фасада производил впечатление четвероградной харчевни для моряков-канаков: грязь, табак, «негритянская голова», дрянные сигары, еще более дрянной джин, гитары и банджо в состоянии упадка и разрушения. Хозяин, дюжий цветной, был одновременно трактирщиком, городским политиком, лидером шайки «ягнят», или «smasher'ов»<sup>22</sup>, дубинки которых, предполагалось, вгоняли в дрожь партийных вождей и мэра, и (что ничему не мешает) деятельным и надежным вербовщиком матросов. Итак, его передние комнаты были шумны, пользовались дурной славой и даже не могли назваться безопасными. Я видел и худшие харчевни, где, однако, скандалы случались реже, потому что Том частенько и сам напивался: не подлежит сомнению, что «ягнята» оказывались полезным прикрытием, так как иначе заведение было бы закрыто.

Однажды, незадолго до выборов, я видел в харчевне слепого, очень хорошо одетого, которого подвели к конторке, где он вступил в продолжительную беседу с негром. Эта парочка выглядела такой несуразной, а почтение, с которым пьяницы отходили от них, чтоб не помешать импровизированной беседе, было так необычайно в этом месте, что я обратился с вопросом к ближайшему соседу. Он сказал мне, что слепой – известный партийный вождь, называемый иными королем Сан-Франциско, но, может быть, более известный под живописным китайским прозвищем Слепого Белого Дьявола. «Ребята, как я вижу, скоро понадобятся», – прибавил мой сосед. У меня здесь рисунок, изображающий Слепого Белого Дьявола, прислонившегося к конторке; а на следующей странице набросанная почти тотчас фигура Черного Тома, грозящего толпе посетителей огромным «Смитом и Вессоном» – вот до каких высот и низов поднимаются и падают в передних комнатах трактиров.

Тем временем в задней комнате заседал маленький Тихоокеанский клуб, толковавший о другом мире, и, конечно, о другом веке. Тут были старые капитаны шхун, старые тихоокеанские торговцы, коки и штурмана; хорошие ребята, изменившиеся под влиянием других рас; и вдобавок тертые калачи, богатые если не книжными знаниями, то опытом; так что я по целым дням с неослабевающим вниманием слушал их рассказы. У всех, действительно, была поэтическая жилка, так как тихоокеанский моряк, если это не просто негодяй, – бедный родственник артиста. Даже в нечленораздельной речи Джонсона, в его «О, да, канаки безобидный народ», или «О, да,

---

<sup>22</sup> Smasher – американизм; слово это означает все крупное, выдающееся, грандиозное.

это чертовски красивый остров; какие там горы; не покидать бы мне этого острова», сквозило известное эстетическое чутье; а некоторые из остальной компании рассказывали мастерски. Из их длинных историй, с проскальзывавшими в них чертами нравов и непредумышленной живописностью, в моей голове сама собой начала складываться картина островов и островной жизни; обрывистые берега, островерхие горы, глубокая тень нависших лесов, неугомонный прибор у рифов и бесконечный мир лагуны; солнце, луна и звезды царственного блеска; мужчина, целомудренный и сдержанный среди этой обстановки, и женщина прекраснее Евы; проклятие грехопадения снято, чужестранцу готова постель, жизнь течет под непрерывную музыку, гостя встречают приветом, в долгую ночь услаждаются поэзией и хоровым пением. Нужно оказаться артистом-неудачником, поголодать на парижских улицах, связаться с коммерческой силой вроде Пинкертон, чтобы понять, какое томление по временам крепко овладевало мною. Пьяный, буйный город Сан-Франциско, шумная контора, где мой друг Джим расхаживал, как лев в клетке, ежедневно от десяти до четырех, даже (по временам) воспоминание о Париже меркли перед этими картинами. Многие, при меньшем соблазне, бросили бы все, чтобы осуществить свои видения, но я был по натуре непредприимчив и лишен инициативы. Чтобы отвратить меня от прежних путей и направить к этим райским островам, требовалась какая-нибудь внешняя сила; сама судьба должна была вмешаться в дело, и хотя я не подозревал этого, ее железная рука уже готовилась дать мне толчок.

Однажды после полудня, я сидел в уголке большого, с зеркальными стеклами, разукрашенного серебром, салона; с одного бока у меня помещалась выпивка и закуска, с другого находилась «добросовестная нагота» кисти какого-то местного таланта, как вдруг послышался топот ног и гул голосов, двери широко распахнулись, и в салон точно ворвалась буря. В вошедшей таким образом толпе (состоявшей главным образом из моряков, необычайно возбужденных) имелось как бы ядро, или центральная группа, привлекавшая общий интерес, остальные окружали и сопровождали ее, как в Старом Свете ребятишки окружают и провожают Петрушку; в салоне мгновенно разлетелась весть, что это капитан Трент и оставшиеся в живых матросы английского брига «Летучее Облачко», подобранные английским военным кораблем у Мидуэй-Айленда, прибывшие сегодня утром в Сан-Франциско и только что сделавшие необходимые заявления. Теперь я мог хорошо рассмотреть их: четверо загорелых молодцев, стоявших у прилавка, со стаканами в руках, среди дюжины любопытных. Один был канака – повар, как мне сообщали; другой держал клетку с канарейкой, которая по временам пускала нежную трель; третий носил левую руку на перевязи и выглядел джентльменом, несколько болезненным, как будто еще не совсем оправился от тяжелой раны; у самого капитана – краснолицего, голубоглазого, плотного человека лет сорока пяти – правая рука была забинтована. Этот случай заинтересовал меня; заинтересовало в особенности зрелище капитана, кока и простых матросов, разгуливающих вместе по улицам и посещающих салоны; и как всегда, когда что-нибудь занимает меня, я достал свой альбом и принялся набрасывать группу. Толпа, сочувствуя моему намерению, раздвинулась, и я, оставаясь сам незамеченным, мог хорошо всмотреться в лицо и манеры капитана Трента.

Разгоряченный виски и поощряемый вниманием окружающих, этот джентльмен повторял теперь рассказ о своем несчастье. До меня долетали только обрывки: как он «положил ее на правый галс», и как «налетел внезапно норд-норд-вест», и «тут-то она и очутилась на суше». Иногда он обращался к кому-нибудь из матросов: «Так это было, Джек?», а тот отвечал: «Вроде того, капитан Трент». В заключение он вызвал новый прилив народной симпатии, заявив: «Черт бы побрал карты Адмиралтейства, вот что я скажу!» Кивки и одобрителный говор, которыми была встречена эта сентенция, дали мне понять, что капитан Трент является в мнении публики джентльменом и образцовым мореплавателем; и так как к этому времени мой рисунок четырех людей и канарейки был готов, и все (особенно канарейка) вышли очень похожими, то я закрыл альбом и улизнул из салона.

Не думал я тогда, что только что пережил акт I, сцену первой драмы моей жизни, а все же сцена, или, вернее, лицо капитана оставалось некоторое время в моей памяти. Я не был пророком, как сейчас заметил, но я был наблюдателем, и я знал одно, что этот человек был испуган.

Капитан британского брига «Летучее Облачко» Трент был речист, был боек, был громогласен, но в его голубых глазах я заметил трепет, а в чертах его лица волнение непрекращавшегося ужаса. Боялся ли он за результаты своего заявления? По моему мнению, более живой страх пробежал по его спине, когда он повернулся выпить. Не был ли он результатом недавнего потрясения? Быть может, капитан еще не вполне оправился от крушения своего брига. Я вспомнил одного из своих друзей, который пережил крушение поезда и целый месяц потом трясся и вздрагивал; и хотя капитан «Летучего Облачка» Трент вовсе не был похож на нервного человека, но я говорил себе с некоторым сомнением, что это подобный же случай.

## Глава IX

### Крушение «Летучего Облачка»

На следующее утро я нашел Пинкертон, который встал раньше меня, за нашим столом. Он был погружен в чтение газеты, которую я назову «Западной Газетой». Этот орган печати (не знаю, существует ли он еще) стоял особняком среди своих собратьев на Западе. Остальные, вплоть до самой крошечной статьи, были обезображены прописными буквами, развязно перевранными цитатами и риторическим пафосом, как у Гарри Миллера; только «Западная Газета» писалась простым, толковым языком людей, желающих единственно сообщить сведения. Кроме этого достоинства, которое делало ее ценной в моих глазах, она была наилучше осведомлена в деловых вопросах, что привлекало Пинкертон.

– Лоудон, – сказал он, отрываясь от газеты, – вам иногда кажется, что я хватаю через край. Мое же мнение: если видишь – доллар валяется, хватай его! Ну, вот, я наткнулся на целую кучу их на одном из рифов Тихого океана.

– Джим, несчастный! – воскликнул я. – Разве у нас нет Динью-Сити, предназначенного быть одним из центров этого штата? Разве у нас нет...

– Вот послушайте-ка это, – перебил Джим. – Статья жалкая; у репортеров «Западной Газеты» совсем нет огня; но факты, кажется, изложены верно.

Он начал читать:

#### **КРУШЕНИЕ БРИТАНСКОГО БРИГА «ЛЕТУЧЕЕ ОБЛАЧКО»**

*С. Е. В. В.<sup>23</sup> [23] корабль «Буря», прибывший вчера в здешний порт, доставил капитана Трента и четырех человек из экипажа британского брига «Летучее Облачко» потерпевшего 12 февраля крушение у Мидуэй-Айленда, спасенных, по воле Провидения, на следующий день. «Летучее Облачко», водоизмещением 200 тонн, из Лондона, находилось в плавании около двух лет. Капитан Трент отплыл из Гонконга 8 декабря с грузом риса и небольшим запасом шелковых материй, чая и мелкого китайского товара, общей стоимостью на 10 000 долларов, застрахованными в полной сумме. Корабельный журнал указывает частую хорошую погоду, легкий ветер, затишья и шквалы. На 28° северной широты 177° западной долготы в виду испортившейся воды и введенный в заблуждение «Указателем Северной Части Тихого Океана» Гойта, в котором указывается угольная станция на Мидуэй-Айленде, капитан Трент направился к этому острову. Он убедился, что это настоящая песчаная мель, окруженная коралловым рифом, большей частью затопленным. Здесь было множество птиц, хорошая рыба в лагуне, но топлива не нашлось; а вода, которую удалось добыть посредством рытья, оказалась солоноватой. Он нашел хорошую стоянку у северного конца большой мели, на глубине пятнадцати фатомов; дно песчаное с обломками кораллов. Здесь ему пришлось простоять семь дней из-за шторма; команда жестоко страдала, так как вода совершенно испортилась; и только вечером двенадцатого поднялся легкий ветер с С.-С.-З. Хотя было уже поздно, но капитан Трент немедленно снялся с якоря и попытался отплыть. Судно направлялось к проходу, когда ветер внезапно упал, а затем, усилившись до шквала, повернул к С. и даже к С.-С.-З. и бросил бриг на песок приблизительно в сорок минут шестого. Джон Уоллен, уроженец Финляндии, и Чарльз Гольддорсен, уроженец Швеции, утонули у самого борта, пытаясь спустить шлюпку, ввиду сильного шквала и бурного прибоя. В то же время другой матрос, Джон Броун, сломал себе руку при падении. Далее капитан Трент сообщил*

---

<sup>23</sup> Службы Его Британского Величества



репортеру «Западной Газеты», что бриг тяжело ударился носом, как он предполагает, о коралловый утес, затем перескочил через препятствие и теперь лежит в песке, зарывшись носом и накренившись на правый борт. При первом толчке он, должно быть, получил повреждение, так как хватил воды в передней части. Рис, вероятно, весь испортился, но более ценная часть груза, к счастью, помещается в кормовой части. Капитан Трент готовился отплыть на баркасе, когда прибытие «Бури», осматривавшей острова по предписанию Адмиралтейства, в поисках потерпевших кораблекрушение, избавило храброго капитана от всякой дальнейшей опасности. Вряд ли нужно прибавлять, что капитан и матросы злополучного судна отзываются в самых восторженных выражениях об участии, которое они нашли на борту военного корабля. Даем список оставшихся в живых; Джэкоб Трент, капитан, из Гулля в Англии, Элайас Годдедааль, штурман, уроженец Христианзада в Швеции; Аг Винг, кок, уроженец Сана в Китае; Джон Броун, уроженец Глазго, в Шотландии; Джон Гэрди, уроженец Лондона в Англии. «Летучее облачко» построено десять лет тому назад и сегодня утром будет продано в том состоянии, в каком находится, по распоряжению агента Ллойда, с публичного аукциона, в пользу страховщиков. Аукцион состоится на Купеческой Бирже в десять часов.

**Дополнительная справка.** – Под вечер репортер «Западной Газеты» посетил лейтенанта Сибрайта, старшего офицера С. Е. В. «Бури», в Палэс-Отель. Доблестный офицер несколько торопился, но прибавил, что «Летучее Облачко» в надежном положении, и если только не случится, что в высшей степени невероятно, сильной северо-западной бури, может дотянуть до ближайшей зимы.

– Вы ничего не понимаете в литературе, – сказал я, когда Джим кончил. – Это хорошая, честная, простая статья и излагает историю толково. Я нахожу только одну ошибку: кок не китаец, он канака и, как мне кажется, гаваец.

– Почему вы знаете? – спросил Джим.

– Я видел всю компанию вчера в салоне, – отвечал я. – Я даже слышал рассказ, или мог бы его слышать, от самого капитана Трента, который поразил меня своей нервностью и жаждой.

– Ну, да не в том дело, – воскликнул Пинкертон, – дело в долларах, которые остались на рифе.

– Окупятся ли хлопоты? – спросил я.

– Еще бы не окупится! Ведь вы слышали, что сказал офицер о безопасном положении брига? Слышали, что груз оценен в десять тысяч? Шхуны теперь стоят без работы; я могу нанять любую на выбор за двести пятьдесят в месяц, а сколько это дает барыша? Триста процентов могу получить.

– Вы забываете, – возразил я, – что, по словам самого капитана, рис испорчен.

– Это загвоздка, я знаю, – согласился Джим. – Но рис неважный товар; он немногим больше стоит, чем балласт; я мечтаю на чай и шелк: надо только узнать пропорцию, а для того достаточно заглянуть в опись. Я звонил по этому поводу к Ллойд; капитан встретится со мной там через час, а затем мне будет все известно о бригае, как будто я сам его строил. Кроме того, вы не имеете понятия, сколько всякого добра можно набрать на судне – медь, свинец, снасти, якоря, цепи, даже посуда, Лоудон!

– Мне кажется, вы забыли один пустяк, – сказал я. – Прежде чем подобрать это судно, вам нужно купить его, а сколько оно будет стоить?

– Сто долларов, – отвечал Джим с быстротой автомата.

– Почему вы так думаете? – воскликнул я.

– Не думаю, а знаю, – отвечал этот коммерсант. – Дорогой мой, я, может быть, олух в литературе, но вы никогда не будете деловым человеком. Как вы думаете, почему я купил «Джемса Л. Мауди» за двести пятьдесят, хотя одни шлюпки его стоило вчетверо больше? Потому что мое имя стояло первым в списке. Ну, вот оно и теперь стоит первым; я назначаю цифру, и назначаю маленькую ввиду расстояния, но не в том дело, сколько я назначил; это и будет цена.

– Мудрено что-то, – заметил я. – Этот публичный аукцион происходит не в подземелье? Может простой смертный – я, например, – зайти и посмотреть?

– О, сколько угодно, доступ открыт всем и каждому! – воскликнул он с негодованием. – Всякий может прийти, только никто не станет надбавлять против нас; а если попробует, то останется с носом. Это было уже пробовано, и одного раза оказалось достаточным. Дело в наших руках; у нас есть связи; мы можем надбавлять больше, чем всякий посторонний; тут замешаны два миллиона долларов; и мы не остановимся ни перед чем. А предположите, что кто-нибудь перебил у нас, – говорю вам, Лоудон, ему покажется, что город взбесился; он не сможет устроить дела, как я не могу танцевать, – шхуны, водолазы, матросы – все что, ему требуется, – неимоверно поднимется в цене и доконает его.

– Но как же вы это устроили? – спросил я. – Ведь и вы, я полагаю, были когда-то посторонним, как ваши соседи?

– Я занялся этим делом, Лоудон, и изучил его досконально, – ответил он. – Оно заинтересовало меня; оно так романтично, и я убедился, что в нем может быть прок; и разобрал его так, что никто бы не мог потягаться со мной. Никто не знал, что я занимаюсь разбившимися судами, пока в одно прекрасное утро я не явился к Дугласу Б. Лонггерсту в его логовище, сообщил ему все факты и цифры, и спросил напрямик: «Хотите принять меня в союз? Или я должен искать кого-нибудь другого?» Он потребовал полчаса на размышление, когда же я вернулся, сказал: «Пинк, я внес ваше имя». Первый раз я орудовал в истории с «Мауди»; теперь пойдет «Летучее Облачко».

Тут Пинкертона, взглянув на часы, ахнул, наскоро условился со мной встретиться у подъезда биржи и полетел рассматривать опись и интервьюировать шкипера. Я докурил папироску с безмятежностью человека, закончившего много пикников, раздумывая, что из всех форм погони за долларами эти поиски разбившегося судна наиболее улыбаются моему воображению. Даже когда я шел в шумной суете и толчее знакомых улиц Сан-Франциско, меня преследовало видение разбитого брига, жарящегося далеко под палящим солнцем, среди тучи морских птиц; и даже тогда, без всякого на то основания, мое сердце склонялось к этому приключению. Если не я сам, то нечто мое, или по крайней мере кто-то, послушный мне, должен был ехать к этому окруженному океаном островку и спуститься в покинутую каюту.

Пинкертона встретил меня в назначенное время с поджатыми губами и более, чем обыкновенно, важной осанкой, как человек, принявший великое решение.

– Ну? – спросил я.

– Ну, – ответил он, – могло бы быть лучше, могло бы быть и хуже. Этот капитан Трент замечательно честный малый – один из тысячи. Узнав, что я заинтересован в деле, он тотчас подробно рассказал мне о рисе. По его расчету, уцелело разве мешков тридцать – не больше. Зато опись других товаров оказалась веселее: на пять тысяч долларов шелков, чаев, орехового масла, и все это в сохранности и в такой же безопасности, как если бы лежало на Кэрни-Стрит. Бриг был заново обшит медью два года тому назад. Цепь в полтора фатомов. Это не золотой рудник, но дело выгодное, и мы попытаем счастья.

Между тем время подошло к десяти часам, и мы вошли в аукционный зал. «Летучее Облачко», хотя и важное для нас, по-видимому, лишь в очень скромных размерах привлекало всеобщее внимание. С дюжину зевак окружали аукциониста – почти все рослые ребята, настоящего западного пошиба, длинноногие, широкоплечие и одетые (на взгляд простого человека) с ненужным щегольством. Они держали себя с шумной фамильярностью. Бились об заклад, сыпали прозвищами. «Ребята» (как они величали себя) слишком веселились, и ясно было, что они пришли сюда для забавы, а не для дела. За ними я заметил фигуру моего друга капитана Трента, явившегося, как мне, естественно пришло, в голову узнать об участии своего старого судна, и представлявшего резкий контраст с этими джентльменами. Со вчерашнего дня он успел нарядиться в новенькую черную пару, не совсем хорошо сидевшую; из верхнего левого кармана торчал уголок шелкового платка, из нижнего на другом боку высывались бумаги. Пинкертона только что приписал ему высокие качества. Конечно, он казался очень откровенным, и я снова всматривался в него, стараясь подметить, если возможно, эту добродетель на его лице. Оно было, красно, и широко, и взволновано, и, как мне казалось, фальшиво. Казалось, этот человек томился какой-то неведомой тревогой; не замечая, что за ним наблюдают, он грыз себе ногти, хмурился или бросал быстрые, пытливые и испуганные взгляды на проходящих. Я все еще смотрел на него, точно очарованный, когда начался аукцион.

Кое-какие формальности были исполнены при непрерывном непочтительном дурачестве ребят; а затем при чуть-чуть большем внимании аукционист распевал песню сирены:

– Прекрасный бриг, ценные принадлежности, новая медь, замечательный, отборный груз; аукционист может назвать его безусловно надежным обеспечением; да, джентльмены, он пойдет дальше, он определит цифру; он не колеблется (все тот же самый аукционист) определить цифру; покупатель может рассчитывать, продав то и се, и пятое и десятое, выручить сумму, равную полной оценке стоимости груза; иными словами, джентльмены, сумму в десять тысяч долларов.

В ответ на это скромное заявление с потолка, как раз над головой аукциониста (полагаю, не без участия какого-нибудь зрителя с чревовещательными способностями) раздалось ясное «кукареку», встреченное общим хохотом, к которому любезно присоединился сам аукционист.

– Итак, джентльмены, что вы скажете? – продолжал этот джентльмен, поглядывая на Пинкертона. – Что вы скажете по поводу этого замечательного благоприятного случая?

– Сто долларов, – сказал Пинкертон.

– Мистер Пинкертон дает сто долларов, – объявил аукционист, – сто долларов. Не надбавит ли кто-нибудь из джентльменов? Сто долларов, только сто долларов...

Аукционист тянул свою песню, а я с каким-то смешанным чувством симпатии и удивления следил за нескрываемым волнением капитана Трента, как вдруг мы все были поражены заявлением надбавки.

– И пятьдесят, – раздался резкий голос. Пинкертон, аукционист и ребята, которые все участвовали в деле, разом встрепенулись.

– Прошу прощения, – сказал аукционист, – кто-нибудь набавляет?

– И пятьдесят, – повторил голос, принадлежавший, как я мог теперь убедиться, какому-то маленькому, невзрачному человечку. Кожа его была серая, в прыщах; голос надорванный, переходивший из тона в тон; жесты, казалось, не совсем повиновались его воле, как при болезни, называемой пляской святого Витта; он был плохо одет и держал себя с какой-то трусливой надменностью, как будто гордился тем, что находится в таком месте и делает такое дело, а в то же время ждал, что вот-вот его вытолкают. Мне кажется, я никогда не видал такой характерной фигуры, и тип был новый для меня, я никогда раньше не замечал подобных, и невольно вспомнил Бальзака и низшие типы его *Comédie Humaine*.

Пинкертон с минуту смотрел на незнакомца не совсем дружелюбными глазами, затем вырвал листок из записной книжки, набросал несколько слов карандашом, повернулся, позвал посыльного и шепнул ему «Лонггерсту». Посыльный исчез, а Пинкертон снова повернулся к аукционисту.

– Двести долларов, – сказал Джим.

– И пятьдесят, – отозвался враг.

– Это похоже на что-то серьезное, – шепнул я Пинкертону.

– Да, каналья хочет нам испортить коммерцию, – отвечал мой друг. – Ну, он получит урок. Подождите, пока придет Лонггерст. Триста долларов, – прибавил он громко.

– И пятьдесят, – откликнулось эхо.

В эту минуту мой взгляд снова упал на капитана Трента. Глубокая тень лежала на его лице; новый сюртук был расстегнут и распахнут; он мял в руках шелковый платок, и глаза его, светло-голубые глаза моряка, блестели от возбуждения. Он все еще волновался, но в его волнении, если я правильно объяснил выражение его лица, проскальзывала теперь надежда.

– Джим, – шепнул я. – Взгляните на Трента. Держу пари на что угодно, что он ожидал этого.

– Да, – был ответ. – Тут затеяна какая-то скверная штука.

И он снова надбавил.

Цифра приближалась к тысяче, когда я заметил по лицам находившихся против меня, что случилось что-то сенсационное, и, оглянувшись через плечо, увидел высокого, приличного, элегантного господина, который сделал знак аукционисту.

– Одно слово, мистер Борден, – сказал он, а затем обратился к Джиму. – Ну, Пинк, на какой мы цифре?

Пинкертон назвал цифру. «Я надбавлял до нее на свою ответственность, мистер Лонггерст, – прибавил он, краснея. – Дело, мне кажется, верное».

– Правильно, – сказал мистер Лонггерст, ласково потрепав его по плечу, точно довольный дядюшка. – Можете надбавлять до пяти тысяч, если же он даст больше, то и на здоровье.

– Между прочим, кто он такой? – спросил Пинкертон. – Выглядит он проходимцем.

– Я послал Билли навести справки...

В ту же минуту один из экспансивных молодых джентльменов вручил мистеру Лонггерсту свернутую бумажку. Она перешла от Лонггерста к Пинкертону, затем ко мне, и я прочел:

– Гарри Д. Беллэрс, адвокат; защищал Клару Варден; дважды рисковал быть исключенным из сословия.

– Ну, это пустяки! – заметил мистер Лонггерст. – Кто бы мог нанять подобного ябедника? Никто из денежных людей, во всяком случае. Что если вы сразу наддадите, Пинк? Я бы сделал это. Ба! Да это ваш компаньон, мистер Додд? Счастлив познакомиться с вами, сэр.

С этими словами великий человек удалился.

– Ну, что вы думаете о Дугласе Б.? – шепнул Пинкертон, почтительно глядя вслед уходящему. – Совершенный джентльмен и культурный человек с головы до ног.

В течение этого перерыва аукцион приостановился – аукционист, зрители и даже Беллэрс, все они знали, что Лонггерст принципал, а Джим только рупор. Но теперь, когда Юпитер Олимпийский удалился, мистер Борден счел уместным проявить строгость.

– Ну, ну, мистер Пинкертон, надбавляете, что ли? – крикнул он.

Пинкертон, решив покончить разом, ответил:

– Две тысячи долларов.

Беллэрс сохранил свое хладнокровие. «И пятьдесят», – сказал он. Но среди зрителей произошло движение, и, что было важнее, капитан Трент побледнел и тяжело дышал.

– Надбавляй, Джим, – сказал я. – Трент ослабевает.

– Три тысячи, – сказал Джим.

– И пятьдесят, – надбавил Беллэрс.

Затем наддача вернулась к первоначальному темпу по сто и пятидесяти долларов; но я тем временем успел вывести два заключения. Во-первых, Беллэрс делает свои последние надбавки с улыбкой удовлетворенного тщеславия, и я мог видеть, что эта тварь гордится славой исключительного положения и уверена в успехе. Во-вторых, Трент снова побледнел при надбавке в тысячу долларов, и его радость при ответе «и пятьдесят», – была очевидна и непритворна. Здесь, таким образом, представлялась загадка: по-видимому, оба были одинаково заинтересованы, но не знали о взаимных намерениях. Это было не все. После нескольких надбавок я случайно встретился глазами с капитаном Трентом, и он мгновенно, и, как мне показалось, с виноватым видом, отвел свои в сторону. Стало быть, он желал скрыть свою заинтересованность? Как сказал Джим, происходила какая-то скверная история. Очевидно, эти двое людей, так странно связанных, так странно чуждых друг другу, решили отбить у нас разбившееся судно, хотя бы за чудовищную сумму.

Значит, оно стоило больше, чем мы предполагали? Внезапная мысль загорелась у меня в мозгу; надбавки приближались к назначенному Лонггерстом пределу в пять тысяч; еще минута – и было бы слишком поздно. Вырвав листок из моего альбома и вдохновляемый, полагаю, тщеславием по поводу своей наблюдательности и догадливости, я принял безумное решение.

*«Если вы пойдете выше, – написал я, – я рискую всем, что у меня есть».*

Джим прочел и оглянулся на меня с изумлением; затем его глаза просветлели и, повернувшись к аукционисту, он надбавил:

– Пять тысяч сто долларов.

– И пятьдесят, – монотонно повторил Беллэрс.

Пинкертон написал на листке: *«Что бы это могло быть!»*, а я ответил, тоже на бумаге: *«Не могу себе представить, но что-то есть. Обратите внимание на Беллэрса; он пойдет до десяти тысяч, вот увидите».*

И он действительно пошел, а мы подняли выше. Задолго до этого распространился слух о грандиозной баталии. Нас окружила толпа удивленных зрителей. Когда Пинкертон предложил десять тысяч (крайняя цена груза, если бы даже он был доставлен невредимым в Сан-Франциско), а Беллэрс, осклабясь во весь рот от удовольствия сознавать себя центром общего внимания, бросил свой ответ: «и пятьдесят», удивление превратилось в волнение.

– Десять тысяч сто, – сказал Джим, и, говоря это, сделал внезапный жест рукой; лицо его изменилось, и я понял, что он догадался или воображает, что догадался, о тайне. Когда он снова стал писать в записной книжке, рука его подпрыгивала, как у телеграфиста.

– Китайский корабль, – писал он, и прибавил крупными, неровными буквами с сильным росчерком: «Опиум»!

«Конечно, – подумал я, – в этом, должно быть, и секрет».

Я знал, что вряд ли хоть одно судно уходит из китайского порта, не припрятав где-нибудь под переборкой или в каком-нибудь тайнике, прикрытом брусьями, запас этого ценного зелья. Без сомнения, подобное же сокровище имелось и на «Летучем Облачке». Чего оно стоило? Мы не знали; мы играли втемную. Но Трент и Беллэрс знали, и нам оставалось только следить за ними и делать заключения.

К этому времени ни Пинкертона, ни я не были в нормальном состоянии. Пинкертона был вне себя, глаза его горели, как лампы; я весь трясся. Когда дошло до пятнадцати тысяч, мы, вероятно, представляли на взгляд постороннего более жалкие фигуры, чем сам Беллэрс. Но мы не останавливались, и толпа следила за нами – то в безмолвии, то внезапно начиная перешептываться.

Добрались до семнадцати тысяч, когда Дуглас Б. Лонггерст, протискиваясь сквозь толпу, стоявшую против нас, несколько раз многозначительно покачал головой, глядя на Джима. Джим ответил запиской, состоявшей из двух слов: «Мой риск!», прочитав которую, великий человек предостерегающе помахал пальцем и ушел – как мне показалось, не без сожаления.

Хотя мистер Лонггерст ничего не знал о Беллэрсе, но темный законник, по-видимому, знал все, что нужно, о патроне покупателей разбитых судов. Он, очевидно, ждал его вмешательства в борьбу, и с явным удивлением и разочарованием отнесся к его уходу и продолжению наддач. – «Э, – подумал он, должно быть, – так мне не с кликой придется воевать». И решил продолжать игру.

– Восемнадцать тысяч, – сказал он.

– И пятьдесят, – ответил Джим, перенимая тактику своего противника.

– Двадцать тысяч, – объявил Беллэрс.

– И пятьдесят, – повторил Джим с легкой нервической дрожью.

Затем, точно по молчаливому соглашению, они вернулись к прежнему темпу – только теперь Беллэрс набавлял по сто, а Джим по пятидесяти. Тем временем наша идея получила распространение. Я слышал слово «опиум», передававшееся из уст в уста; и по взглядам публики можно, видеть, что она предполагает, будто у нас имеются частные сведения. Здесь произошел инцидент, весьма типичный для Сан-Франциско. Тотчас за моей спиной стоял уже некоторое время дюжий пожилой мужчина с веселыми глазами, легкой проседью и веселым красноватым лицом. Внезапно он выступил в качестве третьего соискателя, четыре раза надбавил по тысяче долларов и так же внезапно сошел с поля, оставаясь затем, как и раньше, молчаливым заинтересованным зрителем.

Со времени бесполезного вмешательства мистера Лонггерста Беллэрс, по-видимому, был не в своей тарелке, и при этом новом нападении начал в свою очередь писать что-то. Я, естественно, воображал, что записка предназначается капитану Тренту; но когда она была кончена и писавший повернулся и окинул взглядом толпу, он, к моему несказанному удивлению, по-видимому, не заметил присутствия капитана.

– Посыльный! Посыльный! – кликнул он. – Кто-нибудь позовите мне посыльного.

Наконец кто-то позвал, но не капитан.

*Он посылает за инструкциями,* – написал я Пинкертоному.

*За деньгами,* – был ответ. – *Попытаться кончить дело? Я думаю, пора.*

Я кивнул головой.

– Тридцать тысяч, – сказал Пинкертона, перескочив сразу через три тысячи долларов.

Я заметил сомнение в глазах Беллэрса; потом внезапную решимость.

– Тридцать пять тысяч, – сказал он.

– Сорок тысяч, – сказал Пинкертона.

Последовала долгая пауза, в течение которой лицо Беллэрса напоминало книгу; затем, перед последним ударом молотка, он сказал:

– Сорок тысяч и пять долларов.

Пинкертон и я обменялись красноречивыми взглядами. Мы были одного мнения. Беллэрс попробовал кончить дело одним ударом; теперь он заметил свою ошибку и старался протянуть время до тех пор, пока вернется посыльный.

– Сорок пять тысяч долларов, – сказал Пинкертон, голос его звучал глухо и дрожал от волнения.

– Сорок пять тысяч и пять долларов, – сказал Беллэрс.

– Пятьдесят тысяч, – сказал Пинкертон.

– Прошу прощения, мистер Пинкертон. Вы, кажется, надбавили, сэр? – спросил аукционист.

– Я... мне трудно говорить, – прохрипел Джим. – Даю пятьдесят тысяч, мистер Борден.

Беллэрс в ту же минуту вскочил.

– Аукционист, – сказал он, – прошу дать мне три минуты, чтобы поговорить по телефону. Я действую как поверенный лица, которому только что написал...

– Мне до этого нет дела, – грубо возразил аукционист. – Я здесь нахожусь для того, чтобы продать разбившееся судно. Надбавляете вы сверх пятидесяти тысяч?

– Имею честь объяснить вам, сэр, – отвечал Беллэрс, делая жалкую попытку говорить с достоинством, – пятьдесят тысяч – цифра назначенная моим принципалом; но если вы разрешите мне две минуты поговорить по телефону...

– О, вздор! – сказал аукционист. – Если вы не надбавляете, я оставляю судно за мистером Пинкертоном.

– Берегитесь, – крикнул адвокат с внезапной резкостью. – Подумайте о том, что вы делаете. Вы здесь для продажи в пользу страховщиков, позвольте вам доложить, а не для угождения мистеру Дугласу Лонггерсту. Аукцион был уже неправильно прерван, чтобы дать возможность этой особе побеседовать со своими фаворитами.

– Тогда не было протеста, – сказал аукционист, видимо смущенный. – Вы бы тогда и жаловались.

– Я здесь не для того, чтобы вести аукцион, – возразил Беллэрс. – Мне за это не платят.

– А мне платят, – ответил аукционист, к которому вернулось его бесстыдство, и продолжал свою песню:

– Кто надбавляет на пятьдесят тысяч долларов? Никто не надбавляет на пятьдесят тысяч? Никто не надбавляет, джентльмены? Идет за пятьдесят тысяч разбившийся бриг «Летучее Облачко», – идет – идет – пошел!

– Боже мой, Джим, в состоянии ли мы уплатить? – воскликнул я, когда удар молотка точно разбудил меня.

– Надо собрать, – сказал он, белый как простыня. – Дело потребует чертовских хлопот, Лоудон. Кредит найдется, я думаю; но придется обегать всех. Напиши мне чек на твой капитал. Сойдемся в «Западном Отеле» через час.

Я написал чек и утверждаю, что ни за что бы не признал своей подписи. Джим ушел в ту же минуту; Трент исчез еще раньше; только Беллэрс оставался, перебранываясь с аукционистом; когда же я вышел из биржи, на меня налетел человек, оказавшийся посыльным.

Так мы сделались собственниками «Летучего Облачка».

## Глава X

### В которой команда исчезает

У подъезда биржи я очутился рядом с коренастым пожилым джентльменом, который так сильно и на такое короткое время вмешался в битву.

– Поздравляю вас, мистер Додд, – сказал он. – Вы и ваш друг храбро сражались.

– Не могу вас благодарить, сэр, – возразил я, – за то, что вы вздумали надбавлять по тысяче разом, соблазняя всех спекулянтов Сан-Франциско вмешаться в дело.

– О, это было временное безумие, – сказал он, – и я благодарю Всевышнего за то, что остался свободным человеком. Вам сюда, мистер Додд? Я пройду с вами. Такому старому хрену, как я, приятно видеть энергичную молодежь; в свое время я тоже проделывал штуки в этом самом городе, когда он был поменьше, а я помоложе. Да, я знаю вас, мистер Додд, в лицо. Я могу сказать, знаю вас очень хорошо, вас и вашу свиту, ребят в шотландских юбках, э? Простите. Но у меня есть домишко на берегу Сауселито. Я буду рад видеть вас там каждое воскресенье – без ребят в шотландских юбках – и предложить вам бутылку вина и наилучшую в Штатах коллекцию о полярных путешествиях. Моя фамилия Морган – судья Морган – валлиец, сорок девятого года.

– О, если вы пионер, – воскликнул я, – идемте ко мне, я снабжу вас топором.

– Топоры вам самому понадобятся, сдается мне, – возразил он, бросив на меня быстрый взгляд. – Если у вас нет частных сведений, то вам придется превратить судно в обломки прежде, чем вы найдете этот... опиум, не так ли?

– Да, или это опиум, или мы свалили дурака, – ответил я. – Но уверяю вас, у нас нет никаких частных сведений. Мы руководствовались – как и вы, я полагаю – наблюдением.

– Так вы наблюдатель, сэр? – спросил судья.

– Могу сказать, это моя профессия, – по крайней мере, бывшая, – сказал я.

– Что же вы думаете о Беллэрсе?

– Очень мало думаю, – ответил я.

– Могу вам сказать, – продолжал судья, – что для меня употребление такого субъекта в качестве поверенного представляется необъяснимым. Я знаю его; да и он знает меня; он часто слышит обо мне в суде; я уверяю вас, это человек крайне ненадежный; ему нельзя доверить и доллара, а тут он, оказывается, распорядился пятьюдесятью тысячами. Не могу представить себе, кто мог так довериться ему, но уверен, что это человек, незнакомый с Сан-Франциско.

– Кто-нибудь из собственников судна, я полагаю, – сказал я.

– Разумеется, нет! – воскликнул судья. – Собственники в Лондоне ничего не знают о контрабандной торговле опиумом между Гонконгом и Сан-Франциско. Я думаю, они последние узнали бы об этом – в случае захвата судна. Нет, я думал о капитане. Но где бы он мог взять деньги, – после всего случившегося, затратив такую сумму на покупку товара в Китае? Разве что он действует по поручению кого-нибудь во Фриско<sup>24</sup>; но в таком случае, – и тут мы опять попадаем в заколдованный круг, – Беллэрс не мог бы быть выбран поверенным.

– Я, кажется, с уверенностью могу сказать, что это не капитан, – заметил я, – так как он и Беллэрс не знакомы друг с другом.

– Ведь это капитан был, с красным лицом и шелковым платком? Мне казалось, что он следил за Беллэрсом с величайшим интересом, – возразил мистер Морган.

– Совершенно верно, – сказал я. – Трент глубоко заинтересован в деле; он, по-видимому, знает Беллэрса, и, без сомнения, знал, зачем он там находится; но я готов отдать руку на отсечение, что Беллэрс не знает Трента.

– Другая странность, – заметил судья. – Ну, мы славно провели утро. Но послушайте совета старого законника и отправляйтесь к Мидуэй-Айленд как можно скорее. Тут замешаны большие деньги, а Беллэрс и К° не такие люди, чтобы останавливаться перед пустяками.

---

<sup>24</sup> Сокр. «Сан-Франциско» (прим. перев.).

С этим напутствием судья Морган пожал мне руку и направился по Монгомери-стрит, а я вошел в «Западный ОТЕЛЬ», у подъезда которого кончился наш разговор. Здесь меня хорошо знали, и услышав, что я жду Пинкертона завтракать, пригласили в буфет. Сидя в укромном уголке, я начал понемногу оправляться после бурных впечатлений, когда поспешно вошел и, обменявшись несколькими словами с прислугой, направился к телефону не кто иной, как мистер Генри Беллэрс собственной персоной! Назовите это как угодно, но, повинувшись непреодолимому побуждению, я встал и поместился у него за спиной. Некоторым извинением может служить то, что я часто практиковал эту форму подслушивания с незнакомцами шутки ради. Право, вряд ли что-нибудь может хуже рекомендовать человека, как подобное подслушивание.

– Центральная, – сказал адвокат, – 2241 и 584 В – кто говорит? – Хорошо. – Мистер Беллэрс. – «Западный ОТЕЛЬ». – Проволоки попортились в другом месте. – Да, минуты три. – Да. – Да. – Вашу цифру, к сожалению. – Нет. – Не был уполномочен. – Ни более ни менее. – Имею основание предполагать это. – О, Пинкертон, Монтана-Блок. – Да. – Да. – Очень хорошо, сэр. – Как вам угодно, сэр. – Разъедините 584 В.

Беллэрс повернулся уходить; увидев меня, он поднял руки и скорчился, точно ожидал нападения.

– О, это вы! – воскликнул он; а затем, немного оправившись, прибавил, – компаньон мистера Пинкертона, если не ошибаюсь? Рад видеть вас, сэр, и поздравить вас с успехом.

С этими словами он ушел, отвечивая низкие поклоны.

Тут мною овладело нелепое настроение. Очевидно, Беллэрс переговаривался со своим принципалом; я знал если не имя, то цифру. Что если я позвоню?.. Наверное, он лично вернется к телефону. Почему бы мне не побеседовать с этим таинственным лицом и не подурачиться. Я дал сигнал.

– Центральная, – сказал я – соедините опять 2241 и 584 В.

Призрак на центральной станции повторил цифры; затем последовала пауза, а затем: «Два два четыре один, – произнес какой-то тонкий голос, голос с английским акцентом, без сомнения, голос джентльмена. – Это опять вы, мистер Беллэрс? – послышалось затем. – Я вам говорю, не нужно. Это вы, мистер Беллэрс? Кто говорит?»

– Я желаю только предложить один вопрос, – сказал я учтиво. – Зачем вам понадобилось покупать «Летучее Облачко?»

Ответа не было. Телефон вибрировал и гудел голосами всего города, но голос 2241 умолк. Я два раза повторил вопрос, но тонкий голос с английским акцентом не отзывался. Стало быть, человек бежал, бежал от нахального вопроса. Это вовсе не казалось мне естественным, разве только допустить, что преступник бежит, даже когда никто его не преследует. Я взял телефонную книжку и отыскал номер «2241, мистрис Кин, 942, Миссион-стрит». Это было все, что я мог сделать; оставалось разве только отправиться по адресу и возобновить свое нахальство лично.

Однако же, когда я снова уселся в уголке, то почувствовал новый элемент чего-то ненадежного, двусмысленного и опасного в нашем предприятии; и в моей мысленной галерее появилась новая картина подле разбитого судна под целым облаком морских птиц и капитана Трента, хмурящего свой бурый лоб: картина человека, приставившего к уху телефонную трубку и убегающего в ужасе при простом вопросе.

Из этих размышлений меня вывел бой часов. Уже час и без малого двадцать минут прошли с тех пор, как я расстался с Пинкертоном, и мне, знавшему так хорошо его жадную торопливость в делах и так часто удивлявшемуся его железной пунктуальности, этот факт говорил больше, чем целые тома. Двадцать минут медленно растянулись в час; час сменился другим, а я все еще сидел в своем уголке или шагал по мраморному полу залы, терзаясь жесточайшим беспокойством и раскаянием. Время для завтрака почти прошло, прежде чем я вспомнил, что еще ничего не ел. Мне и не хотелось есть, но могло еще предстоять много работы – необходимо было поддержать свои силы, хотя бы только для того, чтобы переварить слишком вероятные дурные новости. Я уселся за стол и заказал суп, устрицы и бутылку шампанского.

Вскоре после этого явился мой друг. Он выглядел бледным и постаревшим, не хотел и слышать о еде и спросил чаю.

– Ничего не вышло? – спросил я, совершенно упав духом.



– Нет, – возразил он, – я собрал все полностью, Лоудон; все полностью собрал. Но больше мне не удалось бы достать цента во всем Сан-Франциско. Не одобряют нашего дела; Лонггерст даже повернулся ко мне спиной.

– Что за важность? – сказал я. – Вы добились всего, что нам требовалось, разве не так?

– Лоудон, говорю вам, я бы заплатил кровью за эти деньги! – воскликнул мой друг с почти дикой энергией и свирепостью. – Дали на девяносто дней; я не мог выпросить ни одного дня больше, ни одного дня. Если мы пустим в ход это дело, Лоудон, вам придется отправиться и самому взяться за него. Я останусь, конечно, мне необходимо остаться и бороться со здешними затруднениями, хотя очень хотелось бы поехать. Я бы показал этим жирным скотам матросам, что такое работа; они бы еще и на палубу взобраться не успели, как я бы уже осмотрел разбитое судно от кормы до носа. Но вы справитесь с делом, Лоудон; я полагаюсь на вас. Вы должны торопиться. Через три месяца шхуна должна быть здесь со всем добром, или мы прогорели!

– Обещаю приложить все старания, Джим; буду работать изо всех сил, – сказал я. – По моей вине вы взяли за это дело, и я постараюсь выручить вас. Но вы говорите: «Если мы пустим в ход это дело». Да разве у нас есть выбор?

– К этому я и перейду теперь, – отвечал Джим. – Не то, чтобы я сомневался в таком помещении наших капиталов. Не упрекайте себя; вы проявили здоровый деловой инстинкт; я всегда знал, что он у вас есть, – ну, вот он и сказался. Я думаю, что эта бестия адвокат знал, что делает, и ему смертельно хотелось перебить у нас. Нет, дело выгодное; и не то меня тревожит, а трехмесячный срок и затруднения, которые я встретил по части кредита. Я занимал везде, где мог, выпрашивал, кланчил... Я думаю; кроме меня не найдется во всем Фриско человека, – воскликнул он с внезапным порывом восхищения самим собою, – который бы сумел добыть последние десять тысяч! Есть еще и другая вещь. Я думал, что вы можете продать опиум мелкими партиями по островам, что безопаснее и выгоднее. Но ввиду трехмесячного срока вам придется плыть прямо в Гонолулу и воспользоваться пароходом. Я попытаюсь хоть сколько-нибудь помочь вам там; я поговорю с человеком, который собаку съел в этих делах. Высматривайте его внимательно, когда будете у островов, так как он может захватить вас на море в вельботе или паровом баркасе и доставить доллары прямо на борт.

То, что я согласился, хотя бы при таких обстоятельствах, когда наше состояние висело на волоске, сделаться контрабандистом, да еще по части опиума, показывает, до чего я опустился морально за время моего пребывания в Сан-Франциско. Как бы то ни было, я согласился, и притом молча, без протеста, хотя не без угрызений совести.

– А предположите, – сказал я, – что опиум запрятан так искусно, что мне не удастся его найти.

– Тогда вы останетесь там, пока не изрежете бриг в мелкие щепочки перочинным ножом! – крикнул Пинкертон. – Опиум там, мы это знаем; и он должен быть найден. Но все это только одна тетива на нашем луке, – хотя, говорю вам, я прежде всего принялся за это дело, как будто это наша главная надежда. Первое, что я сделал, прежде чем собрал хоть один цент, – и когда у меня уже явилось в голове другое соображение – был наем шхуны. Это «Нора Крейна» водоизмещением в шестьдесят четыре тонны, что совершенно достаточно для нашей цели, раз рис испорчен, и самое быстроходное судно этого тоннажа в Сан-Франциско. За премию в двести долларов и ежемесячную плату в триста она поступает в мое распоряжение; жалованье и провизия составят еще четыреста. Команда начала выгрузку (судно отчасти было нагружено) два часа тому назад, а в то же время Джон Смит получил распоряжения насчет заготовки провизии. Это я называю делом.

– Правильно, – сказал я, – но другое соображение?

– Вот оно, – отвечал Джим. – Вы согласны со мной, что Беллэрс был готов поднять выше?

Я понял, куда он метит.

– Да, – сказал я, – да и почему бы ему не поднять? Так вы на это и рассчитываете?

– На это и рассчитываю, Лоудон Додд, – подтвердил Джим. – Если Беллэрс и его патрон желают купить у меня, я к их услугам.

Внезапная мысль, внезапный страх мелькнули в моей душе. Что, если я был прав? Что, если моя ребяческая шутка напугала патрона, заставила его бежать и, таким образом, отняла у нас случай? Стыд сковал мои уста; я инстинктивно как будто в рот воды набрал, не сказав ни слова о своей встрече с Беллэрсом и о том, как я узнал адрес на Миссион-стрит, продолжал разговор.

– Без сомнения, пятьдесят тысяч долларов были первоначально назначены, как круглая сумма, – сказал я, – или, по крайней мере, Беллэрс предполагал это. Но в то же время возможно, что это была крайняя сумма; а чтобы покрыть издержки на наем шхуны, в которые мы уже вошли, – я отнюдь не упрекаю вас; я понимаю, как необходимо быть готовым к тому и другому исходу, – нам потребуется довольно большая прибавка.

– Беллэрс пойдет до шестидесяти тысяч; я уверен в этом, а если умеючи взяться за дело, то и до ста, – возразил Пинкертон. – Вспомните конец аукциона.

– Таково и мое впечатление, что касается Беллэрса, – согласился я, – но для меня вопрос, не ошибался ли сам Беллэрс, и не была ли та сумма, которую он считал только круглой цифрой, действительно крайней суммой?

– Ну, Лоудон, если так, – сказал Джим с необыкновенной важностью в лице и голосе, – если так, то пусть его берет «Летучее Облачко» за пятьдесят тысяч и радуется! Я предпочитаю потерю.

– Вот как, Джим? Неужели наши дела так плохи? – воскликнул я.

– Мы так далеко запустили лапу, что, пожалуй, не вытянем ее обратно, Лоудон, – ответил он. – Видите ли, эти пятьдесят тысяч долларов станут нам в семьдесят, прежде чем мы закончим дело. Процентом платить придется более десяти в месяц; я не мог добиться лучших условий, и ни одна живая душа не добилась бы и таких, было просто чудо, Лоудон. Я не мог не восхищаться самим собою. О, будь в нашем распоряжении четыре месяца! Но все-таки, Лоудон, дело еще можно уладить. С вашей энергией и умением, даже в худшем случае, вы можете организовать эту поездку, как ваши пикники; и счастье может нам улыбнуться. И если нам удастся благополучно уладить это дело, какая блистательная выйдет кампания! Будет чем похвастаться! Будет о чем вспоминать всю жизнь! Как бы то ни было, – перебил он сам себя, – мы должны сначала поискать безопасный выход. Едем к стряпчему!

В душе моей снова началась борьба, – не должен ли я сообщить ему адрес Миссион-стрит. Но я упустил благоприятный момент. Теперь мне пришлось бы сознаваться не только в моем открытии, но и в моем недавнем молчании, – и это делало мое положение еще более неловким. Кроме того, я не мог не сообразить, что самый естественный способ столкнуться с принципалом – это обратиться в контору поверенного; и меня угнетало убеждение, что уже слишком поздно, и что человек исчез два часа тому назад. Еще раз я прикусил язык, и, узнав по телефону, что стряпчий дома, мы отправились в его контору.

Бесконечные улицы большого американского города являют картину странных переходов пышности и нищеты, тянутся, сохраняя одно и то же название, мимо грандиозных магазинов, воровских притонов и таверн, окруженных садами вилл. В Сан-Франциско резкие различия грунта и часто подступающее море еще усиливают этот контраст. Улица, по которой мы теперь отправились, начиналась среди песков, где-то по соседству с Лон-Моунтэн-Симитери, проходила через бурный Олимп-Ноб-Гилль или по самой его границе, затем шла мимо домиков, довольно бесстыдно раскрашенных и представлявших глазам наблюдателя ту любопытную особенность, что большие медные пластинки на маленьких, ярко раскрашенных дверях, носили только начальные женские имена – Нора, или Лили, или Флоренс, пересекала Китайский квартал, без сомнения, с притонами курильщиков опиума, с их бесчисленными, как в кроличьих садках, дверями, коридорами и галереями, попадала на бойкое место на углу Кэрни и продолжалась среди богатых домов и магазинов, до верхней части города и области «водяных крыс». В этой последней части улицы, где она выглядела угрюмой и пустынной, где тишина сменялась громыханием ломовиков, мы нашли дом с некоторой претензией на щегольство и с наружной лестницей из дикого камня. На перилах лестницы висела черная доска с надписью золотыми буквами: «Гарри Д. Беллэрс, присяжный поверенный. Консультации от девяти до шести вечера». Поднявшись по лестнице, мы нашли открытую на балкон дверь с надписью «Мистер Беллэрс».

– Что же дальше делать? – сказал я.

– Войдем без церемоний, – отвечал Джим, сопровождая слова делом.

Мы очутились в относительно чистой, но крайне скудно обставленной комнате. У стены помещалась довольно старомодная конторка с приделанным к ней стулом, в углу полка с полудюжиной юридических книг; но больше я не запомнил никакой мебели. Приходилось предположить, что мистер Беллэрс имел обыкновение сидеть сам, а клиентам предоставлял стоять. Дверь с красной байковой занавеской вела во внутреннюю часть дома. Оттуда на наш

кашель и топот вылез стряпчий, очень боязливо, точно опасался нападения, и, узнав гостей, заметался в каком-то нервическом пароксизме.

– Мистер Пинкертон и его компаньон! – сказал он. – Сейчас я принесу вам стулья.

– Не нужно, – остановил его Джим. – Некогда. Объяснимся и стоя. Вот в чем дело, мистер Беллэрс. Сегодня утром, как вы знаете, я купил разбившееся судно «Летучее Облачко».

Адвокат кивнул головой.

– И купил его, – продолжал мой друг, – за сумму, которая совершенно не соответствует стоимости груза, как потом выяснилось.

– А теперь одумались и были бы не прочь отделаться от своей покупки, – подхватил адвокат. – Я имел это в виду. Не скрою от вас, мой клиент был недоволен, что я зашел так далеко. Кажется, мы оба погорячились, мистер Пинкертон: соперничество, дух соревнования. Но я буду совершенно откровенен: я знаю, что имею дело с джентльменами, и почти уверен, что если вы поручите мне эту сделку, то мой клиент не станет торговаться, так что вы потеряете, – он впился глазами в наши лица и прибавил резко, – ничего не потеряете.

Тут Пинкертон изумил меня.

– Это слишком жидко, – сказал он. – Судно мое. Я знаю, что на нем есть добро, и намерен воспользоваться им. Я хочу только выяснить некоторые пункты, что избавит меня от лишних издержек, и за что я готов заплатить чистоганом. Вам остается только решить, должен ли я иметь дело с вами или непосредственно с вашим принципалом? Если вы готовы сообщить мне факты верно, назовите вашу цифру. Только имейте в виду, – прибавил Джим, – что, говоря «чистоганом», я подразумеваю уплату по возвращении судна, если сведения окажутся точными. Я не покупаю на веру.

Я заметил, что лицо адвоката просияло на минуту, а затем, после оговорки Джима, приняло растерянное выражение.

– Я вижу, что вам известно об этом судне больше, чем мне, мистер Пинкертон, – сказал он. – Я знаю только, что мне было поручено купить его, что я попытался сделать это и не мог.

– Мне нравится, мистер Беллэрс, что вы не теряете даром времени, – сказал Джим. – Итак, имя и адрес вашего клиента?

– Рассуждая здраво, – ответил адвокат с неопикуемой уклончивостью, – я нахожу, что вовсе не уполномочен сообщать имя моего клиента. Я передам ему все, что вам угодно будет поручить мне, но я не могу сообщить вам его адрес.

– Очень хорошо, – сказал Джим, надевая шляпу. – Это довольно решительный шаг, вы не находите? (Он разделял фразы заметными паузами). – Что, не одумались? Согласны за доллар?

– Мистер Пинкертон, сэр! – воскликнул адвокат. Да я и сам подумал, что Джим, пожалуй, заблуждается относительно этого человека и заходит чересчур далеко.

– Не согласны за доллар? – сказал Джим. – Ну, послушайте, мистер Беллэрс, – мы оба деловые люди, и я скажу свою крайнюю цифру...

– Бросьте это, Пинкертон, – перебил я. – Я знаю адрес: 942, Миссион-стрит.

Не знаю, кто был сильнее поражен, Пинкертон или Беллэрс.

– Почему же вы не сказали мне об этом раньше, Лоудон? – воскликнул мой друг.

– Вы не спрашивали, – ответил я, краснея до ушей под его недоумевающим взглядом.

Беллэрс первый нарушил молчание, любезно сообщая мне все, что мне оставалось узнать.

– Раз вы знаете адрес мистера Диксона, – сказал он, видимо сгорая желанием отделаться от нас, – то, я полагаю, мне нет надобности задерживать вас дольше.

Не знаю, что чувствовал Пинкертон, мне же было смертельно не по себе, когда мы спускались по лестнице из берлоги этого угреватого паука. Все мое существо было напряжено в ожидании вопроса Джима, и я готовился признаться во всем – пожалуй, почти со слезами. Но мой друг ничего не спросил.

– Надо торопиться, – сказал он, направляясь к ближайшей стоянке извозчиков. – Нельзя терять времени. Я, как видите, изменил план. Незачем платить этому крючку за комиссию.

Я снова ждал вопроса и снова обманулся. Видимо, Джим боялся касаться этого предмета, и я почти ненавидел его за этот страх. Наконец, когда мы уже сидели в экипаже и катили на Миссион-стрит, я не мог больше выдержать.

– Вы не спрашиваете меня, как я узнал адрес, – сказал я.

– Нет, – отвечал он быстро и робко, – как же это случилось? Я бы не прочь узнать.

Этот робкий тон оскорбил меня, как пощечина; я мигом разгорячился.

– Я должен просить вас не спрашивать меня об этом, – сказал я. – Это обстоятельство, которого я не могу объяснить.

Я готов был все отдать, чтобы вернуть обратно эти нелепые слова, особенно когда Пинкертон, схватив мою руку, ответил:

– Ни слова более, дружище, этого довольно; я убежден, что вы совершенно правы!

Возвращаться к этому предмету было свыше моих сил, но я поклялся про себя, что сделаю все для успеха этой безумной спекуляции и дам себя разрезать на куски прежде, чем Джим потеряет хоть доллар.

Когда мы приехали по адресу, мне пришлось думать о других вещах.

– Мистер Диксон? Он уехал, – сказала хозяйка.

– Куда уехал?

– Право, не могу вам сказать, – отвечала она. – Он мне совершенно незнаком.

– Он отправил багаж, сударыня? – спросил Пинкертон.

– У него не было багажа, – последовал ответ. – Он приехал вчера вечером и уехал утром с саквояжем.

– Когда он уехал? – спросил я.

– Около полудня, – отвечала хозяйка. – Кто-то позвонил по телефону и спросил его, и я уверена, что он получил какие-нибудь важные новости, так как уехал немедленно, хотя комната была нанята на неделю. Он был сильно взволнован, должно быть, кто-нибудь умер.

Мое сердце так и екнуло, похоже, моя идиотская выходка действительно спугнула его, и я снова спрашивал себя: «Почему?» и на минуту забылся в вихре несостоятельных гипотез.

Вернувшись к сознанию окружающего, я услышал вопрос Пинкертона:

– Каков он из себя, сударыня?

– Очень чисто выбритый господин, – сказала хозяйка.

Нам не удалось добиться от нее более обстоятельного описания.

– Поезжайте в ближайшую аптеку, – сказал Пинкертон, и когда мы приехали, телефон снова выступил на сцену и конторе Тихоокеанского Почтового Пароходства был сделан запрос:

– Когда ушел в Гонолулу последний китайский пароход?

– «Город Пекин» отправился сегодня в половине второго, – последовал ответ.

– Ясное дело, – сказал Джим. – Он отплыл, не будь я Пинкертоном. Отправился с целью предупредить нас на Мидуэй-Айленде.

Я был не вполне уверен, некоторые обстоятельства дела, неизвестные Пинкертону, – например, испуг капитана, – заставляли меня думать иначе; и мысль, что я обратил в бегство мистера Диксона, хотя опиравшаяся на очень шаткое основание, упорно сидела в моей голове.

– Не посмотреть ли нам список пассажиров? – спросил я.

– Диксон такое чертовски обыкновенное имя, – возразил Джим, – притом же он, наверное, переименовал его.

Тут у меня мелькнула другая мысль. Мне представился как бы фотографический снимок уличной сцены, со всеми подробностями, бессознательно снятый в минуту задумчивости: вид с крыльца Беллэрса, грязная улица, проезжающие ломовики, телеграфные провода, китаец с корзиной на голове и, почти напротив, угловая бакалейная лавка с именем Диксона большими золотыми буквами.

– Да, – сказал я, – вы правы, он, наверное, переименовал его. Да я и не думал, что это его настоящее имя, я думаю, что он взял его с вывески бакалейщика против Беллэрса.

– Очень просто, – заметил Джим, все еще стоявший на тротуаре, нахмурившись.

– Что же мы предпримем теперь? – спросил я.

– Всего правильнее было бы навестить на шхуну, – ответил он. – Но... не знаю. Я телеграфировал капитану лететь на нее сломя голову, он обещал и, думаю, уже возится с нею. Мне кажется, Лоудон, не мешает попытать Трента. Трент участвовал в деле, он увяз в нем по шею, если он не может купить, то может дать нам указание.

– Я то же думаю, – сказал я. – Где нам найти его?

– В английском консульстве, конечно, – сказал Джим. – И это другой повод покончить сначала с ним. На шхуну мы можем явиться когда угодно, но консульство, когда заперто, так заперто.

В консульстве мы узнали, что капитан Трент остановился в «Уайт-Чир-Гаузе». Мы покатили в эту большую и неаристократическую гостиницу и обратились к рослому клерку, который жевал зубочистку, устремив взгляд вперед.

– Капитан Джэкоб Трент?

– Уехал, – сказал клерк.

– Куда уехал? – спросил Пинкертона.

– Кто его знает! – сказал клерк.

– Когда уехал? – спросил я.

– Не знаю, – сказал клерк и с простотой монарха показал нам свою широкую спину.

Боюсь и представить себе, что могло случиться дальше, так как возбуждение Пинкертона росло и теперь достигло опасной степени, но вмешательство второго клерка избавило нас от крайних мер.

– А, мистер Додд! – воскликнул он, подбегая к нам. – Рад вас видеть, сэр! Не могу ли быть чем-нибудь полезен вам?

Добрые дела вознаграждаются. Это был молодой человек, восхищенный слух которого я тешил романсом «Перед самой битвой, мама» на одном из еженедельных пикников; и вот, в тяжелую минуту моей жизни, он явился на помощь.

– Капитан Трент с разбившегося судна? О, да, мистер Додд, он уехал около двенадцати, он и еще один матрос. Канака уехал раньше, я знаю это, я отправлял его сундук. Капитан Трент? Я справлюсь, мистер Додд. Да, они все были здесь. Вот их имена в списке, не угодно ли вам просмотреть, пока я сбегая узнаю насчет багажа.

Я потянул к себе книгу и смотрел на четыре имени, написанные одной и той же рукой довольно крупным и довольно плохим почерком: *Трент, Броун, Гэрди* и (*вместо Аг Винг*) *Джоз. Амалу*.

– Пинкертона, – сказал я неожиданно, – у вас нет с собой того номера «Западной Газеты»?

– Всегда при мне, – сказал Пинкертона, доставая листок.

Я обратился к отчету о кораблекрушении.

Здесь, – сказал я, – здесь есть еще имя. «Элайас Годдедааль, штурман». Почему нам ни разу не попадался Элайас Годдедааль?

– В самом деле, – сказал Джим. – Был он в салоне с остальными, когда вы их видели?

– Не думаю, – ответил я. – Их было четверо, и ни один не походил на штурмана.

В эту минуту клерк вернулся со справкой.

– Капитан уехал в экипаже вроде фуры; он и матрос захватили с собой три сундука и большой чемодан. Наш носильщик помог им уложить вещи, но правили они сами. Это было около часа.

– Как раз вовремя, чтобы поспеть на «Город Пекин», – заметил Джим.

– Много ли их было здесь? – спросил я.

– Трое, сэр, и канака, – ответил клерк. – Я ничего не мог узнать о третьем, но он тоже уехал.

– Мистер Годдедааль, штурман, не был здесь? – спросил я.

– Нет, мистер Додд, были только те, которые здесь записаны, – сказал клерк.

– И вы никогда не слыхали о нем?

– Нет. Вам очень важно найти этих людей, мистер Додд? – любопытствовал клерк.

– Этот джентльмен и я купили разбившееся судно, – объяснил я, – и желали навести кое-какие справки; крайне досадно, что все эти люди исчезли.

Вокруг нас постепенно образовалась небольшая группа, так как разбившееся судно, все еще интересовало публику, а при этих словах один из присутствовавших, грубый моряк, внезапно сказал:

– Я думаю, штурман не уехал. Он больной человек, ни разу не покидал лазарета на «Буре», так мне говорили.

Джим дернул меня за рукав.

– Едем обратно в консульство, – сказал он.

Но даже в консульстве ничего не знали о мистере Годдедаале. Доктор «Бури» удостоверил, что он серьезно болен; он прислал свои бумаги, но лично не являлся к властям.

– Есть у вас телефонное сообщение с «Бурей»? – спросил Пинкертон.

– Есть, – отвечал клерк.

– Не можете ли вы справиться или позволить мне справиться? Нам очень важно повидать мистера Годдедаала.

– Очень хорошо, – сказал клерк и повернулся к телефону. – К несчастью, – сказал он немного погодя, – мистер Годдедааль оставил корабль, и никто не знает, где он теперь.

– Вы платите за переезд матросов на родину? – спросил я; внезапная мысль мелькнула у меня в голове.

– Если они требуют, – ответил клерк, – но это не всегда бывает. Сегодня утром мы заплатили за переезд канани на родину; и, судя по тому, что говорил капитан Трент, остальные собираются ехать домой все вместе.

– Значит, вы еще не платили за них? – сказал я.

– Нет еще, – сказал клерк.

– И, вероятно, будете порядком удивлены, если я скажу вам, что они уже уехали? – спросил я.

– О, я думаю, что вы ошибаетесь, – ответил он.

– Однако это факт, – сказал я.

– Я уверен, что вы ошибаетесь, – повторил он.

– Могу я на минутку воспользоваться телефоном? – спросил Пинкертон, и, получив разрешение, позвонил в типографию, где мы напечатали наши объявления. Дальше я не слышал его переговоров, так как, внезапно вспомнив грубый почерк в списке «Уайт-Чир-Гауза», спросил клерка, нет ли у них образчика почерка капитана Трента. В ответ я услышал, что капитан Трент не может писать, так как ранил себе руку незадолго до крушения брига; что последняя часть корабельного журнала велась мистером Годдедаалем, и что Трент подписывается левой рукой. Пока я наводил эту справку, Пинкертон кончил переговоры.

– Это все, что мы можем сделать. Теперь на шхуну, – сказал он, – а завтра вечером я добуду Годдедаала, не будь я Пинкертон.

– Как же вы устроились? – спросил я.

– Вы это увидите раньше, чем ляжете спать, – сказал Пинкертон. – А теперь, после всех наших метаний взад и вперед, после отельного клерка и этого клопа Беллэрса будет развлечением и утешением повидать шхуну. Там-то, я думаю, дело кипит.

Однако на пристани мы не заметили никаких признаков суеты, а на «Норе Крейна» никаких признаков жизни, кроме дыма из кухни. Пинкертон, побледнев и стиснув зубы, вскочил на судно.

– Где капитан этого?.. – он не окончил фразы, очевидно, не находя достаточно подходящего эпитета для выражения своих мыслей.

Неизвестно было, к кому или к чему он обращался, однако из дверей кухни высунулась чья-то голова, вероятно, кока.

– В каюте, за обедом, – произнес он лениво, жуя что-то.

– Выгружен груз?

– Нет.

– Ничего не выгружено?

– Кое-что. Завтра, я думаю, пойдет поживее.

– Я думаю, что сначала что-нибудь будет сломано, – сказал Пинкертон и направился в каюту.

Тут мы нашли жирного, смуглого и спокойного человека, важно восседавшего за обильным, по-видимому, обедом. Он взглянул на нас; и когда Пинкертон, не снимая шляпы, остановился перед ним, молча глядя ему в лицо, скрестив руки и сжав губы, смешанное выражение удивления и досады появилось на его благодушной физиономии.

– Ну! – сказал Джим. – Так вот что значит по-вашему приняться за дело?

– Кто вы такой? – крикнул капитан.

– Я? Я – Пинкертон! – ответил Джим, как будто это имя было талисманом.

– Вы не слишком вежливы, кто бы вы ни были, – последовал ответ.

Однако известный эффект был произведен, так как капитан встал и прибавил поспешно:

– Надо же человеку пообедать, мистер Пинкертон.

– Где ваш штурман? – буркнул Джим.

– В городе, – сказал капитан.

– В городе! – проскрежетал Пинкертон. – Ну, я вам скажу, кто вы такой. Вы мошенник, и если бы я не боялся запачкать свои сапоги, я вышвырнул бы вас с вашим обедом за борт.

– А я вам тоже скажу кое-что, – возразил капитан, побагровев. – Я не поплыву на этом судне, хотя бы вы меня просили на коленях. До сих пор я имел дело с джентльменами.

– Я могу вам назвать имена многих джентльменов, с которыми вы не будете больше иметь дела, это все клиенты Лонггерста, – сказал Джим. – Уж я вам устрою это, дружок. Убирайтесь отсюда немедленно со всеми вашими потрохами и забирайте с собой вашу сволочь. Я сегодня же найду капитана и матросов.

– Я уйду, когда мне будет угодно, именно завтра утром, – крикнул капитан нам вдогонку, когда мы выходили из каюты.

– Какая-то пружина сегодня испортилась в мире, все идет вверх дном! – плакался Пинкертон. – Беллэрс, потом отельный клерк, а теперь этот мошенник. Где мне добыть капитана, Лоудон? Лонггерст уже час тому назад ушел домой, и все ребята разбрелись.

– Я знаю где, – сказал я, – садитесь!

Затем я спросил извозчика:

– Вы знаете гостиницу Черного Тома?

Туда мы и направились, прошли через бар и нашли (как я и надеялся) Джонсона, предающегося клубным развлечениям. Стол был отодвинут к стене; один тихоокеанский торговец играл на губной гармонике в углу, а посреди комнаты Джонсон и его приятель-моряк, облапив друг друга, тяжеломерно выплясывали какой-то танец. Комната была холодная и тесная; газовый рожок, постоянно грозивший головам танцоров, скудно освещал ее, гармоника пищала и фальшивила, а лица зрителей были важны, точно в церкви. Неделикатно было бы, конечно, прерывать это торжественное увеселение, и потому мы бочком пробрались к стульям, как запоздалые посетители концерта, и терпеливо дожидались антракта. Наконец музыкант, задохнувшись, внезапно остановился. С прекращением музыки танцоры тоже остановились, немного потоптались на месте, все еще облапив друг друга, затем расцепились и оглянулись на публику в ожидании аплодисментов.

– Славно сплясали! – сказал один из зрителей, но, по-видимому, похвала показалась недостаточной исполнителям, так как (забывая пословицу) они принялись хвалить себя сами.

– Да, – сказал Джонсон, – я, может быть, плохой моряк, но умею танцевать.

А его приятель с почти трогательным убеждением прибавил:

– Моя нога легка, как перышко.

Вы можете быть уверены, что я не упустил случая прибавить несколько похвальных слов, прежде чем обратился к Джонсону, а затем, умалив его таким способом, сообщил ему, что считал нужным, о нашем положении и просил, если он не возьмется сам, найти нам подходящего капитана.

– Я! – воскликнул он. – Я не могу взяться за это дело, скорей отправлюсь в ад.

– Но ведь вы, кажется, были штурманом? – сказал я.

– Ну да, был штурманом, – проворчал Джонсон, – но это не причина оставлять меня с каждым судном. Но вот что я вам скажу; я, кажется, могу заполучить для вас Арти Нэрса. Вы знаете Арти? Моряк первого сорта и молодец.

Он объяснил мне, что мистер Нэрс, которому обещано судно через шесть месяцев, когда все уладится, живет очень уединенно и будет рад переменить климат.

Я позвал Пинкертона и сообщил это ему.

– Нэрс! – воскликнул он. – Да я был бы радешенек даже тому, кто только носит штаны Нэрса! Да, Лоудон, это самый лихой штурман в Сан-Франциско!

Это искреннее одобрение скрепило предложение; Джонсон согласился добыть Нэрса до шести утра, а Черный Том, приглашенный на совещание, обещал нам доставить к тому же часу четверых молодцов, и притом трезвых (что показалось нам излишней роскошью).

Улицы были освещены, когда мы вышли от Черного Тома: улица за улицей сверкали газом или электричеством, взбирались светлыми полосами на крутые склоны холма в нависшую над городом тьму, а с другой стороны, где дрожали невидимые воды залива, сотни фонарей отмечали место стоянки сотни судов. Морской туман поднимался высоко к небу, и на уровне человеческой

жизни и деятельности было ясно и свежо. По молчаливому соглашению мы отпустили извозчика и пошли рука об руку обедать в «Пудель».

На ближайшем углу я заметил расклейщика афиш: время было уже позднее для этого занятия, и я остановил Пинкертона, чтобы прочесть афишу. Вот что я прочел:

**ДВЕСТИ ДОЛЛАРОВ НАГРАДЫ**  
**Служащие и матросы**  
**РАЗБИВШЕГОСЯ БРИГА «ЛЕТУЧЕЕ ОБЛАЧКО»**  
**которые обратятся, лично или письменно, в контору Джэмса Пинкертона, Монтана-Блок,**  
**до полудня завтра, во вторник, двенадцатого получат**  
**ДВЕСТИ ДОЛЛАРОВ НАГРАДЫ**

– Это ваша идея, Пинкертон? – воскликнул я.

– Да. Эти не теряли времени, надо отдать им справедливость, – не то, что тот мошенник, – сказал он. – Но, Лоудон, это еще не все. Суть идеи вот в чем: мы знаем, что этот человек болен; ну, так по экземпляру афиши разослано в каждый госпиталь, каждому доктору и в каждую аптеку Сан-Франциско.

Конечно, по отношению к нашему делу расход являлся ничтожным, но все же меня напугала расточительность Пинкертона, и я высказал это.

– Что значат теперь несколько долларов? – ответил он угрюмо. – Развязка наступит через три месяца.

Мы пошли дальше молча и не без внутренней дрожи. Даже у «Пуделя» мы ели неохотно и редко обменивались словами, и только после третьего бокала шампанского Пинкертон откашлялся и бросил на меня умоляющий взгляд.

– Лоудон, – сказал он, – вы не хотели говорить об одном предмете. Я выражусь только обиняком. Это не потому, – он запнулся, – не потому, что вы недовольны мной? – заключил он с дрожью в голосе.

– Пинкертон! – воскликнул я.

– Нет, нет, погодите, – заторопился он, – дайте мне сначала высказаться. Я ценю деликатность вашей натуры, хотя и не могу подражать вам в этом; и очень хорошо понимаю, что вы скорее умрете, чем скажете, но все-таки вы можете чувствовать себя разочарованным. Я думал, что лучше сумею обделать это сам. Но когда я увидел, как трудно приходится добыть нужную сумму в этом городе, когда я увидел, что сам Дуглас Б. Лонггерст отказывается от предприятия, то, говорю вам, Лоудон, я начал отчаиваться; и – я, может быть, наделал ошибок, без сомнения, тысячи людей сделали бы лучше моего, – но даю вам честное слово, я сделал все, что мог.

– Мой бедный Джим, – сказала я, – точно я когда-нибудь сомневался в вас! Точно я не знаю, что вы сделали чудеса! Весь день я восхищался вашей энергией и находчивостью. Что касается того предмета...

– Нет, Лоудон, не нужно, – ни слова больше! Я не хочу слышать, – воскликнул Джим.

– Ну, сказать правду, мне бы и не хотелось говорить вам, – ответил я, – потому что это вещь, которой я стыжусь.

– Стыдитесь, Лоудон? О, не говорите этого, не употребляйте такого выражения даже в шутку! – протестовал Пинкертон.

– Разве вам не случается делать что-нибудь, чего вы потом стыдитесь? – спросил я.

– Нет, – ответил он, вытаращив глаза, – зачем? Я иногда жалею потом, если выходит не то, на что я рассчитывал. Но я не вижу, почему бы мне стыдиться.

Я восхищался простотой характера моего друга. Затем я вздохнул.

– Знаете ли, Джим, о чем я всего больше жалею? – сказал я. – О том, что мне не придется быть на вашей свадьбе.

– На моей свадьбе! – повторил он тоже со вздохом. – Не бывать теперь моей свадьбе. Я сегодня же верну ей слово. Это-то и угнетало меня весь день. Я чувствую, что не имел права после обручения браться за такое рискованное предприятие.

– Ну, Джим, ведь это моих рук дело, и вы должны сердиться на меня, – сказал я.



– Ни крошечки! – воскликнул он. – Я так же увлекся, как вы, только вначале не был так решителен. Нет, я должен благодарить себя самого, но это плачевная штука.

Джим отправился исполнять свою печальную миссию, а я вернулся в контору, зажег газ и сел, чтобы обдумать события этого достопамятного дня: странные обстоятельства дела, которые начали выясняться, исчезновения, страхи, огромные суммы денег и опасную и неблагородную задачу, предстоящую мне в недалеком будущем.

Трудно при ретроспективном обзоре подобных дел не приписать себе в прошлом ту степень знания, которой мы обладаем теперь. Но я могу сказать, оставаясь верным действительности, что я томился в тот вечер лихорадкой подозрительности и любопытства, истощал свое воображение в придумывании решений, которые отбрасывал, как не соответствующие фактам, и находил в окружающей меня тайне стимул для моего мужества и целебный бальзам для совести. Я решил, что не могу отступить ни в коем случае. Контрабанда – одно из самых скверных преступлений, потому что, занимаясь ею, мы обворовываем всю страну *pro rata*, и, следовательно, еще более разоряем бедняка: продавать контрабандный опиум – преступление особенно черное, потому что оно изродни не столько убийству, сколько бойне. Все эти пункты были для меня совершенно ясны; моя симпатия вооружалась против моего интереса; и не будь Джим замешан в это дело, я бы почти с удовольствием думал о возможной неудаче. Но Джим, все его состояние, его женитьба зависели от моего успеха, а я ставил интересы моего друга выше интересов всех островитян Тихого океана. Это жалкая личная мораль, если угодно, но это моя мораль, лучшая, какой я обладаю, и я не столько стыжусь того, что ввязался в это дело, сколько горжусь тем, что (пока я занимался им, и ради моего друга) вставал рано, а ложился поздно, лично руководил всем, спокойно встречал опасности и хоть раз в жизни вел себя как настоящий мужчина. В то же время я желал бы иного поприща для приложения энергии, и был тем более благодарен за смягчающий элемент тайны. Не будь его, я бы хоть и взялся за дело, но вряд ли с таким рвением; и если я испытывал в этот вечер нетерпеливое желание отплыть в море, поскорее добраться до острова и разбившегося судна, то потому, что рассчитывал наткнуться там на ответ на сотни вопросов и узнать, почему капитан Трент обмахивал свое багровое лицо на бирже, и почему мистер Диксон бежал от телефона в меблированном доме на Миссион-стрит.

## Глава XI

### В которой Джим и я направляемся разными дорогами

Я чувствовал себя несчастным, засыпая; и в таком же настроении открыл глаза утром, со смутным сознанием какого-то еще не определившегося бедствия, с затекшими ногами и тяжелой головой. Я, должно быть, лежал некоторое время пассивный и тупонесчастный, прежде чем сообразил, что кто-то стучится в дверь. Тут мои душевные силы разом вернулись на свои места, и я вспомнил аукцион, разбившееся судно, Годдедаала и Нэрса, Джонсона и Черного Тома, и вчерашние хлопоты, и разнообразные обстоятельства наступающего дня. Эта мысль подействовала на меня как труба в час битвы. Я вскочил с постели, прошел через контору, где Пинкертон спал крепким сном на складном диване, и остановился в дверях, в своем ночном одеянии, принять гостей. Впереди, в качестве церемониймейстера, стоял улыбающийся Джонсон. За ним следовал, в парадной шляпе и с сигарой в зубах, капитан Нэрс, признавший наше старое знакомство коротеньким кивком. За ним, в свою очередь, группа матросов, новая команда «Нору Крейны», стояла на площадке лестницы, полируя стену спинами и локтями. Им я предоставил размышлять на досуге, а обоих командиров немедленно ввел в контору, где, взяв Джима за плечо, медленно вернул его в сознание. Он сел, видимо, еще не придя в себя, и уставился на нового капитана.

– Джим, – сказал я, – это капитан Нэрс. Капитан, мистер Пинкертон.

Нэрс повторил свой кивок по-прежнему молча и, как мне показалось, пристально наблюдая за нами обоими.

– О! – сказал Джим. – Так это капитан Нэрс? Доброго утра, капитан Нэрс. Рад познакомиться с вами, сэр. Мне хорошо известна ваша репутация.

Пожалуй, при существующих обстоятельствах этот привет был не особенно уместным. По крайней мере, Нэрс ответил на него каким-то ворчанием.

– Ну, капитан, – продолжал Джим, – вы знаете, в чем дело. Вам нужно вести «Нору Крейну» к Мидуэй-Айленду, разобрать разбившееся судно, отправиться в Гонолулу и вернуться сюда. Это понятно, я думаю?

– Вот что, – отвечал Нэрс с той же недружелюбной сдержанностью, причина которой, думаю, вам известна, – это плавание мне подходит; надо только выяснить кое-какие пункты. Нам нужно поговорить с вами, мистер Пинкертон. Но пойду ли я, нет ли, – кто-нибудь пойдет. Нет смысла терять время: вы можете дать мистеру Джонсону записку, он заберет людей, отправится с ними на судно и подготовит его к отплытию. Каналы выглядят трезвыми, – прибавил он с видом крайнего отвращения, – нужно поставить их на работу, чтобы удержать в этом состоянии.

Получив согласие, Нэрс подождал, пока его подчиненные ушли, а затем перевел дух с видимым облегчением.

– Теперь мы одни и можем потолковать, – сказал он. – В чем, собственно, дело? О нем оповещали как о музее Барнума, и ваше объявление взбудоражило всю прибрежную часть. Это не совсем удобно, потому что я именно теперь немножко притаился; и, во всяком случае, прежде чем я приму судно, мне нужно выяснить себе все обстоятельства.

Пинкертон рассказал ему всю историю, начав с деловой точностью и мало-помалу разгораясь до повествовательного экстаза. Нэрс сидел и курил, не снимая шляпы и подчеркивая каждый новый факт сердитым кивком. Но его светло-голубые глаза выдавали его, заметно разгораясь.

– Теперь вы сами видите, – заключил Пинкертон, – что Трент, по всей вероятности, отплыл в Гонолулу; а чтобы нанять оттуда быстроходную шхуну на Мидуэй, потребуется лишь небольшая доля пятидесяти тысяч долларов. Вот тут-то мне и нужен настоящий человек! – воскликнул Джим с заразной энергией. – Разбившееся судно мое; я заплатил за него чистоганом; и если дойдет дело до драки, то я хочу, чтобы дрались не шутя. Если вы не вернетесь через девяносто дней, то говорю вам прямо, я лопну с таким треском, какого еще не слышали на этом берегу. Это дело жизни и смерти для мистера Додда и для меня. Похоже, что без драки на острове не обойдется;

и когда я услышал вчера ваше имя и увидел вас этим утром, я сказал себе: «Нэрс достаточно хорош для меня».

– Я вижу, – заметил Нэрс, изучая пепел на своей сигаре, – что чем скорее я буду с этой шхуной за Фараллонсом, тем приятнее будет для вас.

– Вы именно такой человек, о котором я мечтал! – воскликнул Джим, подскочив на постели. – В вас нет ни капли обмана.

– Ладно, – сказал Нэрс. – Теперь другой пункт. Я слышал что-то о суперкарге.

– Это мистер Додд, мой компаньон, – сказал Джим.

– Не вижу смысла, – сухо возразил капитан. – По-моему и одного капитана довольно.

– Не разочаровывайте меня, – ответил Пинкертон, – вы говорите, не подумав. Не стану же я поручать вам дела нашей фирмы? Думаю, нет. А ведь это не только плавание, но и торговая операция, которой заведует мой компаньон. Вы будете командовать судном, следить за разборкой разбившегося судна и распоряжаться работой матросов, и хлопот у вас будет по горло. Только условимся насчет одной вещи: все должно быть сделано к удовлетворению мистера Додда, потому что платит мистер Додд.

– Я привык давать удовлетворение, – сказал мистер Нэрс, густо покраснев.

– И здесь дадите! – воскликнул Пинкертон. – Я понимаю вас. Вы неподатливы, но зато действуете напрямик.

– Все-таки нужно выяснить положение, – возразил Нэрс, слегка смягчившись. – Я разумею мое положение. Я не намерен плавать за боцмана; довольно уж того, что я соглашусь вступить на это комариное судно.

– Ну, я вам говорю, – ответил Джим, подмигнув с неопределимым выражением, – с таким капитаном оно будет стоить трехмачтового корабля.

Нэрс усмехнулся; нетактичный Пинкертон еще раз одержал победу по части такта.

– Теперь еще один пункт, – сказал капитан, не обращая на это внимание. – Надо столкнуться с собственниками.

– О, предоставьте это мне; я ведь из кампании Лонггерста, – ответил Джим с неожиданным порывом тщеславия. – Всякий, кто хорош для меня, будет хорош для них.

– Кто же они? – спросил Нэрс.

– Мак-Интайр и Спиталь, – сказал Джим.

– А, хорошо, дайте мне вашу карточку, – сказал капитан, – вам нет надобности писать что-нибудь; Мак-Интайр и Спиталь у меня в кармане.

Хвастовство за хвастовство; так всегда выходило у Нэрса с Пинкертоном – двух тщеславнейших людей, каких я только знал. Восстановив таким образом себя в собственном мнении, капитан встал, и, кивнув головой на прощание, удалился.

– Джим, – воскликнул я, когда дверь за ним затворилась, – мне не нравится этот человек.

– Он подходит для вас, Лоудон, – возразил Джим. – Он типичный американский моряк – храбр как лев, находчив и горд с хозяевами. Человек, побивший рекорд.

– По части грубости на море, – сказал я.

– Говорите, что хотите, – воскликнул Пинкертон, – но мы встретили его в добрый час: я бы доверил ему жизнь Мэми!

– Кстати, а объяснение с Мэми? – спросил я.

Джим, натягивавший брюки, остановился.

– Это благороднейшая душа, какую только создавал Бог! – воскликнул он. – Лоудон, я хотел растолкать вас ночью, и надеюсь, вы не обидетесь, что я не сделал этого. Я застал вас спящим, и мне показалось, что вы совсем разбиты, так что я оставил вас в покое. А новости такие, что стоило разбудить вас; но даже вы, Лоудон, не почувствовали бы их так сильно, как я.

– Какие новости? – спросил я.

– Вот какие, – ответил Джим. – Я объяснил ей положение дел и сказал, что отказываюсь от женитьбы. «Значит, я вам надоела?» – говорит она, спаси ее Бог! Ну, вот, я опять объяснил ей, как обстоят дела, и шансы на банкротство, и необходимость вашего отъезда, и что я собирался пригласить вас дружкою, и все прочее. «Если я не надоела вам, – говорит она, – то я думаю, что есть только один способ устроиться. Обвенчаемся завтра, тогда мистер Лоудон может быть дружкою прежде, чем уйдет в море». Вот что она сказала, коротко и ясно, точно героиня

Диккенса. Напрасно я толковал о банкротстве. «Тем более вы будете нуждаться во мне», – сказала она. Лоудон, я об одном молю: поправить дело ради нее; я молился об этом ночью возле вашей постели – за вас, за Мэми и за себя; и – не знаю, верите ли вы в молитву, да я и сам немножко верующий, – но какой-то мир снизошел на меня, и, право, я думаю, что это был ответ. Никогда еще не было такого счастливого человека! Вы, да я, да Мэми; тройная связь, Лоудон. И она так любит вас, Лоудон, считает вас таким благовоспитанным и *distingue*, и так была довольна, что я пригласил вас дружкою. «Мистер Лоудон», – говорит она таким дружелюбным тоном. Потом сидела до трех утра, приспосабливая платье для свадьбы; мне так приятно было глядеть на нее и следить, как быстро ходит иголка, и говорить себе: «Вся эта торопливость, Джим, чтобы выйти за тебя замуж!» Я просто не мог поверить этому; это было точно волшебная сказка. Воспоминание о старых временах кружило мне голову; я был тогда так неотесан, так невежествен и так одинок, а теперь как сыр в масле катаюсь, и, убей меня Бог, если знаю, чем я это заслужил.

Так он изливал, с невинным многословием, обуревавшие его чувства; а я должен был вылавливать из этих бессвязных сообщений детали его нового плана. Они должны были обвенчаться в этот день; свадебный завтрак предполагался у Франка; вечером прощальное посещение «Норы Крейны», а затем нам предстояло пуститься: мне в мое плавание, Джиму в брачную жизнь. Если я и питал когда-нибудь недоброжелательное чувство к мисс Мэми, то простил ей теперь; так честно и хорошо, так смело и рискованно было ее решение. Небо подернулось свинцовыми тучами, и Сан-Франциско никогда еще (на моей памяти) не выглядел таким тусклым и кислым, таким серым и грязным, точно преждевременно состарившимся городом; но все время, пока я бегал по делам, то в гавани, то по шумным улицам, среди грубых звуков и безобразных зрелищ, в душе моей звучала точно тихая музыка мысль о счастье моего друга.

А денек действительно выдался хлопотливый. Наскоро позавтракав, Джим побежал в Сити-Голл и к Франку сделать нужные приготовления к свадьбе, а я поспешил к Джону Смиту позаботиться насчет припасов, а затем на «Нору Крейну» удостовериться, как идут дела. Она показалась мне еще меньше, чем вчера, вследствие контраста с различными большими судами. На ней уже царил отчаянная суматоха; пристань рядом была загромождена бочками, сундуками, ящиками, бухтами канатов, миниатюрными бочонками крупного пороха, – так что, казалось, никакая человеческая изобретательность не уместит всего этого добра на шхуну. Джонсон был в жилете, красной рубашке и панталонах из индейского коленкора; глаза его светились деятельностью. Я обменялся с ним двумя-тремя словами, затем поднялся на корму и спустился в главную каюту, где капитан сидел за вином с комиссионером.

Я с неудовольствием смотрел на маленькую каморку, которую мне в течение стольких дней предстояло называть своим домом. У правого борта было помещение для капитана; у левого две грязные каютки, одна над другой, примыкавшие за кормой к неопрятному буфету. Стены были желтые и сырые, пол черный и грязный; повсюду валялась солома, старые газеты и обломки ящиков; а в качестве украшений имелись только термометр, подаренный каким-то торговцем виски, да висячая лампа. Трудно было предвидеть, что не пройдет и недели, как я буду считать каюту веселой, светлой, уютной и даже просторной.

Я познакомился с комиссионером и его молодым другом, которого он привел с собою, чтобы, по-видимому, курить сигары; и когда мы выпили по стакану калифорнийского портвейна, чересчур сладкого и приторного для утреннего питья, он выложил на стол свои бумаги и созвал матросов. Они столпились в каюте и стояли, поглядывая то на потолок, то на пол, являя картину бараньего недоумения, с обычным видом желания и нерешимости плюнуть. Удивительный контраст с ними представлял китаец кок, спокойный, важный, выделявшийся опрятной одеждой, гидальго морей.

Вряд ли вам случалось когда-нибудь быть свидетелем последовавшего затем фарса. Законы о мореплавании в Соединенных Штатах составлены (благодаря неподражаемому Джо) в духе отеческой строгости и исходят из предположения, что бедный Джэк идиот, а противоположная сторона – мошенники и негодяи. Длинный и многословный список правил, своего рода корабельный билль о правах, должен быть прочитан отдельно каждому матросу. Я имел теперь удовольствие прослушать его пять раз кряду; и вы подумаете вероятно, что я хорошо ознакомился с их содержанием. Но комиссионер, почтенный человек, занимается этим не один год; и если мы

вспомним аналогичные случаи священнической службы, то не удивимся, что он отбарабанил правила *tempo prestissimo*, не переводя духа; так что я, несмотря на выработанное практикой внимание образованного человека, уловил только часть, матросы же ничего не уловили. Не браниться, отдавая приказания, не носить при себе ножей; Мидуэй-Айленд или любой порт может быть назначен хозяином; оставаться в море не дольше шести месяцев, в порту выплачивать жалованье: такова, кажется, была суть этих необычайно многословных правил. Кончив чтение, комиссионер каждый раз глубоко переводил дух, и, вернувшись к своей обычной манере разговора, приступал к делу. «Ну-с, любезнейший, – говорил он, – вы поступаете матросом за столько-то долларов золотой американской монетой. Подпишите вашу фамилию, если она у вас есть и если вы умеете писать». Затем, когда матрос подписывал фамилию (с несказанным трудом переводя дух), комиссионер записывал его приметы, рост и прочее, согласно официальной форме. В этом описании наружности он, по-видимому, руководствовался собственным инстинктом, так как я ни разу не заметил, чтобы он взглянул на описываемого. Впрочем, капитан помогал ему обычным комментарием: «Волосы голубые, глаза русые, нос пять футов семь дюймов, рост курносый» – шуточки, надо полагать, такие же старые, как американский флот, и, подобно таким же шуткам за бильярдом, повторяемые с неизменным удовольствием. Особенно разыгрался юмор при найме китайца кока, который был зачислен на судно под прозвищем «Уэн Ленг»<sup>25</sup>, заставившим его протестовать, а комиссионера самодовольно ухмыляться.

– Теперь, капитан, – сказал последний, когда матросы ушли и он свернул свои бумаги, – закон предписывает вам позаботиться о запасе белья для матросов и лекарствах.

– Надеюсь, я знаю это, – сказал Нэрс.

– Надеюсь, знаете, – ответил комиссионер и отправился восвояси.

Но когда он ушел, я обратился к Нэрсу с тем же вопросом, так как был уверен, что у нас нет с собой этих запасов.

– Ну, – проворчал Нэрс, – разве не лежат на пристани шестьдесят фунтов негритянской головы, да двадцать фунтов соли? Кроме того, я никогда не ухожу в плавание без запаса лекарств в дорожном мешке.

Действительно, в отношении врачебных средств мы были богаты. Капитан захватил с собой обычный запас снадобий, которые, как это водится у матросов, ежедневно принимал сам, проявляя крайнюю непоследовательность и переходя от Красной Микстуры Кеннеди к Белой, и от сассапарели Гуда к сиропу тетки Зейгель. Было у него, кроме того, несколько наполовину опорожненных бутылок без ярлыков, так что Нэрс определял их содержимое по запаху и по догадке. «Пахнет, будто средство против поноса, – говорил он, – надо попробовать, тогда узнаю». Но по части белья не было ничего. Так предписываются и не выполняются отечественные законы!.. И шхуна отплыла, подобно множеству своих соседей, подлежа штрафу в шестьсот долларов.

Эта характерная сцена, о которой я так долго распространялся, была только моментом этого дня деятельности и волнений. Чтобы снарядить шхуну для плавания и сыграть свадьбу между рассветом и сумерками, требуются героические усилия. Весь день Джим и я бегали и метались, то хохотали, то чуть не плакали, совещались о неожиданных затруднениях, устремлялись (с подготовленным сарказмом на устах) к какой-нибудь неаккуратной модистке, наведывались на шхуну и к Джону Смиту и на каждом углу вспоминали (благодаря нашим же объявлениям) о нашем отчаянном положении. Среди этой суеты я улучил время осмотреть с полдюжины витрин ювелиров, и мой спешно купленный подарок был принят благосклонно. В самом деле, это было, кажется, последним (хотя не самым маловажным) из моих дел, законченных прежде, чем старик-пастор, лысый и благодушный, вышел из своего жилища и проследовал в контору, где, в сгущающихся сумерках, при холодном мерцании «Тринадцати Звезд» и ярком блеске сельскохозяйственной машины Джим и Мэми были превращены в одно существо. Обстановка была нелепая, но сама сцена милая, оригинальная и трогательная: у наборщиков были такие приветливые лица и красивые букеты, Мэми держалась так скромно, а Джим – как мне описать бедного, преобразившегося Джима? Он начал с того, что отвел пастора в дальний угол конторы.

---

<sup>25</sup> Букв. «Одно легкое» (прим. перев.).

Не знаю, что он ему говорил, но имею основание думать, что он распространялся о собственном негодяйстве, так как говорил со слезами; а старик-пастор, искренне тронутый, утешал и ободрял его, и я расслышал фразу: «Уверю вас, мистер Пинкертон, немногие могут сказать то же о себе», – из чего заключил, что мой друг смягчил под конец свои самообвинения какой-нибудь законной похвалой. После этой исповеди Джим направился ко мне, и хотя не зашел дальше восторженного повторения моего имени и крепкого рукопожатия, но его волнение, подобно электрическому заряду, сообщилось и дружке. Наконец мы приступили к церемонии, все в растрепанных чувствах. Джим был вне себя, и сам священник обнаруживал сочувствие в голосе и жестах, а в заключение прочел отеческое наставление, поздравил Мэми (которую назвал «милочкой») со счастьем иметь такого превосходного супруга и заявил, что ему никогда не случилось венчать такую интересную парочку. Тут, в качестве нисходящего свыше благословения, явилась, *deus ex machina*, карточка Д. Б. Лонггерста, с поздравлениями и четырьмя дюжинами Перье-Жуэ. Бутылка была откупорена, священник предложил тост за здоровье новобрачной, ее подружки хихикнули и пригубили, я произнес веселый спич со стаканом в руке. Нобедный Джим не дотронулся до вина. «Не пейте, – шепнул я ему, – в вашем состоянии вы опьянеете, как сапожник». «Спасибо, Лоудон! – ответил Джим, пожимая мне руку, – вы опять спасли меня!»

Тотчас затем последовал ужин у Франка, сопровождавшийся несколько натянутые весельем; после чего, забрав половину Перье-Жуэ, – больше я не хотел взять, – мы отправились в наемном экипаже на «Нору Крейну».

– Какой милый кораблик! – воскликнула Мэми, когда ей указали нашу миниатюрную шхуну; а затем, подумав, обратилась к дружке: – И какой вы храбрый, мистер Додд, – отправляетесь в океан на такой скорлупке!

Я заметил, что это обстоятельство подняло меня в ее глазах.

«Милый кораблик» представлял зрелище ужасающей суматохи, а его экипаж – картину усталости и дурного настроения. Кок таскал ящики из каюты в лазарет, а четверо матросов, потные и угрюмые, передавали их один другому со шкафута. Джонсон на некоторое время заснул у стола, а капитан, сердито насупившись, курил сигару в своей каюте.

– Послушайте, – сказал он, вставая, – вы пожалеете, что приехали. Мы не можем остановить работу, если хотим отплыть завтра. Судно, снаряжающееся в плавание, не место для публики. Вы будете только мешать людям.

Я собирался ответить грубыми словами, но Джим, знакомый с натурой моряков, как вообще он был знаком со всем, что имело отношение к делам, поспешил умаслить капитана.

– Капитан, – сказал он, – я знаю, что мы здесь мешаем, и что у вас хлопот по горло. Но мне хотелось только, чтобы вы выпили с нами стаканчик вина, Перье-Жуэ, от Лонггерста, по случаю моей свадьбы и отъезда Лоудона – мистера Додда.

– Ну, ладно, – сказал Нэрс, – полчаса куда ни шло. Смена, эй! – прибавил он, обращаясь к матросам. – Ступайте на полчаса проветриться, потом будете работать живее. Джонсон, не раздобудете ли стул для леди!

Тон его был любезнее слов; но когда Мэми направила на него нежный огонь своих глаз и сообщила ему, что он первый морской капитан, с которым она встречается, «исключая, конечно, пароходных капитанов», – пояснила она, – выразила восхищение его мужеством, и, может быть (я предполагаю, что уловки дам те же, что и мужчин), дала ему почувствовать себя молодцом, наш медведь начал смягчаться и уже в виде оправдания, хотя все еще сердитым тоном, распространялся о своих затруднениях.

– Возни изрядно, – сказал он. – Половина припасов оказалась негодной; я сверну за это шею Джону Смитю. Потом явились две газетные бестии и добивались от меня справок, пока я не пригрозил им первым, что попало под руку; затем какой-то клоп миссионерского вида, желающий плыть в Райати или куда-то в другое место. Я сказал ему, что вышвырну его на пристань носком сапога, и он ушел с проклятиями. Только шхуну опакостил своим присутствием.

Пока Нэрс говорил это своим странным, отрывистым, сердитым тоном, Джим рассматривал его со спокойным любопытством, как нечто знакомое и в то же время курьезное.

– На пару слов, дружнице, – сказал он, внезапно обращаясь ко мне; затем вывел меня на палубу и прибавил:

– Этот человек будет нестись на всех парусах, пока у вас волосы не поседеют, но никогда не вмешивайтесь, не говорите ни слова. Я знаю его нрав: он скорее умрет, чем послушается совета; и если скажете ему что-нибудь, он сделает как раз наоборот. Я часто стесняюсь давать советы, Лоудон, и когда делаю это, то, значит, ничего другого не остается.

Маленькое заседание в каюте, начавшееся так неудачно, закончилось под смягчающим влиянием вина и женщины при наилучшем настроении и довольно весело. Мэми, в плюшевой шляпке Генсборо и шелковом платье темно-красного цвета, сидела как королева среди своих грубых собеседников. Страшный беспорядок каюты оттенял ее лучезарное изящество: просмоленный Джонсон пал перед ее волшебной красотой; она сияла в этом жалком помещении, как звезда; даже я, обыкновенно не принадлежавший к числу ее поклонников, под конец воспламенился, и сам капитан, хотя и не был в ухаживательном настроении, предложил мне увековечить эту сцену моим карандашом. Это было последним актом вечера. Как я ни торопился, но полчаса растянулись на три, прежде чем я закончил: Мэми была оттушевана вполне, остальные набросаны эскизно, себя самого художник изобразил с затылка и очень похоже. Но всего больше я постарался над Мэми, и это был мой главный успех.

– О! – воскликнула она. – Неужели я действительно похожа на это? Неудивительно, что Джим... – Она остановилась и прибавила: – Это так же красиво, как он добр! – эпиграмма, которая была оценена и повторялась, когда мы распростились и следили за удалявшейся парочкой.

Так наше прощание было заглушено смехом, и мы расстались прежде, чем я успел сообразить, в чем дело. Фигуры исчезли вдаль, шаги стихли на безмолвной набережной; на корабле матросы вернулись к работе, капитан к своей одинокой сигаре; и я наконец был один и свободен после долгого дня, полного хлопот и волнений.

У меня было тяжело на душе, быть может, под влиянием усталости. Я смотрел то на пасмурное небо, то на колеблющееся отражение ламп в воде, как человек, утративший всякую надежду и рассчитывающий найти убежище только в могиле. И вдруг мне представился «Город Пекин», плывущий со скоростью тринадцати узлов в Гонолулу, с ненавистным Трентом, быть может, и с таинственным Годдедаалем; и при этой мысли кровь взволновалась во мне. Казалось, о погоне и думать нечего; казалось, у нас нет никаких шансов, раз мы прикованы к месту и теряем драгоценное время на укладку жестянок с бобами. «Пусть себе явятся первыми! – думал я. – Пусть себе! Мы не заставим долго ждать себя!» И с этого момента я стал считать себя человеком опытным, хладнокровным, и только что не лелеял мысль о кровопролитии.

Но вот прекратилась работа в каюте, так что я мог улечься в постель; не скоро после этого сон посетил меня, а затем, спустя минуту (так, по крайней мере, мне показалось), я был приведен в сознание криками матросов и скрипом снастей.

Шхуна отчалила прежде, чем я вышел на палубу. В туманном полумраке брезжущего утра я видел тащивший нас буксир с рдеющими огнями и клубящимся дымом и слышал, как он бьет взбудораженные воды бухты. Передо мною на группе холмов громоздился освещенный город, казавшийся разбухшим в сыром тумане. Странно было видеть это ненужное освещение, когда звезды уже почти угасли и утренний свет был достаточно силен, чтобы показать мне и дать узнать одинокую фигуру, стоявшую на пристани.

Или не глаза, а сердце помогло мне узнать, чья тень виднеется в тумане среди фонарей набережной? Не знаю! Во всяком случае, это был Джим; Джим, явившийся взглянуть на меня в последний раз, и мы успели только обменяться прощальными и безмолвными приветствиями. Это было наше второе расставание, после которого мы поменялись ролями. Теперь я должен был разыгрывать аргонавта, обделывать дела, составлять планы и приводить их в исполнение, если бы понадобилось, ценою жизни; а ему предстояло сидеть дома, посматривать в календарь и ждать. Я знал, кроме того, другую вещь, которая меня радовала. Я знал, что моему другу удалось воспитать меня; что романтизм дела, если наша фантастическая покупка заслуживала этого названия, затронул наконец мою дилетантскую натуру; и когда мы плыли мимо туманного Гамалпайса и через бурливший проход из бухты, кровь янки пела и ликовала в моих жилах.

Выйдя из гавани, мы поймали, точно в угодку моим желаниям, свежий ветер с северо-востока. Мы не теряли времени. Солнце еще не взошло, когда буксир убрал канат, отсалютовал нам тройным свистом и повернул домой, к берегу, который начинал озаряться первыми лучами дня.

Никакого другого судна не было видно, когда «Нора Крейна» под всеми парусами начала свое долгое и одинокое плавание к разбившемуся судну.



## Глава XII «Нора Крейна»

Я люблю вспоминать радостную монотонность тихоокеанского плавания, когда встречные ветры не мешают ему и судно изо дня в день идет полным ходом. Горный пейзаж гонимых пассатами облаков, наблюдаемый (а в моем случае рисуемый) при всякой перемене освещения, – облаков, заслоняющих звезды, тающих при блеске луны, загораживающих пурпурную полосу зари, оседающих безобразной отмелью в сумерках рассвета или поднимающих в полдень свои снежные вершины между голубой кровлей неба и голубым полом моря; суетливый и рассудительный мирок шхуны с необычными сценами, дельфин, выскакивающий из-под бушприта, священная война акулам; рифление парусов перед шквалом, с повисшими над палубою матросами; сам шквал, замирание сердца, разверзшиеся хляби небесные; и облегчение, новая радость жизни, когда все прошло, солнце снова сияет и наш побежденный враг исчезает в виде темного пятнышка на подветренной стороне. Я люблю вспоминать и желал бы уметь воспроизвести эту жизнь, незабываемую, незапоминаемую. Память, которая обнаруживает такую мудрую неохоту записывать страдания, ненадежный летописец и в отношении продолжительных удовольствий: долго длящееся благополучие ускользает (точно вследствие своей массы) от наших мелочных методов запоминания. Часть нашей жизни завлакивается розовой непроницаемой дымкой.

Одну вещь, если можно положиться на мою летопись, я вспоминаю с восхищением. День за днем в позолоченной солнцем каюте термометр торговца виски показывал 84° (по Фаренгейту). День за днем воздух сохранял ту же неопишемую прелесть и нежность: мягкий, животворный и свежий, как здоровье. День за днем пламенело солнце; ночь за ночью сияла луна, или звезды выводили на смотр свой блистающий полк. Я испытывал духовную перемену или, скорее, молекулярное обновление. Я попал в мой родной климат и с сожалением оглядывался на сырые и холодные пояса, неправильно называемые умеренными.

– Два года этого климата да удобное помещение вытрясут весь мусор из человека, – говорил капитан. – Только здесь и можно быть счастливым. Один мой знакомый затерялся в этих местах; он плыл на угольном судне, которое загорелось на море. Он добрался до берега где-то на Мореплавателей<sup>26</sup> и писал мне, что покинет это место только ногами вперед. А он не беден, и отец его владеет береговым судном; но Билли предпочитает остров и горячие лепешки из плодов хлебных деревьев.

Какой-то голос подсказал мне, что я последую примеру Билли. Но где это было? «Нора Крейна» держала путь к северу, и возможно, что я бессознательно растянул на долгий период впечатление нескольких хороших дней, или, быть может, это чувство явилось у меня позднее, когда мы плыли в Гонолулу. В одном я уверен: моя преданность Тихому океану возникла раньше, чем я увидел какой-нибудь остров, достойный этого названия. Само море становилось желанным под таким небом; и когда дует попутный ветер, я не знаю лучшего места, чем палуба шхуны.

Если б не томительная тревога о результате плавания, то оно могло бы считаться наилучшей увеселительной поездкой. Мое физическое благополучие было завидное; эффекты моря и неба давали постоянную работу моей кисти; не было недостатка и в пище для ума, которую доставляло изучение характера моего своенравного друга капитана. Я называю его другом; но это значит сильно забегать вперед. Сначала он слишком пугал меня своими грубыми выходками, слишком донимал своим неровным настроением и слишком часто докучал мне своим мелким тщеславием, чтобы я мог видеть в нем что-нибудь, кроме креста, доставшегося на мою долю. Лишь постепенно, в редкие часы благодущия, когда он забывал (и заставлял меня забывать) слабости, которым был подвержен, я начал невольно питать к нему дружеское чувство. В конце концов, я стал смотреть на его недостатки с более великодушной точки зрения: я видел их на надлежащем

---

<sup>26</sup> Остров Мореплавателей в Тихом океане.

месте, как диссонансы в музыкальном произведении, и принимал, и находил их живописными, как мы принимаем в ландшафте курящуюся верхушку вулкана или нездоровую болотистую чащу и любимы ими.

Он был из состоятельной семьи штата Мэн и получил зачатки хорошего образования. Характер его с самого начала оказался неукротимым; и, кажется, этот недостаток был наследственным, так что вина разрыва падает не на него одного. В конце концов, он бежал в море, подвергся возмутительно жестокому обращению, которое, кажется, скорее закалило, чем просветило его; снова бежал на сушу в одном южно-американском порту; доказал свои способности и нажил деньги, хотя все еще оставался ребенком; попал в компанию воров и был обобран; пробрался в Штаты и однажды утром постучался в двери одной старой леди, фруктовый сад которой часто обворовывал в былое время. По-видимому, эта рекомендация не могла быть удовлетворительной, но Нэрс знал, что делал. Вид старого соседа-грабителя, трясущегося в лохмотьях у ее дверей, сама странность обращения затронули нежную струну в сердце старой девы. «Старушка всегда нравилась мне, – говорил Нэрс, – даже когда она выпроваживала меня из своего сада или грозила мне наперстком в окно, когда я, бывало, прохожу мимо; я всегда думал, что она предобрая старая дева. Ну вот, когда я пришел к ее дверям в то утро, я сказал ей это и что я умираю с голоду, она впустила меня к себе и накормила пирогом». Она одела его, отдала в ученье, затем снова поместила его на корабль в лучших условиях, принимала его у себя по возвращении из плаваний и завещала ему свое состояние. «Она была добрая старая дева, – говорил он. – Уверяю вас, мистер Додд, забавно было смотреть на меня и старую леди, когда мы беседовали в саду, а старик сердито смотрел на нас через забор. Она жила бок о бок со стариком, и, думаю, это-то и привело меня к ней. Я хотел ему показать, что хоть и дошел до последней крайности, но скорее пойду к черту, чем обращусь к нему. А ведь он к тому же ссорился со старухой из-за меня и фруктового сада; я думаю, это его бесило. Да, я был животное в молодости; но всегда любил старушку». С тех пор он с успехом, и не без приключений, занимался своей профессией; наследство после старухи досталось ему как раз во время плавания «Собирателя Колосьев», – он рассчитывал теперь обзавестись собственным судном, когда забудется эта история. Лет ему было, по-моему, около тридцати: сильный, энергичный мужчина, с голубыми глазами под густой шапкой волос цвета пакли, начинавшихся низко надо лбом; чисто выбритый, со впалыми щеками; хороший певец; хороший игрок на морском инструменте, гармонике; наблюдательный, толковый; когда хотел, очень любезный; когда же был не в духе – самая грубая скотина во всех морях.

Его обращение с матросами, его требовательность, его сварливость, его вечные придирки из-за пустяков, его вечные и грубые сарказмы могли бы вызвать бунт на невольничьем корабле. Случится, например, рулевому зазеваться, Нэрс рычит: «Ты... несчастный голландец с бараньей мордой, пинка тебе, что ли, дать, чтоб ты держал курс правильно? Смотри на компас, или я заставлю тебя прогуляться по кораблю носком моего сапога». Или, положим, какой-нибудь матрос замешкается на корме, куда был вызван минуту тому назад. «Мистер Даниэль, не будете ли вы любезны отойти от грота-реи?» – начинал капитан с убийственной вежливостью. «Благодарю вас. Быть может, вы будете любезны сообщить мне, какого черта вы делаете у меня на шканцах? Мне здесь не нужно такой дряни, как вы. Где боцман? Не заставляйте меня найти для вас работу, или я отыщу такую, что вы будете две недели валяться пластом». Подобные увещания, соединявшиеся с совершенным знанием своей аудитории, так что всякое оскорбление попадало в цель, произносились с такой угрожающей миной и с таким свирепым взглядом, что у злополучных подчиненных душа уходила в пятки. Слишком часто применялось насилие; слишком часто я слышал, видел и возмущался недостойной выходкой, а жертва, связанная законом, вставала и уходила, ошеломленная, затаив в сердце мысль о мести.

Может показаться странным, что я питал расположение к этому тирану. Может даже показаться странным, что я видел и допускал подобные безобразия. Но я был не такой уж цыпленок, чтобы вмешаться открыто, так как находил, что лучше допустить дурное обращение, чем поднять бунт, в котором половина людей погибнет, а другая уцелеет только для виселицы. Наедине же я постоянно протестовал.

– Капитан, – сказал я ему однажды, желая подействовать на его патриотизм, который был у него очень силен, – можно ли так обращаться с американскими матросами! Разве это по-американски – обращаться с людьми, как с собаками.

– Американцами? – возразил он сердито. – Вы называете этих голландцев и бродячих<sup>27</sup> американцами? Я провел четырнадцать лет в море, все время, кроме одного только плавания, под американским флагом, но еще ни разу не видел матроса американца. Были такие вещи в старые времена, когда из Бостона платили тридцать пять долларов жалованья; тогда корабли набирали команду и шли куда нужно. Но все это было и быльем поросло, и теперь на американском корабле плавают только отпетый. Вы не знаете, понятия не имеете. Большое удовольствие выходить на шканцы четырнадцать месяцев кряду, зная, что вам нужно исполнить свой долг, и что жизнь каждого зависит от вас; и ждать, что вас пырнут ножом при выходе из каюты, или сбросят вам на голову мешок с песком, когда вы садитесь в шлюпку, или столкнут вас в трюм, когда люки открыты в хорошую погоду. Тут забудешь о братолюбии и Новом Иерусалиме. Нет; хоть оно и некрасиво выглядит, но единственный способ командовать кораблем – это нагнать страху.

– Послушайте, капитан, – сказал я, – во всем есть различие. Вы знаете, что американские суда пользуются дурной славой; вы знаете как нельзя лучше, что если бы не высокое жалованье и хорошая пища, то ни один матрос не пошел бы на них; да и то иные предпочитают британское судно, скверную пищу и все прочее.

– О, лайм-джусеры<sup>28</sup>? – сказал он и улыбнулся, как будто припоминая что. – Это мне напоминает одну забавную историю. В 1874 году я плыл помощником на британском судне «Мэри» из Фриско в Мельбурн. Это была самая потешная в некотором смысле шхуна, на какой мне случилось плавать. Харч отчаянный: почти ничего съедобного, кроме лимонного сока; поглядишь на матросский обед – с души воротит; на свой – одно огорчение. Старик<sup>29</sup> был ничего себе, добрый малый, Грин по фамилии, – смирный, благодушный, старый пентюх. Но команда – самая негодная шайка, с какой мне приходилось когда-нибудь иметь дело, и всякий раз, когда я пытался мало-мальски поддать жару людям, старик вступался за них. В открытом море с капитаном не поспоришь; но будьте уверены, что я никому не позволил бы учить меня. «Вы даете мне приказания, капитан Грин, – сказал я ему, – и увидите, что я буду их исполнять; это все, что вы можете требовать! Вы увидите, что я исполню свой долг, – говорю ему, – но как я его исполняю, это мое дело; и не родился еще человек, который может давать мне уроки.» Ну-с, возни на этой «Мэри» было довольно с начала и до конца. Старик, понятно, не ладил со мной и настраивал против меня команду, так что мне приходилось драться чуть не на каждой вахте. Люди возненавидели меня и скрипели зубами, когда я проходил мимо. Наконец однажды я заметил, что дюжая скотина голландец колотит юнгу. Я на него, сшиб голландца с ног. Он встал, я опять его уложил. «Ну, – говорю, – если у тебя еще остался задор, говори, – и я сомну твои ребра в комок». Однако он образумился и не пикнул; лежит себе смирный, точно дьякон на похоронах; тут товарищи стащили его вниз вспоминать о родине. Однажды ночью нас изрядно потрепало под 25° южной широты. Кажется, мы все спали, так как первое, что я увидел, был сорванный фор-бом-брамсель. Я кинулся на нос, ругаясь ругательски, и когда поравнялся с фок-мачтой, что-то воткнулось мне в плечо, да там и завязло. Хватаю другой рукой – гарпун, клянусь Георгом!.. Эти скоты загарпунили меня, точно морскую свинью. «Капитан!» – кричу я. – «Что случилось?» – отвечает он. «Они загарпунили меня», – говорю. «Загарпунили? – отвечает он. – Что ж, я ожидал этого». «За такую штуку, – говорю я, – кое-кого из этих скотов надо прикончить». «Ну, мистер Нэрс, – говорит он, – ступайте-ка лучше вниз. Будь я одним из них, вам бы и не так еще досталось. И я не желаю больше слышать вашу ругань на палубе. Из-за вас я уже потерял фок-бом-брамсель, – говорит, – довольно с меня». Вот как этот старикашка Грин поддерживал своих помощников. Но подождите; главное-то еще впереди. Прибыли мы в Мельбурн довольно

---

<sup>27</sup> На жаргоне тихоокеанских моряков Dutchman (ныне «голландец», но на старо-английском языке означало немца) означает всех представителей тевтонской расы и балтийского побережья; scattermouch (Scatter – бродяжить, mouch – то же значение) – всех латинян и левантинцев.

<sup>28</sup> Lime-jucer от lime-juice, лимонный сок, употребляемый на судах от цинги (прим. перев.).

<sup>29</sup> Oldman, то есть капитан (прим. перев.).

благополучно, и вот старик говорит мне: «Мистер Нэрс, мне с вами плавать не с руки. Моряк вы отменный, слов нет; но вы самый неприятный человек, с каким мне случалось когда-нибудь плавать, а вашего языка и обращения с командой я не могу переваривать. Нам надо расстаться». Я не дорожил местом, можете быть уверены; но чувствовал себя обиженным, и раз он устроил пакость, то, думалось мне, и я могу устроить. Вот я и сказал, что съезжу на берег и посмотрю, как обстоят дела; съездил, нашел, что все в порядке, и вернулся обратно. «Собрали вы свои пожитки, мистер Нэрс?» – говорит старик. «Нет, – говорю я, – не знаю, расстанемся ли мы раньше Фриско; по крайней мере, мы должны сначала обсудить один пункт. Я готов распрощаться с ‘Мэри’, да не знаю, согласитесь ли вы уплатить мне жалование за три месяца вперед». Он сейчас за шкатулку с деньгами. «Сынок, – говорит, – я нахожу, что дешево отделался». Так-то он меня поддел.

Странно было, что человек рассказывает подобные вещи о самом себе да еще в середине нашего спора; но это было в характере Нэрса. Все удачные замечания, которые мне случалось делать в наших спорах, все правильные оценки его действий или слов я нашел много позднее тщательно записанными в его дневнике и поставленными (тут сказывалось чудачество этого человека) мне в заслугу. Я никогда не встречал такой странной натуры: рассудок в высшей степени справедливый, а в то же время нервы сдают от мелочного раздражения и все поступки обусловлены не рассудком, а эмоциями.

Таким же страшным казался мне характер его мужества. Не было человека храбрее: он приветствовал опасность; критическое положение (хотя бы наступившее внезапно) действовало на него, как укрепляющее средство. А между тем, с другой стороны, я еще не видел человека до такой степени нервного, до такой степени угнетенного возможностями, так упорно и угрюмо смотревшего на мир вообще и на жизнь моряка в частности с точки зрения неблагоприятных шансов. Все его мужество было в крови, не только холодной, но и замороженной рассудочными опасениями. Он предоставлял нашему маленькому суденышку бороться со шквалом, как знает, когда я уже начинал считать себя погибшим, а команда по собственной инициативе устремлялась по местам. «Так, – говорил он, – видно, на судне нет человека, который бы выдержал шквал так же долго, как я: пусть же не думают, что я не умею управляться со шхуной. Сдается мне, что я могу так же близко подойти к опасности, как всякий другой капитан этого корабля, пьяный или трезвый». А затем принимался жаловаться и выражать желание выйти невредимым из этого предприятия и распространяться об опасностях на море, о специальных опасностях оснастки шхуны, к которой он питал отвращение, о различных способах пойти ко дну, о чудовищном флоте кораблей, отпльвших от пристани в течение исторических времен, исчезнувших из глаз провожавших и уже не вернувшихся. «Ну, – прибавлял он в заключение, – сдается мне, что это беда небольшая. Не вижу, чего ради человеку так хочется жить. Если б еще я мог забраться на чью-нибудь яблоню и стать двенадцатилетним мальчишкой и уплетать краденые яблоки, тогда куда ни шло. Но какой смысл во всех занятиях взрослых – в мореплавании, политике, благочестивых делах и во всем прочем? Основательное, чистенькое потопление – довольно хороший исход для меня». Трудно себе представить более обескураживающий разговор для злополучного обитателя суши в бурную ночь; трудно себе представить что-нибудь менее подходящее для моряка, какими их предполагают и какими они обыкновенно бывают, чем это постоянное наигрывание в минорных тонах.

Но до конца плавания мне пришлось увидеть еще более резкое проявление угрюмого нрава этого человека.

Утром на семнадцатый день я вышел на палубу и застал шхуну под двойными рифами, бегущую довольно быстро по тяжело волнующемуся морю. Хрипящие пассаты и гудящие паруса были до сих пор нашим уделом. Мы уже приближались к острову. Мое сдерживаемое возбуждение снова начало одолевать меня; в течение некоторого времени моей единственной книгой был патентованный лаг, висевший за гакабортом, а моим единственным интересом – ежедневные наблюдения и отметки нашего черепашьего хода на карте. Первый же взгляд, брошенный на компас, и второй – на лаг – вполне удовлетворили меня. Мы держали наш курс; мы делали более восьми узлов с девяти часов вечера накануне, и я перевел дух с облегчением. Но затем что-то странное и хмурое в наружности моря и неба ужалило меня в сердце. Я заметил, что шхуна кажется еще меньше, чем обыкновенно, матросы что-то молчат и поглядывают на небо. Нэрс, находясь в мрачном настроении, не удостоил меня вниманием. Он тоже, по-видимому,

следил за ходом шхуны с напряженным и возрастающим беспокойством. Еще менее понравилось мне то обстоятельство, что за штурвалом стоял сам Джонсон и вертел его очень деятельно, часто с видимым усилием; порою, когда море, черное и грозное, набрасывалось на нас сзади, он быстро оглядывался и втягивал голову в плечи, точно человек, ожидающий удара. По этим признакам я заключил, что не все идет благополучно, и дал бы добрую пригоршню долларов за толковый ответ на вопросы, которые не решался задать. Если бы решился, невзирая на опасные признаки на лице капитана, то мне бы только напомнили о моем положении суперкарга – звание, к которому всегда относятся неласково, – и посоветовали, в самых неудобоваримых выражениях, отправляться вниз. Мне оставалось только справляться с моими смутными опасениями, как умею, пока капитану не заблагодарассудится объяснить мне, в чем дело, по собственной охоте. Это случилось скорее, чем я ожидал, – именно, когда китаец позвал нас завтракать и мы уселись друг против друга за узким столом.

– Послушайте, мистер Додд, – начал он, взглянув на меня как-то странно, – надо обсудить деловой вопрос. На море неспокойно вот уже два дня, а теперь поднялось такое волнение, которое не сулит ничего доброго. Барометр падает, ветер крепчает, и кто его знает, до чего он дойдет. Если я лягу в дрейф, мы можем уйти от шторма, но нас снесет Бог знает куда – например, к Мели Французского Фрегата. Если же я стану держать курс как сейчас, то мы будем у острова завтра после полудня и можем укрыться на подветренной стороне, если не удастся войти в бухту. Вам следует обсудить, что лучше: предоставить капитану Тренту большой шанс опередить нас или пойти на риск. Я должен вести корабль по вашему усмотрению, – прибавил он с ехидной усмешкой. – Пусть решает суперкарг.

– Капитан, – возразил я от всего сердца, – лучше риск, чем верная неудача.

– Вся жизнь состоит из риска, мистер Додд, – сказал он. – Но прибавляю одно: надо решать теперь или никогда; через полчаса сам архангел Гавриил не сможет положить нас в дрейф, если нарочно спустится для этого.

– Отлично, – сказал я, – держим к острову.

– Держим так держим, – ответил он; а затем набросился на завтрак и полчаса ел пирог и распространялся о том, как бы ему хотелось быть теперь в Сан-Франциско.

Когда мы вернулись на палубу, он сменил Джонсона у штурвала, – по-видимому, они не доверяли его никому из матросов, – а я остановился рядом с ним, чувствуя себя в безопасности поблизости от него и испытывая какую-то пугливую радость от всего окружающего и от сознания своей решимости. Ветер уже окреп и бушевал над нашими головами, издавая временами протяжный вой, от которого у меня душа уходила в пятки. Море преследовало нас немилосердно, то и дело бросаясь на приступ. Шканцы заливало водой, и нам пришлось затворить дверь в каюту.

– И все это, извольте видеть, ради долларов мистера Пинкертона! – неожиданно воскликнул капитан. – Много добрых молодцев погибло, мистер Додд, из-за дельцов, подобных вашему другу. Разве они беспокоятся о судне? Застраховано, я уверен в этом. А что значит жизнь матросов в сравнении с судьбой нескольких тысяч долларов? Все, что им требуется, это быстрота плавания да глупый олух капитан, вроде меня, готовый вести судно к гибели. А спросите, чего ради я это делаю!

Я убрался на другой конец корабля так поспешно, как только позволяла вежливость. Мне вовсе не нравился подобный разговор, да и направление мыслей, вызванное им, было не по нутру. Я рисковал собственной жизнью и подвергал опасности жизнь семерых других: ради чего, спрашивается? Ответ был ясен: ради очень большого запаса очень зловредного яда; и мне думалось, что если я вскоре попаду на перекрестный допрос перед судом Вечной Справедливости, то эта история вряд ли хорошо зарекомендует меня в глазах судей. «Все равно, Джим, – подумал я, – я делаю это для тебя».

К обеду я сбежал с палубы и сидел в уголке, одурелый, немой и ошалевший от ужаса. Отчаянные скачки бедной «Норы Крейн», мчавшейся как олень в борьбе за жизнь, швыряли меня туда и сюда между столом и койками. Над головой дикий шум шторма то и дело проносился в вихре смешанных голосов: ревуший ветер, скрипящие доски, хлещущие концы канатов, визгливые блоки и грохочущее море участвовали в этом концерте; а порою мне слышалась более пронзительная, более человеческая нота, господствовавшая над всеми звуками, точно вопль ангела, и мне казалось, что я знаю имя этого ангела, и что у него черные крылья. Казалось

невероятным, чтобы какое-либо существо человеческой породы могло долго выдержать варварское обращение моря, которое бросало его с горы на гору, трепало, колотило, выворачивало все органы и суставы, точно пытая ребенка. Не было доски, которая бы не вопила о пощаде; и видя, что шхуна все-таки продолжает держаться, я начинал чувствовать возрастающую симпатию к ее усилиям, возрастающее восхищение ее доблестным рвением, которое развлекало меня и порою заглушало мой страх за самого себя. Спасибо каждому работнику, который орудовал молотком над этой тонкой и крепкой скорлупой! Он работал не только для денег, но и для спасения человеческих жизней.

Весь остаток дня и всю последующую ночь я сидел в углу или лежал в своей койке, не смыкая глаз; и только по наступлении утра новая фаза моей тревоги заставила меня подняться на палубу. Никогда еще мне не случалось проводить время так уныло. Джонсон и Нэрс упорно сменяли друг друга у штурвала и по очереди спускались вниз. Первым делом каждый бросал взгляд на барометр, сердито тыкал в него пальцем и хмурился, так как он все время падал. Затем Джонсон, если это был он, доставал из буфета закуску и съедал ее стоя, ухватившись за стол, причем достаивал меня двумя-тремя фразами в своем обычном рыкающем тоне: «Чертовски холодная ночь на палубе, мистер Додд» или: «Эта ночь не для белоручек, могу вас уверить». Прodelав все это, он завалился в койку и спал свои два часа сном праведника. Но капитан не ел и не спал. «Вы здесь, мистер Додд? – говорил он после обязательной справки с барометром. – Ну, сынок, нам остается сто четыре мили (или столько-то) до острова, и мы идем, как умеем. Мы будем там завтра около четырех, или не будем, смотря по тому, как повернется дело. Вот какие новости. А теперь, мистер Додд, вот что я вам предложу: вы можете видеть, что я устал смертельно, стало быть, укладывайтесь опять в вашу койку». После этого покушения на остроумие он крепко закусывал сигару и проводил свою смену, поглядывая на лампу, среди облаков табачного дыма. Впоследствии он говорил мне, что чувствовал себя в это время счастливым, чего я никак бы не подумал.

– Видите ли, – говорил он, – ветер-то, собственно, нам не препятствовал, но море было пакостное, и барометр грозил нам бедой. Мы могли избежать ее, могли и влопаться. В таких крутых обстоятельствах всегда есть что-то величественное, что возвышает человека в его глазах. Мы ведь курьезные звери, мистер Додд.

Наступившее утро отличалось зловещей ясностью; воздух был тревожно прозрачен, небо чисто, линия горизонта рисовалась резко и отчетливо. Ветер и бурное море, окончательно взбеленившееся, неумоимо преследовали нас. Я стоял на палубе, трепеща от страха; казалось, я потерял власть над своим организмом; колени мои подгибались, когда шхуна ныряла в убийственную бездну; сердце замирало, когда черный вал обрушивался лавиной на палубу, и вода, а не пена, струилась потоком мимо моих лодыжек. У меня было лишь одно сильное желание: держать себя прилично, несмотря на свой страх, и, что бы со мною ни случилось, проявить характер. Правду сказал капитан: мы курьезные звери. Наступил завтрак, и я попытался проглотить немного горячего чая. Затем я, кажется, болтался внизу, стараясь убить время, поглядывая одуревшими глазами на барометр и спрашивал себя, какой может быть прок в наблюдениях, сделанных на корабле, летящем, как бомба, по бурному морю. Время тянулось монотонно; каждый поворот штурвала был опрометчивым, но необходимым экспериментом – опрометчивым, как охотник-солдат, идущий на приступ, необходимым, как скачок пожарного с горячей лестницы. Наступил полдень; капитан пообедал, чтобы подкрепиться для дневной работы, я – чтобы следить за ним; и наше положение было определено по карте с мелочной точностью, которая показалась мне почти жалкой и почти нелепой, когда я подумал, что в следующий раз смотреть на этот лист бумаги будет, вероятно, какая-нибудь любознательная рыба. Пробыло час, потом два, капитан хмурился и злился, и если мне случалось когда-нибудь замечать дремлющего убийцу, то этим человеком был он. Помоги Бог матросу, который вздумал бы не послушаться его.

Внезапно он обратился к помощнику, возившемуся со штурвалом.

– Два румба влево от носа, – сказал он и взялся сам за штурвал.

Джонсон кивнул головой, вытер глаза тыльной стороной мокрой руки, выждал, пока корабль стал подниматься на вершину волны, и, ухватившись за снасти грот-мачты, полез вверх. Я следил за ним, пока он взбирался все выше и выше, повисая при каждом резком толчке, карабкаясь вверх

в моменты затишья; наконец добрался до краспис-салинга и, охватив одной рукой мачту, стал всматриваться в сторону юго-запада. Спустя минуту он соскользнул вниз по бакштагу и стоял на палубе; он ухмыльнулся, кивнул, сделал пальцем утвердительный знак и минуту спустя уже действовал штурвалом, потный и задыхавшийся, с мокрым и улыбающимся лицом, а его волосы и фалды развевались по ветру.

Нэрс сходил вниз за своим биноклем и принялся молча исследовать горизонт; я последовал его примеру, пользуясь невооруженными глазами. Мало-помалу в этой белой пустыне вод я начал различать участок, где белизна сгущалась; небо над ним тоже казалось беловатым и туманным; и понемногу до моих ушей дошел звук, более глубокий и более страшный, чем завывание бури, – непрерывный, грохочущий шум прибоя.

Нэрс вытер бинокль рукавом и протянул мне, указывая направление рукой. Бесконечные ряды валов появлялись, исчезали, металась в кружке бинокля; иногда бледный уголок неба или резкая линия горизонта мелькали над волнами; и вдруг появился и исчез с быстротой ласточки, прежде чем я успел фиксировать его, предмет, за который мы так дорого заплатили и ради которого предприняли такое долгое плавание: мачты и снасти брига обрисовались на небе с флагом, развевающимся на грот-мачте, и с лоскутьями марселя, болтавшимися на рее. Я снова и снова с трудом разыскивал это видение. Никаких признаков земли не было видно; разбитое судно стояло между небом и морем – я никогда еще не видал до такой степени одинокого предмета; но когда мы подошли ближе, я заметил, что он защищен линией бурунов, тянувшейся в обе стороны и отмечавшей ближайший риф. Тяжелая пена висела над ними, как дым, на высоте нескольких сот футов, и грохот их последовательных взрывов напоминал канонаду.

Через полчаса мы подошли к ним вплотную; еще столько же времени огибали этот чудовищный барьер; и вот море незаметно стало утихать и судно пошло ровнее. Мы достигли подветренной стороны острова, как я могу назвать ради формы это кольцо пены, тумана и грохота; и, отдав один риф, повернули через фордевинд и направились в проход.

### Глава XIII

## Остров и разбитое судно

Все были рады-радешеньки. Это видно было по веселым и довольным лицам. Джонсон широко улыбался за штурвалом, Нэрс благодушно рассматривал карту острова, матросы толпились на носу, оживленно толкуя и жестикулируя: так очевидно было наше спасение, так привлекателен вид клочка земли после многих дней, проведенных в пустынном море! В довершение благополучия, в силу одного из тех лукавых совпадений, которые придают судьбе характер дурно воспитанного и злорадного школьника, – лишь только мы повернули корабль, ветер начал стихать.

Для меня, впрочем, это была только смена тревог. Избавившись от одного страха, я поддался другому; лишь только я убедился, что попаду в желанную гавань, как у меня явилась уверенность, что Трент побывал здесь раньше меня. Я взбирался по снастям, спускался на палубу и пристально всматривался в это кольцо кораллового рифа и бушующего прибоя и в окаймленную ими голубую лагуну. Два внутренних островка – Миддль-Брукс и Лоуэр-Брукс, как назвало их Адмиралтейство – обрисовывались теперь ясно: две низкие, заросшие кустарником полосы песка, каждая в милю или полторы длиной, разделенные узким каналом. Над ними, бесчисленные, как черви, кишачие в гнилом мясе, носились, трещали, кричали, звенели миллионы мелькающих птиц, белых и черных, главным образом черных. Со странным мерцанием этот вихрь крылатой жизни носился туда и сюда в ярких лучах солнца, то свертываясь в клубок, то раздаваясь и рассыпаясь на всю лагуну, так что я невольно вспоминал то, что мне случалось читать о катастрофах, случающихся во время туманов. Тонкая мгла стояла над рифом и прилегающей частью моря – пыль от прежних извержений, как подсказало мне воображение. А немного в стороне находился другой фокус центробежного и центростремительного полета: недалеко от линии оглушительного прибоя бриг «Летучее Облачко», плод работы стольких тружеников, воспоминание в жизни стольких людей, отражавшийся со своими высокими мачтами в водах отдаленнейших уголков моря, лежал с аккуратно убранными парусами (кроме изорванного марсея) и болтавшимся на грот-мачте красным лоскутом, символом старой Англии на морях, – лежал, успокоившись навсегда, в первой стадии разрушения. К нему подбиралась, как коршун, крепкая «Нора Крейна», явившаяся издалека поживиться его костями. И как я ни всматривался, я не мог заметить присутствия человека: не было видно никакой шхуны из Гонолулу с вооруженной командой, не курился дымок костра, на котором, как рисовала моя фантазия, Трент должен был жарить морских птиц. Судя по всему, мы успели вовремя, и я мог свободно перевести дух.

Я еще не пришел к этой утешительной уверенности, когда мы были уже у самой линии прибоя; лотовой стал на свое место, а капитан поместился на переднем краспис-салинге, чтобы указывать нам путь среди коралловых глыб лагуны. Все благоприятствовало нам: свет сзади, низко стоявшее солнце, все еще свежий и постоянный ветер и прилив, достигший высшей точки. Минуту спустя мы пролетели между двух бурунов; лотовой принялся бросать лот, капитан кричать сверху свои приказания, шхуна лавировать между опасными местами лагуны, и в начале первой вечерней вахты мы стали на якорь у северо-восточного конца Мидль-Брукс-Айленда, на глубине пяти фатомов. Паруса были убраны, шлюпки освобождены от разных запасов, хлама и снастей, которые накапливаются в них во время плавания, якорь перевезен на берег и палубы прибраны: на это ушло добрых три четверти часа, в течение которых я бесновался на палубе, точно человек, страдающий сильной зубной болью. Переход от бурного моря к сравнительной неподвижности лагуны произвел странное действие на мои нервы: я не мог сидеть спокойно; медлительность матросов, уставших как собаки от тяжелой работы на море, раздражала меня, как личное оскорбление, а нелепый гвалт морских птиц удручал, как панихида. Мне стало легче, когда я уселся в шлюпку с Нэрсом и двумя матросами, и мы двинулись наконец к «Летучему Облачку».

– Выглядит довольно жалко, правда? – заметил капитан, кивая на разбившееся судно, находившееся за полмили от нас. – Выглядит, как будто ей не нравится это помещение, и капитан



Трент обошелся с ней дурно. Поживее, ребята! – прибавил он, обращаясь к матросам, – а там можете отправиться на берег посмотреть птиц и покутить в городе.

Мы все засмеялись на эту шутку, и шлюпка стала скользить быстрее по подернутой рябью лагуны. «Летучее Облачко» показалось бы маленьким в гавани Сан-Франциско, но оно было втрое больше «Норы Крейны», которая столько времени заменяла нам материк; и когда мы взбирались на него, оно произвело на нас впечатление горы. Оно лежало носом к рифу, где высокая голубая стена валов вечно взбиралась вверх и обрушивалась вниз; и чтобы попасть на его правый борт, мы должны были пройти под кормой. Руль был занесен на левый борт, и мы могли прочесть надпись: «Летучее Облачко», Гулль.

С другой стороны, у кормового уступа, висела веревочная лестница, по которой мы и взобрались на судно.

Это было вместительное судно с приподнятой кормой, возвышавшейся фута на три над палубой, и маленькой рубкой для коек матросов и кухни, тотчас за фок-мачтой. На ней помещалась шлюпка, а две другие, побольше, на палубе с каждой стороны. Судно было окрашено в белый цвет с тропической экономией, снаружи и внутри, а стойки перил, обручи бака с пресной водой и прочее в зеленый, как мы убедились позднее. Теперь, когда мы впервые вступили на судно, все было скрыто под пометом бесчисленных морских птиц.

Сами птицы носились и орали среди снастей, и когда мы заглянули в кухню, вырвавшаяся оттуда стая заставила нас отступить... Вид у них был свирепый, клювы крепчайшие, и некоторые из черных были с орла величиной. Мы заметили на шкафуте ряд бочонков, полупогребенных в помете, и когда немного отчистили их, то убедились, что это бочонки с водой и съестными припасами, без сомнения собранные здесь раньше, чем показалась «Буря», когда у Трента и его матросов имелась в виду лишь одна перспектива: отправиться в Гонолулу в шлюпках. Ничего больше нельзя было заметить на палубе; только оторванный марсель произвел некоторое опустошение в снастях, и куча оборванных веревок висела, раскачивалась и гудела при затихающем ветре.

С робостью, смахивавшей на благоговение, Нэрс и я спустились вниз. Винтовая лестница привела нас к перегородке, делившей корму на три части. Передняя часть представляла нечто вроде кладовой для разных запасов, с двойным отделением для кока (как предположил Нэрс) и младшего помощника. Задняя часть содержала в середине главную каюту, входившую дугою в кривизну кормы; на левой стороне кладовую и каюту для старшего помощника; и на правой стороне капитанскую каюту и ватерклозет. В эти помещения мы только заглянули, нас привлекала главная каюта. В ней было темно, потому что морские птицы загадили стекла люков своим пометом; пахло кислотой и гнилью, и носились целые рои мух, то и дело бившихся нам в лицо. Считая их постоянными спутниками человека и его объедков, я удивляюсь, как они нашли дорогу на Мидуэй-Риф; несомненно, какой-нибудь корабль завез их, и притом давно, так как они чрезвычайно размножились. Пол был усеян предметами одежды, книгами, морскими инструментами, разными безделушками, вообще всяким хламом, какого можно ожидать при опоражнивании сундуков нескольких моряков по случаю внезапной крайности и после долгого плавания. Странно было видеть в этой полутемной каюте, дрожавшей от грохота бурунов и оглашаемой криками птиц, столько вещей, принадлежащих людям, которые возились с ними, ценили их, носили на своем теле, – изодранное старое белье, шаровары странного вида, парусиновые пары разных степеней ветхости, клеенки, шкиперские куртки, склянки из-под духов, вышитые рубашки, шелковые жакетки – одежду для ночной вахты на море и для дневного времяпрепровождения на веранде в отеле; и перемешанные с ними книги, сигары, фантастические трубки, кучи табака, ключи, заржавленный пистолет, дешевые безделушки, бенаресские медные изделия, китайские чашки и картинки, бутылочки странной формы, завернутые в вату, предназначавшиеся, без сомнения, для домашних, быть может, живших в Гулле (родине Трента), где был построен корабль.

Затем мы обратили внимание на стол, по-видимому, накрытый к обеду, уставленный прочной корабельной посудой с остатками пищи: банка с пастилой, кофейная гуца в кружках, какие-то неузнаваемые остатки пищи, хлеб, несколько гренок и жестянка со сгущенным молоком. Скатерть, первоначально красного цвета, была испещрена бурыми пятнами, вероятно кофейными, на капитанском конце, а на противоположном – откинута; здесь стояла чернильница

и лежало перо. Стулья были расставлены вокруг стола в беспорядке, как будто обед уже кончился и собеседники курили и болтали; один из стульев, сломанный, валялся на полу.

– Смотрите-ка, они составляли шканечный журнал, – сказал Нэрс, указывая на чернильницу. – Захвачены врасплох, как водится. Любопытно знать, существовал ли такой капитан, у которого журнал был доведен до дня крушения. Обыкновенно им приходится заполнять пустое место за целый месяц, как приходилось Чарльзу Диккенсу в его периодических повестях. Ах, эти сосальщики лимонного сока! – прибавил он презрительно. – Пастила и гренки для самого! Грязные, неряшливые свиньи!

Эти критические замечания об отсутствующих неприятно задели меня. Я не питал симпатии к капитану Тренту или кому бы то ни было из исчезнувшей команды, но заброшенность и беспорядок когда-то обитаемой каюты произвели на меня тяжелое впечатление. Смерть творения рук человеческих так же печальна, как смерть самого человека; и от всего окружающего на меня веяло трагедией.

– Скверно здесь, – сказал я. – Пойдемте на палубу, там легче дышать.

Капитан кивнул головой.

– Да, тоскливо, – сказал он. – Но мне нужно сначала добыть какой-нибудь сигнал. Капитан Трент еще не был здесь, но явится в скором времени, и ему будет приятно увидеть сигнал на бриге.

– Нельзя ли вывесить официальное уведомление? – спросил я, увлеченный этой выдумкой. – В таком роде: «Продан для удовлетворения страховщиков, за подробностями обращаться к Дж. Пинкертону, Монтана-Блок, С. Ф.».

– Ну, – возразил Нэрс, – может быть, какой-нибудь старый корабельный квартирмейстер и сумеет передать это сигналом, если вы дадите ему на это день и фунт табаку для подкрепления. Но мне это не по силам. Я должен выбрать что-нибудь коротенькое и приятное: KB – настоящий сигнал, «Повернуть назад»; или LM, тоже настоящий, «Ваша стоянка не безопасна»; или, что вы скажете о PQH? – «Передайте моим хозяевам, что судно оправдало все ожидания».

– Это преждевременно, – заметил я, – но зато взбесит Трента. Я за PQH.

Мы нашли флаги в каюте Трента; Нэрс выбрал тот, который ему требовался, и мы вернулись на палубу. Солнце уже садилось, наступали сумерки.

– Эй, бросьте ее, дуралей! – гаркнул капитан матросу, который пил из бочки с пресной водой. – Это гнилая вода!

– Прошу прощения, сэр, – ответил матрос. – На вкус совсем свежая.

– Посмотрим, – сказал Нэрс и, взяв кружку, попробовал воду. – Да, в самом деле, – прибавил он. – Должно быть, загнила, а потом опять сделалась свежей. Странно, не правда ли, мистер Додд? Хотя я видел нечто подобное на мысе Горнер.

Что-то в его интонации заставило меня взглянуть ему в лицо; он поднимался на цыпочки, и оглядывался по сторонам, как человек, охваченный любопытством, и все его выражение и манеры говорили о каком-то подавляемом возбуждении.

– Вы сами не верите тому, что говорите! – заметил я.

– О, я знаю, что знаю, – ответил он, успокоительно дотрагиваясь до меня рукой. – Это вещь вполне возможная. Меня удивляет другое.

Он позвал матроса, отдал ему сигнальный флаг, а сам взялся за главный фал, дрожавший под тяжестью флага, развевавшегося наверху. Минуту спустя американский флаг, привезенный нами в шлюпке, заменил английский, а PQH развевался на фок-мачте.

– Теперь, – сказал Нэрс, следивший за вывешиванием своего сигнала с комической заботливостью американского моряка, – посмотрим, какова вода в лагуне.

Варварская какофония действующего насоса огласила шкафут, и потоки дурно пахнущей воды полились на палубу, промывая долины в птичьем помете. Нэрс прислонился к перилам, следя за потоком грязной воды, как будто в ней было что-нибудь интересное.

– Что вас занимает? – спросил я.

– Погодите, я вам скажу одну вещь, – ответил он. – Но есть и другая. Видите вы эти шлюпки: одну на рубке, две на стойках? Спрашивается, где шлюпка, которую Трент спускал, когда потерял матросов?

– Он поднял ее обратно на борт, я полагаю, – ответил я.  
– Идет, если вы объясните мне, зачем! – возразил капитан.  
– Так, может быть, была другая, – заметил я.  
– Могла быть еще одна, на грот-люке, не отрицаю, – согласился Нэрс, – но не вижу, зачем она могла ему понадобиться? Разве прогуливаться в лунную ночь и играть на гармонике.  
– В конце концов, ведь это не важно, – сказал я.  
– О, конечно, не важно, – ответил он, глядя через плечо на сбегаящую по желобам воду.  
– А долго мы будем продолжать эту возню? – спросил я. – Мы этак выкачаем всю лагуну. Капитан Трент сам сказал, что получил пробоину и носовая часть наполнилась водой.

– Сам сказал? – повторил Нэрс с многозначительной сухостью.  
Почти в ту же минуту вода иссякла, помпы перестали действовать и матросы опустили рукоятки.

– Вот, как вам это нравится? – спросил Нэрс. – Я вам говорю, мистер Додд, – продолжал он, понизив голос, но не изменяя своей удобной позы – бриг так же невредим, как «Нора Крейна». Я подозревал это раньше, чем мы вошли на борт, а теперь знаю.

– Это невозможно! – воскликнул я. – Какого же вы мнения о Тренте?  
– У меня нет никакого мнения о Тренте; я не знаю, лжец ли он или только старая баба; я просто говорю вам о факте, – сказал Нэрс. – И я скажу больше, – прибавил он. – Мне самому случилось садиться на мель в глубоководящих судах, я знаю, что говорю; я скажу, что после первого толчка, прежде чем бриг зарылся, семь-восемь часов работы могли бы освободить его, и всякий, кто хоть года два плавал по морю, должен знать это.

Я не мог удержаться от восклицания.  
Нэрс предостерегающе поднял палец.  
– Пусть они не знают об этом, – сказал он. – Думайте что угодно, но не говорите ничего.  
Я оглянулся кругом; сумерки сменились наступающей ночью; мерцание фонаря указывало место нашей шхуны; матросы, освободившиеся от работы, стояли на шкафуте, покуривая трубки, освещавшие их лица.

– Почему Трент не вывел судна? – спросил капитан. – Зачем ему понадобилось покупать его во Фриско за баснословную сумму, когда он мог сам привести его туда?

– Может быть, он не знал тогда его ценности, – заметил я.  
– Желаю, чтобы он знал его ценность теперь! – воскликнул Нэрс. – Как бы то ни было, я не хочу обескураживать вас, мистер Додд; я знаю, какая тревога у вас на душе, и вот что я вам скажу: я не терял времени, пока мы шли сюда; да и здесь намерен приняться за работу как следует. Мне хотелось бы успокоить вас, вам не придется жаловаться на меня.

Было что-то искреннее и дружеское в его голосе, и мы обменялись тем крепким, быстрым рукопожатием, которое так много значит у народов, говорящих на английском языке.

– Будем действовать, старина, – сказал он. – Мы пожали друг другу руки, как верные приятели, и вы увидите, что от этого моя работа пойдет не хуже. А теперь едем ужинать.

После ужина мы с ленивым любопытством мореплавателей отправились при лунном свете на берег и высадились на Мидль-Брукс-Айленде. Плоская отмель окружала его со всех сторон; средняя часть представляла чащу кустарников, из которых самые крупные были не выше пяти футов; в ней гнездились морские птицы. Мы пытались пробраться сквозь нее, но оказалось, что легче пройти через Трафальгар-сквер в день демонстрации, чем справиться с этими полчищами спящих птиц. Гнезда опрокидывались, яйца трещали под нашими ногами, крылья били нас по лицу, клювы угрожали нашим глазам, крик оглушал нас, наполнял весь остров и поднимался высоко к небу.

Не обойти ли нам остров берегом? – сказал Нэрс, когда мы отступили.  
Матросы были заняты сбором яиц, так что никто не последовал за нами.

Наш путь лежал по рыхлому песку у самой воды; с одной стороны чаща, из которой нас только что выставили, с другой лагуна, с широкой дорожкой лунного света, а за нею линия внешних бурунов, то темная, то блестящая, то поднимающаяся, то падающая. Побережье было усеяно обломками разбившихся судов и наносным лесом: несколько секвойевых и сосновых бревен, две мачты джонок, старн-пост европейского корабля – на все это мы смотрели не без серьезного участия, так как все это говорило об опасностях моря и о бедствиях потерпевших

кораблекрушение. В этом тревожном настроении мы обошли остров, поглядели на южную оконечность его соседа, прошли по западной стороне в тени кустарников и снова вышли на лунный свет на противоположном конце.

Вправо от нас, на расстоянии полумили, чуть покачивалась на якоре шхуна. На берегу, на полмили ближе к другому концу, туча взлетающих птиц указывала то место, скрытое от нас кустарниками, где матросы со свойственной им ненасытностью продолжали собирать яйца. Вправо от нас, в небольшой песчаной выемке, лежала на берегу шлюпка.

Нэрс отшатнулся в тень кустарников.

– Что за чертовщина? – прошептал он.

– Трент, – ответил я с волнением.

– Чертовски глупо было с нашей стороны высаживаться на берег безоружными, – сказал он. – Надо, однако, узнать, в чем дело.

Лицо его было бледно, и голос выдавал сильное волнение. Он достал из кармана свисток.

– На случай, если придется сыграть арию, – заметил он с усмешкой, и, зажав его между зубами, выступил на освещенную лунной окраину, которую мы прошли быстрыми шагами, бросая кругом подозрительные взгляды. Ни один листок не шелохнулся; подойдя к лодке, мы убедились, что она брошена здесь давно. Это был восемнадцатифутовый вельбот обычного типа с веслами и уключинами. Два или три бочонка лежали на дне, один был вскрыт и распространял отвратительный запах; на них оказалось тоже новозеландское клеймо, что и на бочонках с мясом, найденных на бриге.

– Вот где оказалась шлюпка, – сказал я, – стало быть, одно из ваших недоумений устраняется.

– Гм! – произнес он.

На дне лодки скопилась вода. Он наклонился и попробовал ее.

– Пресная, – сказал он. – Дождевая вода.

– Это вас не удивляет? – спросил я.

– Нет.

– Так о чем же вы беспокоитесь? – воскликнул я.

– Не ясно ли, мистер Додд! – воскликнул он. – Вельбот, пять ясеневых весел и бочонок с протухшей свининой!

– Ну, что же это значит? – спросил я.

– Ну, вот что, – снизошел он до объяснения. – Мне вовсе нет надобности в четвертой шлюпке; но шлюпка этого типа венчает дело. Я не говорю, что это тип редкий в здешних водах; он обыкновенен, как грязь; торговцы пользуются им для береговых поездок. Но «Летучее Облачко»? Глубоководный бродяга, делающий рейсы между большими портами – Калькуттой, и Рангуном, и Фриско, и Кантон-Райвер? Нет, не выходит.

Мы говорили, облокотившись на планширь вельбота. Капитан стоял ближе к носу и лениво играл причальной веревкой, как вдруг какая-то мысль поразила его. Он стал перебирать веревку руками, уставившись на ее конец.

– Что-нибудь не в порядке? – спросил я.

– Знаете ли вы, мистер Додд, – сказал он каким-то странным тоном, – этот бакштов был перерезан! Моряк всегда отвязывает конец веревки, но этот был перерезан холодной сталью. Это вовсе не похоже на матросов, – прибавил он. – Пойдите-ка, я прилажу, куда следует.

– Но что же из всего этого следует? – спросил я.

– Из этого следует одно, – ответил он. – Из этого следует, что Трент лгун. Сдается мне, что история «Летучего Облачка» гораздо живописнее, чем он ее рассказывал.

Полчаса спустя вельбот лежал за кормой «Норы Крейны», а Нэрс и я улеглись по койкам, молчаливые и ошеломленные нашими последними открытиями.

## Глава XIV

### Каюта «Летучего Облачка»

Завтрашнее солнце еще не снялось с утренней мели: лагуна, островки, стена бурунов, начинавшая теперь оседать, ясно рисовались в розовеющем сумраке раннего утра, когда мы снова явились на палубу «Летучего Облачка»: Нэрс, я, помощник, двое матросов и дюжина светлых, девственных топоров, – явились воевать с массивной постройкой. Кажется, все мы чувствовали себя хорошо: так глубоко укоренился в человеке инстинкт разрушения, так увлекателен интерес охоты. Ведь нам предстояло теперь испытать, и притом в высшей степени, двойное удовольствие разрушения игрушки и игры в «Тепло и холодно» – забавы, которых мы не испытывали с младенческих лет. Игрушка, которую нам предстояло сломать, была глубоководное судно; спрятанная вещь, которую надо было отыскать, – огромное состояние.

Палуба была очищена и убрана, когда явилась шлюпка с завтраком. Я начал так подозрительно относиться к разбившемуся судну, что для меня было положительным облегчением заглянуть в трюм и убедиться, что он полон или почти полон рисом, упакованным в циновки по китайскому обычаю. После завтрака Джонсон и матросы принялись за груз, а Нэрс и я, выбив стекла в иллюминаторах и приладив виндзейль на палубе, принялись обыскивать каюты. Я не стану описывать работу наших первых дней, да и остальных, в том порядке, как она происходила, со всеми подробностями. Такое описание было бы возможно для нескольких офицеров и отряда матросов с военного корабля, сопровождаемых писцом, знакомым со стенографией. Для двух простых смертных, непривычных к употреблению топора и пожираемых желанием добиться результата, вся эта работа сливается в воспоминании в кошмар усилий, жары, спешки и недоумений: пот, градом льющийся с лица, возня крыс, испарения застоявшейся воды, щепки и осколки, летящие из-под топоров. Я удовольствуюсь изложением сути наших открытий скорее в логическом, чем в хронологическом порядке, хотя оба они практически совпадали, и мы кончили наше исследование кают прежде, чем могли удостовериться в характере груза.

Нэрс и я начали с того, что принялись вытаскивать на палубу и складывать в кучу у штурвала одежду, разные вещи, ковер, испорченные съестные припасы, жестянки с мясными консервами, словом, все что было в главной каюте. Затем мы обратили наше внимание на капитанскую каюту у правого борта. Пользуясь одеялами вместо корзин, мы перетасили на палубу книги, инструменты, одежду; затем Нэрс, ползая на коленях, принялся шарить под кроватью. Несколько ящиков манильских сигар вознаградили его поиски. Я открыл их, пробовал даже обрезать концы сигарных пачек, но тщетно – в них не нашлось запрятанного опиума.

– Ну, кажется, добрался наконец! – воскликнул Нэрс и, обернувшись на его голос, я увидел, что он вытащил тяжелую, обитую железом шкатулку, прикрепленную к переборке цепью с висячим замком. Он смотрел на нее не без торжества, которое мгновенно воспламенило и мою душу, но в то же время с каким-то придурковатым выражением удивления.

– Клянусь Георгом, оно в ваших руках! – воскликнул я и хотел пожать руку моему товарищу; но он или не заметил, или не захотел принять этого приветствия.

– Сначала посмотрим, что тут такое, – заметил он сухо. Затем, повернув шкатулку на бок, разбил замок несколькими ударами топора. Я присел рядом с ним, когда он снова поставил шкатулку как следует и поднял крышку. Не могу сказать, чего я, собственно, ждал; груда бриллиантов, быть может, удовлетворила бы меня; мои щеки пылали, сердце билось так, что, кажется, готово было лопнуть. И что же! Мы увидели только связку бумаг, аккуратно уложенных, и чековую книжку обычного образца. Я хотел снять крышку нижнего отделения, чтобы посмотреть, что находится под ней, но тяжелая рука капитана остановила мою руку.

– Стойте, хозяин! – сказал он. – Посмотрим, есть тут что-нибудь путное или только голландский хлам?

Он развязал пачку и принялся просматривать бумаги, с серьезным лицом и как будто умышленной медлительностью. Меня и мое нетерпение он, по-видимому, забыл, так как,

покончив с бумагами, сидел некоторое время, размышляя; свистнул раз или два, сложил бумаги, снова перевязал их и затем уже поднял крышку.

Я увидел сигарный ящик, перевязанный куском лены, и четыре холщовых мешка. Нэрс достал ножик, перерезал ленту и открыл ящик. Он был до половины наполнен соевыми.

– А мешки? – прошептал я.

Капитан распорол их один за другим, и поток серебряных монет разной чеканки полился на дно шкатулки. Не сказав ни слова, он принялся считать золото.

– Что это такое? – спросил я.

– Это корабельная казна, – ответил он, угрюмо продолжая свое занятие.

– Корабельная казна? – повторил я. – То есть деньги, на которые Трент вел плавание и торговлю? Тут же и его чековая книжка на владельцев? И он бросил это?

– Как видно, бросил, – сердито сказал Нэрс, продолжая считать; после этого я сидел молча, пока не кончился подсчет.

Тут оказалось триста семьдесят восемь фунтов стерлингов и около девятнадцати фунтов серебряной монетой; все это мы уложили обратно в шкатулку.

– Что вы думаете об этом? – спросил я.

– Мистер Додд, – отвечал он, – вы видите кое-что странное в этой штуке, но не все. Вас занимает монета, а меня бумаги. Знаете ли вы, что хозяин корабля распоряжается всеми наличными деньгами, выдает авансы матросам, получает деньги за фрахт с пассажиров и берет счета в каждом порту? Все это он делает, как доверенное лицо владельца, и его добросовестность доказывается полученными счетами. Я вам говорю, капитан корабля скорее забудет себя самого, чем эти счета, которые гарантируют его добросовестность. Я знал людей, которые тонули, стараясь спасти их, – и притом плохих людей; но это честь хозяина корабля. А здесь этот капитан Трент, которому незачем торопиться, которому ничто не угрожает, кроме свободного переезда на английском военном корабле, – бросает их все. Я не должен выражаться чересчур сильно, потому что факты, по-видимому, против меня, но это вещь невозможная.

Вскоре затем наступил час обеда, и мы ели на палубе, в угрюмом молчании, каждый ломая голову над разъяснением этой тайны. Я был до того поглощен размышлениями, что разбитое судно, лагуна, островки, визгливые морские птицы, знойное солнце, припекавшее мне голову, и даже мрачное настроение капитана, сидевшего рядом со мной, исчезли из моего сознания. Моя душа была черной доской, на которой я царапал и чертил гипотезы, сопровождая каждую из них живописными отчетами моей памяти, с картинами прошлого. В течение этой напряженной умственной работы я вспоминал и изучал лица одного достопамятного шедевра, сцены в салоне: и тут внезапно застал самого себя заглядывающим в глаза канаки.

– Во всяком случае, тут есть одна вещь, которую я могу выяснить вне всяких сомнений! – воскликнул я, оставляя обед и вскакивая. – Там был канака, которого я видел в баре с капитаном Трентом, субъект, которого газеты и корабельные отчеты превратили в китайца. Я намерен обшарить его помещение и выяснить это обстоятельство.

– Ладно, – сказал Нэрс. – А я побездельничаю еще немножко, мистер Додд, я порядком утомился и раскис.

Мы совершенно очистили три кормовых отделения судна; все добро из главной каюты и помещений капитана и помощника лежало грудой подле штурвала; но в переднем отделении с двумя каютами, в которых, по мнению Нэрса, помещались кок и боцман, мы еще ничего не тронули. Туда я и направился. Помещение выглядело совсем голым; несколько фотографий висели на переборке, одна из них неприличная; единственный сундук стоял открытый, и как все, найденные нами, был наполовину опустошен. Пачка двухшиллинговых романов доказала мне без всяких сомнений, что каюту занимал европеец; у китайца их не могло быть, да и самому просвещенному канаке, какого только можно представить себе в камбузе, они были бы не по плечу. Ясно было, стало быть, что кок помещался не здесь, и что мне следовало искать в другом месте.

Матросы выбросили гнезда и выгнали птиц из камбуза, так что я мог теперь войти туда беспрепятственно. Одна дверь была уже завалена рисом; в помещении было темновато, пахло гнилью, и носились тучи грязных мух; оно было брошено в беспорядке, или птицы за время своего пребывания здесь опрокинули вещи; пол, как палуба, пока мы ее не вымыли, исчезал под слоем

птичьего помета. У стены в заднем углу я нашел красивый сундук камфарного дерева, окованный медью, какие нравятся китайцам и матросам, и только им одним из всего населения Тихого океана. На основании его внешнего вида я не мог прийти к какому-либо заключению, а сам сундук, странное дело, был закрыт. Все остальные сундуки, как я уже сказал, были открыты, а содержимое их выброшено; то же оказалось позднее при осмотре матросских помещений; только этот сундук камфарного дерева составлял странное исключение: был не только закрыт, но и замкнут.

Я взялся за топор, без труда разбил плохой китайский замок и, как таможенный чиновник, запустил руки в содержимое ящика. Сначала я рылся в полотняных и бумажных вещах. Потом нащупал шелк, отозвавшийся оскоминой на моих зубах, и вытащил несколько лоскутьев, покрытых какими-то таинственными буквами. Я тут узнал в них постельные занавески, популярные у китайского простонародья. Не было недостатка и в дальнейших доказательствах: белье с причудливыми узорами, трехструнная китайская скрипка, шелковый платок с кореньями и травами, прибор для курения опиума и порядочный запас этого снадобья. Очевидно, кок был китаец; а если так, то кто же был Джоз Амалу? Или этот Джоз украл ящик раньше, чем поступил на судно под вымышленным именем? Это было возможно, как и все было возможно в этой чепухе; но подобное решение еще больше сбивало меня с толку. Почему же этот ящик был оставлен нетронутым и брошен, когда все остальные выворочены или увезены? И где Джоз добыл второй сундук, с которым (по сообщению клерка в гостинице) он отправился в Гонолулу?

– Ну, как *ваши* дела? – спросил капитан, которого я нашел развалившимся на груде натасканного нами платья. Ударение на местоимении, покрасневшее лицо капитана и сдержанное возбуждение в его тоне показали мне, что не мне одному повезло по части открытий.

– Я нашел в камбузе ящик китайца, – ответил я, – и Джоз (если тут был какой-нибудь Джоз) не потрудился даже захватить с собою свой запас опиума.

Нэрс, по-видимому, принял это совершенно спокойно.

– Да? – сказал он. – Теперь взгляните-ка на это и признайте себя побитым.

Он развернул передо мной на палубе два или три номера газеты, с размаху хлопнув по ним свободной рукой.

Я тупо смотрел на них, не чувствуя себя способным к новым открытиям.

– Взгляните на них, мистер Додд! – крикнул капитан резко. – Да взгляните же!

Он провел грязным пальцем по заголовку.

– «Сиднейский Утренний Вестник», ноября 26-го, что вы на это скажете? – крикнул он с возрастающей энергией. – А вам ведь известно, сэр, что на тринадцатый день после того как этот номер вышел в Новом Южном Уэльсе, корабль, на котором мы находимся, снялся с якоря в Китае? Как же мог «Сиднейский Утренний Вестник» попасть в Гонконг в тринадцать дней? Трент нигде не приставал, пока не попал сюда; он не упоминает о встрече с каким-нибудь кораблем. Стало быть, он нашел эту газету либо здесь, либо в Гонконге. Решайте сами, сынок! – воскликнул он и повалился на груду тряпья, как человек, утомленный жизнью.

– Где вы нашли их? – спросил я. – В этом черном чемодане?

– Именно, – сказал он. – Вам нет надобности шарить в нем. Там нет ничего, кроме карандаша да какого-то тупого ножа.

Я все-таки взглянул в чемодан и был вознагражден.

– Всякому свое, капитан, – сказал я. – Вы моряк и дали мне множество указаний; но я художник, и позвольте мне сообщить вам, что это так же странно, как и все остальное. Нож – это шпатель, которым очищают палитру, а карандаш «Уинзор и Ньютон», да еще ВВВ. Шпатель и карандаш ВВВ на торговом бриге! Это противно законам природы.

– Загвоздка изрядная, – заметил Нэрс.

– Да, – продолжал я, – карандаш тоже служил художнику, посмотрите, как он очинён, – не для писания, нельзя писать таким карандашом. Живописец, и прямехонько из Сиднея! Как он попал сюда?

– О, довольно естественно, – усмехнулся Нэрс. – Они зацепили его, чтоб он иллюстрировал их темную повесть.

Мы помолчали.

– Капитан, – сказал я наконец, – есть какая-то скверная загадка в истории этого брига. Вы говорили мне, что провели в море большую часть своей жизни. Вы должны были видеть немало темных дел на судах, а слышать еще больше. Что же здесь случилось? Страховка, разбой? *Что* тут творилось и *для чего*?

– Мистер Додд, – отвечал Нэрс, – вы правы, говоря, что я провел на море большую часть своей жизни. Вы опять-таки правы, думая, что мне известно много способов, какими пользуются недобросовестные капитаны, чтобы сплутовать, или поднадуть хозяев, или вообще устроить некрасивую штуку. Есть много способов, хотя не так много, как вы думаете; и ни один не подходит к случаю с Трентом. Трент и его штука ни на что не похожи – это факт бесспорный; в них нет никакого смысла, никакого толка, никакой истории – это какой-то дикий бред. И не очень-то полагайтесь на понятия сухопутных людей о кораблях. Известная актриса разъезжает не так публично, как корабль; ее меньше интервьюируют, о ней меньше врут, и за ней меньше гонятся всякого рода хлопотуны с медными пуговицами. И теряет корабль больше, чем актриса; он ведь капитал, а актриса только человек, если она человек. Порты всего мира кишат людьми, готовыми засадить капитана в исправительную тюрьму, если он не так светел, как доллар, и не так чист, как утренняя звезда; а возьмите вы Ллойда с его слежкой во всех углах трех океанов, да страховых пиявок, да консулов, да таможенных чертей, да лекарей. Чтоб получить понятие об этом, представьте себе сухопутного жителя, за которым следят полтора ста сыщиков или иностранца в деревне восточных штатов.

– Да, но в море? – сказал я.

– Вы меня из терпения выводите! – возразил капитан. – Ну что в море? Ведь придется же пристать в каком-нибудь порту? Нельзя же оставаться в море вечно, как вы полагаете? Нет. «Летучее Облачко» чепуха, если тут есть что-нибудь, то такое запутанное, что сам Джемс Г. Блэн не разберется; и я стою за то, что нужно действовать топором, изыскивать ресурсы этого феноменального брига, да поменьше суетиться, – прибавил он, вставая. – Тогда эти признаки музея редкостей исчезнут сами собой к нашему удовольствию.

Но, по-видимому, наши открытия на этот день кончились, и мы оставили бриг на закате солнца, не найдя больше ничего поразительного и не получив дальнейших разъяснений. Лучшее из добытого в каютах – книги, инструменты, шелка и редкости – мы увезли с собою в одеяле, чтобы заняться ими вечером; и после ужина, когда Джонсон начал партию в криббедж между правой рукой и левой, капитан и я развернули на полу одеяло и уселись рядышком разбирать и оценивать добычу.

Книги прежде всего привлекли наше внимание. Они были довольно многочисленны для «сосальщика лимонного сока» (как презрительно заметил Нэрс). Презрение к британскому торговому флоту горит в груди каждого торгового капитана-янки; так как на него не отвечают тем же, то я могу только предположить, что оно не лишено фактического основания; и, конечно, моряк «Старой Родины» не особенный охотник до чтения. Тем больше чести морякам «Летучего Облачка», у которых оказалась целая библиотека, литературная и профессиональная. Тут были пять путеводителей Финдлэя – все истрепанные, как то обыкновенно бывает с Финдлэем, и испещренные поправками и дополнениями, несколько книг по навигации, устав о сигналах и книга Адмиралтейства в оранжевом переплете, озаглавленная «Острова Восточной Части Тихого океана, т. III», судя по времени печатания – последний авторитет, со следами частого пользования описаниями Мели Французского Фрегата, островов Гарман, Кьун, Пирл и Рифов Гермеса, острова Лисянского, Океанического острова и места, где мы находились: Брукс или Мидуэй. Том «Опытов» Маколея и шиллинговый Шекспир составляли конец *belles lettres*; остальные были романы. Различные произведения мисс Бреддон – разумеется, «Аврора Флойд», проникшая на все острова Тихого океана, куча дешевых сыскных романов, «Роб Рой», «Auf der Höhe» Ауэрбаха на немецком языке и нравоучительная повесть на премию, похищенная (судя по штемпелю) в какой-то англо-индийской библиотеке для чтения.

– Адмиралтеец дает верную картину острова, – заметил Нэрс, просматривавший описание Мидуэй-Айленда. – Он довольно снисходительно отзывался о его пустынности, но, видимо, знает это место.

– Капитан, – воскликнул я, – вы коснулись другого пункта в этой нелепой истории. Посмотрите, – продолжал я горячо, вытаскивая из кармана смятый клочок «Daily Occidental»,



взятый мною у Джима. «Введенный в заблуждение путеводителем по Тихому океану Гойта»? Где же Гойт?

– Заглянем в него, – сказал Нэрс. – Я нарочно захватил с собой эту книгу.

Он достал ее с полки своей каюты, развернул на Мидуэй-Айленд и прочел вслух описание. Тут было сказано, что Компания Тихоокеанских Пароходов решила устроить на этом острове склад и уже имеет на нем станцию.

– Желал бы я знать, кто доставляет справки авторам этих указателей, – произнес Нэрс. – После этого никто не может упрекнуть Трента. Мне еще не попадалось такого наглого вранья.

– Все это прекрасно, – сказал я, – это ваш Гойт, отличный экземпляр. Но где же Трентов Гойт?

– Взял с собой, – ухмыльнулся Нэрс, – бросил деньги, счета и все остальное; но что-нибудь надо было захватить с собой, чтоб не возбудить подозрения на «Буре». «Счастливая мысль, – говорил он, – возьму Гойта».

– А не приходит вам в голову, – продолжал я, – что все Гойты в мире не могли ввести в заблуждение Трента, раз у него имелась эта красная Адмиралтейская книга, официальное издание, позднейшее по времени и особенно подробно описывающая Мидуэй-Айленд?

– Это факт! – воскликнул Нэрс. – И я бьюсь об заклад, что первый Гойт, которого он увидел, находился в книжном магазине в Сан-Франциско. Похоже, будто он нарочно привел сюда бриг, не правда ли? Но как соотносить это с баталией на аукционе? Вот в чем трудность этой чепухи с бригом; всякий может сочинить полдюжины теорий, которых хватит на шестьдесят или семьдесят процентов ее; но когда они сочинены, то оказывается, что до дна еще не хватает одного-двух фатомов.

После этого мы, помнится, занялись бумагами, которых оказалась большая связка. Я надеялся найти в них какие-нибудь разъяснения относительно личности Трента, но, в общем, мне пришлось разочароваться. По-видимому, он был аккуратный человек, так как все его счета были тщательно помечены и сохранены. Некоторые документы свидетельствовали о его общительности и склонности к умеренности даже в компании. Найденные нами письма, за одним исключением, представляли сухие записки торговцев. Исключение, за подписью Анны Трент, было довольно горячей мольбой о ссуде. «Вы знаете, какие бедствия мне приходится терпеть, – писала Анна, – и как я разочаровалась в Джордже. Хозяйка казалась искренним другом, когда я только что приехала сюда, и я считала ее истинной леди. Но с тех пор она показала себя в настоящем свете; и если вас не тронет эта последняя просьба, то не знаю, что станется с преданной вам...», следовала подпись. На этом документе не было ни даты, ни адреса, и какой-то голос подсказывал мне, что он остался без ответа! Вообще на судне оказалось немного писем, но в одном матросском сундуке мы нашли послание, из которого я приведу несколько фраз. Оно было помечено каким-то местечком на Клайде. «Мой дрожайший сын, – гласило оно, – уведомляем вас, что ваш дрожайший отец приказал долго жить, янв. двенадцатого. Ваш и милова Давида портрет висел над его кроватью, а мне велел сесть рядом. Садитесь все вместе, говорит, и посылает вам свое родительское благословение. Ох, милый мой сынок, зачем тебя и милово Давида не было здесь. Ему бы легче было отходить. Он говорил о вас об обоих всю ночь и так хорошо говорил, все вспоминал, как вы гуляли по воскресным дням. Сышши, говорит, мне ту песню, и хоша день был воскресный, я ему сыскала 'Роцу Кельвина', а он посмотрел бедняга на скрипку. И таково то мне горько стало, не играть ему больше на скрипке. Ох, мой желанный, вернись домой ко мне, теперь я одна одиношенька». Остальное были религиозные наставления, чисто условные. Я был поражен действием этого письма на Нэрса, которому передал его. Он прочел несколько слов, бросил письмо, потом снова подобрал его и проделывал это трижды, прежде чем добрался до конца.

– Трогательно, не правда ли? – сказал я. Вместо ответа Нэрс разразился грубым ругательством, и только полчаса спустя соблаговолил объясниться.

– Я вам скажу, почему это письмо меня так задело, – сказал он. – Мой старик играл на скрипке, и прескверно играл; одной из его любимых вещей было «Мучение» – помню, истинное мучение для меня. Он был свинья-отец, а я был свинья-сын; но вдруг мне вообразилось, что я хотел бы еще раз послушать его пиликатье. Понятно, – прибавил он, – я же говорю, что мы все скоты.

– Все сыновья, по крайней мере, – сказал я. – У меня такие же угрызения на совести, и мы можем на этом пожать друг другу руку.

Это мы и сделали (довольно нелепо).

Среди бумаг оказалось много фотографий, большей частью либо развязного вида молодых дам, либо старух, напоминающих о меблированных комнатах. Но одна из них оказалась венцом наших открытий.

– Не очень-то они милы, мистер Додд, – сказал Нэрс, передавая ее мне.

– Кто? – спросил я, машинально принимая большую фотографию и сдерживая зевок, так как час был поздний, день хлопотливый, и меня клонило ко сну.

– Трент и Компания, – ответил он. – Это фотография всей шайки.

Я поднес ее к свету довольно равнодушно; я уже видел капитана Трента и не испытывал желания любоваться им еще раз. Это была фотография палубы брига и его экипажа, рассаженного по обычному шаблону, матросы на шкафуте, командиры на корме. Внизу была надпись: «Бриг 'Летучее Облачко', Рангун» и дата, а над или под каждой отдельной фигурой имя.

Всмотревшись в фотографию, я вздрогнул; сон и усталость слетели с моих глаз, как от солнца туман исчезает над водами, и я ясно увидел группу незнакомцев. Надпись «Д. Трент, капитан» указывала на невысокого, худощавого человека с густыми бровями и окладистой седой бородой, в сюртуке и белых брюках; в петличке его торчал цветок; заросший густой растительностью подбородок выдавался вперед, и сжатые губы носили выражение решимости. Он мало походил на моряка: сухощавый, аккуратный человек, который мог бы сойти за проповедника какой-нибудь строгой секты; во всяком случае, это не капитан Трент, виденный мною в Сан-Франциско. Остальные также были мне незнакомы: кок, несомненный китаец, в характерном костюме, стоял в стороне, на ступеньках юта. Но, пожалуй, всех более заняла меня фигура с надписью: «Э. Годдедааль, старш. пом.». Он, которого я не видел, мог оказаться настоящим; возможно, что он был ключом и пружиной всей этой тайны; и я всматривался в его черты глазами сыщика. Он был высокого роста, по-видимому, белокур как викинг, волосы обрамляли его голову косматыми завитками, огромные усы торчали точно пара клыков какого-то странного животного. С этим мужественным обликом и вызывающей позой, в которой он стоял, не совсем гармонировало выражение его лица. Оно было дикое, героическое и женственное одновременно, и я не удивился бы, узнав, что он сентиментален, и увидев слезы на его глазах.

В течение некоторого времени я молча переваривал свое открытие, обдумывая, как бы подраматичнее сообщить о нем капитану. Я вспомнил о своем альбоме, достал его из каюты, где он валялся вместе с другими вещами, и отыскал мой рисунок, изображавший капитана Трента и уцелевших от кораблекрушения в баре в Сан-Франциско.

– Нэрс, – сказал я, – я вам рассказывал, как я увидел капитана Трента в салоне Фриско? Как он явился туда со своими матросами, в числе которых был канака с канарейкой? И как я видел его потом на аукционе, перепуганного насмерть и удивленного скачками цифр? Ну, вот человек, которого я видел, – с этими словами я протянул капитану рисунок, – вот Трент, бывший во Фриско, и трое его матросов. Найдите кого-нибудь из них на этой фотографии, вы меня очень обяжете.

Нэрс молча сравнил оба снимка.

– Ну, – сказал он наконец, – это все-таки, по-моему, облегчение: это как будто расчищает горизонт. Мы могли бы предположить что-нибудь подобное: число-то сундуков двойное.

– Разъясняет это что-нибудь? – спросил я.

– Это могло бы разъяснить все, – отвечал Нэрс, – кроме аукциона. Все бы выходило гладко как пасьянс, если бы не эта надбавка цены на разбитое судно. Тут мы натываемся на каменную стену. Во всяком случае, мистер Додд, дело нечисто.

– И похоже на разбой, – прибавил я.

– Похоже на ребус! – воскликнул капитан. – Нет, не обманывайте самого себя: ни моя, ни ваша голова недостаточно сильны, чтобы дать правильное название этому делу.

## Глава XV

### Груз «Летучего Облачка»

В дни моей юности я был человеком в высшей степени преданным идолам моего поколения. Я был обитатель городов, простак, одураченный так называемой цивилизацией; суеверный поклонник пластических искусств, горожанин и опора ресторанов. Был у меня в те дни приятель, до некоторой степени чуждый нашему кругу, хотя вращавшийся в компании артистов, человек, славившийся в нашем маленьком кругу своей галантностью, короткими штанами, колкими и меткими замечаниями. Он, обратив внимание на долгие обеды и растущие животы французов, которым я, признаться, немножко подражал, заклеил меня как «выращивателя ресторанного брюха». И мне думается, что он попал в точку; мне думается, что если бы мои дела шли гладко, я бы раздобыл телом как премированный бык, а душою превратился бы в существо, быть может, такое же пошрое, как многие типы bourgeois – в законченного или исключительного артиста. Вот любимое словцо Пинкертона, которое следовало бы написать золотыми буквами над входом в каждую школу искусств: «Вот чего я не могу понять, – почему вы не хотите делать ничего другого». Тупой человек создается не природой, а познается по степени поглощения одним-единственным делом. А особенно если это дело связано с сидячей жизнью, отсутствием приключений и бесславной безопасностью. Большая половина человека остается в таком случае без упражнения и развития; остальное расширяется и деформируется чрезмерным питанием, чрезмерной мозговой работой и духотой комнат. И я часто изумлялся бесстыдству джентльменов, которые описывают жизнь человеческую и судят о ней при почти абсолютном незнании ее необходимых элементов и естественного течения. Те, которые живут в клубах и мастерских, могут писать превосходные картины или очаровательные новеллы. Одного они не должны делать: они не должны высказывать суждение о судьбе человека, так как это вещь, с которой они не знакомы. Их личная жизнь есть поросль данного момента, которой суждено в превратностях истории отжить и исчезнуть. Вечная жизнь человека, проводимая под дождем и солнцем в грубых физических усилиях, остается по другую сторону, и вряд ли изменилась с самого начала.

Хотелось бы мне захватить с собой на Мидуэй-Айленд всех писателей и болтливых художников моего времени. День за днем несбывшиеся надежды, духота, неослабная работа, ночь напролет ноющие члены, ломота в руках, и ум, отуманенный физической усталостью. Обстановка, характер моего занятия, грубые речи и лица моих товарищей-тружеников, яркий день на палубе, вонючий полумрак внизу, крикливые мириады морских птиц, а сильнее всего ничем не смягчаемое чувство нашего отчуждения от современного мира, точно мы жили на несколько эпох раньше; день, возвещаемый не ежедневной газетой, а восходящим солнцем; исчезновение государства, церквей, населенных стран, войны, слухов о войне и голоса искусства – как в те времена, когда ничего этого еще не было выдуманно. Таковы были обстоятельства моего нового жизненного опыта, которые я заставил бы (если бы мог) разделить со мною всех моих собратьев и современников, чтобы они забыли временные модные течения и отдались единственной материальной цели под взором неба.

О характере нашей задачи я должен дать общее представление. Бак был завален разной корабельной утварью, трюм почти наполнен рисом, лазарет загроможден чаем и шелковыми материями. Все это пришлось перерыть, что составляло только часть нашей задачи. Трюм был сплошь устлан бревнами; часть его, где, быть может, помещались особенно нежные товары, была вдобавок обшита дюймовыми досками; а между бимсами в трюме имелись вставные филенки. Все это, равно как и переборки кают, да и сами бревна трюма, могло оказаться тайником. Поэтому необходимо было разрушить, как мы и сделали, большую часть внутренней обшивки и отделки корабля, а остальное исследовать наподобие того, как доктор исследует посредством выстукивания больные легкие. Если бревно или балка издавали пустой или подозрительный звук, приходилось браться за топор и рубить: работа тяжкая и неприятная, вследствие обилия сухой гнили в разбившемся судне. Каждая ночь видела новый натиск на останки «Летучего Облачка», новые бревна, изрубленные в щепы, и переборки, отодранные и сваленные в стороне, – и каждая

ночь видела нас так же, как раньше, далекими от цели нашего рьяного опустошения. Эти непрерывные разочарования не поколебали моего мужества, но сбивали с толку мой ум; и сам Нэрс становился молчаливым и угрюмым. Вечером, за ужином, мы проводили часок в каюте, большей частью молча: я дремал иногда над книгой, Нэрс угрюмо, но усердно сверлил морские раковины инструментом, который называется «скрипкой янки». Посторонний мог бы подумать, что мы в ссоре; на деле в этом тесном товариществе труда наша дружба росла.

Я был поражен в самом начале нашего предприятия на разбившемся судне готовностью матросов повиноваться малейшему слову капитана. Не решаюсь сказать, что они любили его, но, во всяком случае, они им восхищались. Ласковое слово из его уст ценилось выше, чем похвала и полдоллара от меня; если он вообще сменял гнев на милость, вокруг него царило оживленное веселье; и мне пришлось заключить, что его теория исполнения капитанских функций, если и была доведена до крайности, то опиралась на какое-нибудь разумное основание. Но даже страх и восхищение капитаном стали изменять нам под конец. Люди были утомлены безнадежными, бесплодными поисками и продолжительной напряженной работой. Они начинали отлынивать и ворчать. Взыскание не заставило себя ждать, но взыскания усиливали ропот. С каждым днем все труднее становилось заставить их выполнить дневную работу, и в нашем тесном мирке мы ежеминутно чувствовали недовольство наших помощников.

Несмотря на все старания хранить дело в тайне, цель наших поисков была как нельзя лучше известна всей команде; а кроме того, до нее дошли кое-какие сведения о несурзностях, так поразивших меня и капитана. Я мог слышать, как матросы обсуждали характер Трента и высказывали различные теории насчет того, куда спрятан опиум; и так как они, по-видимому, подслушивали нас, то я не считал зазорным навести уши, когда имел возможность подслушать их. Я мог, таким образом, судить об их настроении и о том, насколько они осведомлены относительно тайны «Летучего Облачка». Лишь после того как я подслушал таким образом несколько почти мятежных речей, мне пришла в голову счастливая мысль. Я обдумал ее ночью в постели, и наутро первым делом сообщил капитану.

– Что если я попытаюсь немножко подбодрить их обещанием награды? – спросил я.

– Если вы думаете заинтересовать их таким способом, то я ничего не имею против, – ответил он. – К тому же они вами наняты, и вы суперкарг.

Принимая во внимание характер капитана, эти слова можно было считать полным согласием, и соответственно тому команда была вызвана на корму. Никогда еще лоб капитана не хмурился так грозно. Все думали, что обнаружен какой-нибудь проступок и предстоит объявление примерного наказания.

– Слушайте, вы! – буркнул капитан через плечо, продолжая ходить по палубе. – Мистер Додд намерен предложить награду первому, кто отыщет опиум на этой развалине. Есть два способа заставить осла идти – оба хорошие, по-моему: один – побои, и другой – морковь. Мистер Додд хочет попробовать морковь. Ну, детки, – тут он в первый раз повернулся лицом к матросам, – если опиум не будет найден в течение пяти дней, вы можете прийти ко мне за побоями.

Он кивнул автору этого рассказа, который повел теперь речь.

– Вот что я предлагаю, – сказал я, – я назначаю сто пятьдесят долларов. Если кто-нибудь найдет это добро по собственному соображению, он получит сто пятьдесят долларов. Если кто-нибудь догадается, где оно запрятано, и правильно укажет место, он получит сто двадцать пять долларов, а остальные двадцать пять достанутся тому, кто найдет сокровище. Мы назовем это Ставкой Пинкертона, капитан, – прибавил я с улыбкой.

– Назовите его лучше Рычагом Великой Комбинации, – воскликнул он. – Слушайте, ребята, я повышу награду до двухсот пятидесяти долларов американской золотой монетой.

– Благодарю вас, капитан Нэрс, – сказал я, – вы хорошо поступили.

– С хорошими намерениями, – возразил он.

Предложение было сделано не напрасно; как только люди оценили величину награды и загудели, возбужденные удивлением и надеждой, как выступил китаец-повар с изящными поклонами и заискивающей улыбкой.

– Капитан, – сказал он, – моя служила Меликанском флоте два года; служила шесть лет пароходный буетчик. Знала все.

– Ого! – воскликнул Нэрс. – Знала все, в самом деле. Плут, наверное, подглядел эту штуку на пароходе. Что ж ты раньше не знала все, сынок?

– Моя думала, не будет ли награда, – отвечал кок, улыбаясь с достоинством.

– Откровенно сказано, – заметил капитан, – а теперь, когда награда назначена, ты и заговорил. Ну, говори же. Если укажешь верно, награда твоя. Валяй!

– Моя долго думала, – отвечал китаец. – Видела много маленьких циновок лиса; очень слишком много маленьких циновок лиса; шестьдесят тонна маленьких циновок лиса. Моя думала все время, может быть, много опиум в много маленьких циновок лиса.

– Ну, мистер Додд, что вы на это скажете? – спросил капитан. – Может быть, он прав, может быть, не прав. Похоже на то, что прав, так как в противном случае где же это снадобье? С другой стороны, если он неправ, то мы погубим даром полтора тонны хорошего риса. Вот пункт, который нужно обсудить.

– По-моему, тут нечего и думать, – сказал я. – Надо искать до конца. Рис ничего не значит, рис нас не выручит и не разорит.

– Я ожидал, что вы так взглянете на дело, – отвечал Нэрс.

Мы уселись в шлюпку и отправились на новые поиски.

Трюм теперь почти опустел; циновки были вынесены на палубу и загромождали шкафут и бак. Нам предстояло вскрыть и исследовать шесть тысяч циновок и погубить полтора тонны ценного продукта. Внешний вид работы этого дня был не менее странен, чем ее сущность. Каждый из нас, вооруженный большим ножом, атаковал груды циновок, вспарывал ближайшую, запускал в нее руку и высыпал на палубу рис, который нагромождался кучей, рассыпался, хрустел под ногами и в конце концов стекал по шпигатам. Над бригам, превратившимся таким образом в переполненный загром, мириады морских птиц сновали с удивительной дерзостью. Зрелище такого обильного корма взбудоражило их; они оглушали нас своими визгливыми голосами, носились среди нас, бились нам в лицо и клевали зерно из рук. Матросы с окровавленными от этих нападений лицами бешено оборонялись, рубили птиц ножами и снова рылись в рисе, не обращая внимания на крикливых тварей, которые бились и умирали у них под ногами. Мы представляли странную картину: реющие птицы, тела убитых птиц, окрашивающие рис своей кровью; шпигаты, извергавшие зерно; люди, увлеченные погоней за богатством, работающие и убивающие с громкими криками; а надо всем этим паутина снастей и лучезарное небо Тихого океана. Каждый матрос работал из-за пятидесяти долларов, а я из-за пятидесяти тысяч.

Около десяти часов утра эта сцена была прервана. Нэрс, только что вскрывший новый мешок, высыпал к своим ногам вместе с рисом обернутую бумагой жестянку.

– Вот оно! – гаркнул он.

Все матросы отвечали криком. В следующий момент, забывая в этом заразительном чувстве успеха о собственном разочаровании, они троекратно гаркнули ура, распугав птиц, а затем столпились вокруг капитана и запустили руки в только что вскрытую цинковку. Жестянка за жестянкой стали являться на свет Божий, всего шесть, завернутые в бумагу с китайскими буквами.

Нэрс повернулся ко мне и пожал мне руку.

– Я начинал думать, что мы никогда не дождемся этого дня, – сказал он. – Поздравляю вас, мистер Додд.

Тон капитана глубоко тронул меня, и когда Джонсон и остальные в свою очередь столпились вокруг меня с поздравлениями, слезы навернулись мне на глаза.

– В этих коробках по пяти тазелей, – более двух фунтов, – сказал Нэрс, взвешивая их в руке. – Скажем, двести пятьдесят долларов на цинковку. За дело, ребята! Мы еще до вечера сделаем мистера Додда миллионером.

Странно было видеть, с каким бешенством мы набросились на циновки. Матросам нечего больше было ждать; простая мысль о громадных суммах внушала им бескорыстное рвение. Циновки вскрывались и опорожнялись, мы стояли по колено в рисе, пот струился по нашим лицам и слепил нам глаза, руки невыносимо болели, но пыл наш не остывал. Наступил обед; мы слишком устали, чтобы есть, слишком охрипли, чтобы разговаривать, и тем не менее, кое-как покончив с обедом, были уже на ногах и снова принялись за рис. До наступления темноты не осталось ни одной неисследованной циновки, и мы оказались лицом к лицу с поразительным результатом.

Из всех необъяснимых вещей в истории «Летучего Облачка» эта была наиболее необъяснимой. Из шести тысяч циновок только в двадцати оказался опиум; в каждой одинаковое количество: около двенадцати фунтов, всего двести сорок фунтов. По последним бюллетеням в Сан-Франциско опиум стоил двадцать долларов фунт; но незадолго перед тем за него можно было получить в Гонолулу, куда он ввозился контрабандой, сорок долларов.

Итак, принимая высокую цифру Гонолулу, стоимость опиума на «Летучем Облачке» можно определить в десять тысяч, без малого, долларов, а по оценке Сан-Франциско почти в пять тысяч. А мы с Джимом заплатили за него пятьдесят тысяч. А Беллэрс хотел идти еще выше. Не нахожу слов, чтобы выразить мое изумление при таком результате.

Скажут, пожалуй, что мы еще не знали наверняка; на корабле мог оказаться какой-нибудь другой тайник. Можете быть уверены, что мы не упустили из виду этого соображения. Никогда никакой корабль не обыскивался так тщательно; все было пересмотрено по бревнышку, ни один прием не упущен из виду; изо дня в день, с возрастающим отчаянием, мы копали и рылись во внутренностях брига, поощряя матросов подарками и обещаниями; из вечера в вечер мы с Нэрсом сидели друг против друга, ломая головы, где бы еще поискать. Я мог поручиться спасением души за несомненность результата: во всем этом корабле не оставалось ничего ценного, кроме дерева и медных гвоздей. Таким образом наше жалкое положение было совершенно ясно: мы заплатили пятьдесят тысяч долларов, взяли на себя издержки по снаряжению шхуны, обязались уплатить фантастические проценты, и в самом благоприятном случае могли реализовать пятнадцать процентов затраченной суммы. Мы были не просто банкроты, мы были комические банкроты – отличная мишень для насмешек улицы. Надеюсь, что я выдержал этот удар стойко; моя душа давно успокоилась, и со дня нахождения опиума я ждал этого результата. Но мысль о Джиме и Мэми терзала меня как физическая боль, и я избегал разговоров и общества.

Я был в этом подавленном настроении, когда капитан предложил мне съездить на остров. Я видел, что он хочет поговорить со мной, и боялся только, чтобы он не вздумал утешать, так как я мог выносить свою беду, а не неуклюжее сочувствие; однако мне оставалось только согласиться на его предложение.

Мы долго шли молча вдоль берега. Солнце над нашими головами струило раскаленные лучи; сверкающий песок, ослепительная вода лагуны резали глаза; крики птиц и отдаленный гул бурунов сливались в дикую симфонию.

– Мне нет надобности говорить вам, что игра проиграна? – спросил Нэрс.

– Нет, – сказал я.

– Я думаю завтра отплыть, – продолжал он.

– Лучшее, что мы можем сделать, – согласился я.

– В Гонолулу? – осведомился он.

– О, да, будем держаться программы, – воскликнул я. – Идем в Гонолулу.

Мы помолчали, затем Нэрс откашлялся.

– Мы были довольно хорошими друзьями, мистер Додд, – начал он. – Мы прошли через такое дело, которое испытывает человека. Мы проделали чертовски тяжелую работу, нам не везло, и мы потерпели поражение. Все это мы выдержали, не жалуясь. Я не ставлю этого в заслугу себе: это мое ремесло; мне за него платят, я к нему приучен практикой и воспитанием. Но вы совсем другое дело; для вас все это было ново, и мне приятно было смотреть, каким вы молодцом держались и действовали изо дня в день. А затем видеть, как вы приняли это разочарование, хотя всякий понимает, как оно вас подвело! Надеюсь, вы позволите мне сказать вам, мистер Додд, что вы вели себя во всей этой истории как нельзя более мужественно и хорошо, и заставили всех и каждого полюбить вас и восхищаться вами. Еще я желал сказать вам, что принимаю это дело так же близко к сердцу, как вы; что у меня сердце не на месте, когда я думаю о нашей неудаче; и если бы я думал, что, оставаясь здесь, мы чего-нибудь добьемся, то оставался бы на этом рифе, пока бы мы не подошли с голоду.

Я попытался было поблагодарить его за эти великодушные слова, но он моментально оборвал меня:

– Я пригласил вас на остров не затем, чтобы слушать похвалы себе. Мы понимаем друг друга – это все, что требуется; и я надеюсь, что вы можете положиться на меня. Но я хотел поговорить о

более важном деле, которым теперь и займемся. Что мы сделаем с «Летучим Облачком» и всей этой темной историей?

– Я, право, еще не думал об этом, – ответил я, – но надеюсь добраться до сути дела; и если этого поддельного капитана Трента можно еще найти на земной поверхности, постараюсь разыскать его.

– Для этого вам нужно только пустить в ход язык, – сказал Нэрс, – вы можете поднять трезвон на весь мир; нечасто репортерам достается такая пожива, и я могу вам сказать, как пойдет дело. Пойдет по телеграфу, мистер Додд; будут телеграфироваться целые столбцы, отмечаться жирными заголовками, раздуваться, опровергаться властями; и в конце концов поддельного капитана Трента захватят в каком-нибудь мексиканском баре, поддельного Годдедаала сцапают в какой-нибудь трущобе на Балтийском море, а Гэрди и Броуна прищемят в матросском мюзик-холле подле Гринока. О, без сомнения, вы можете отправить их на небо. Только вот загвоздка: здраво рассуждая, хотите ли вы этого?

– Ну, – сказал я, – здраво рассуждая, я не хочу одного: не хочу выставлять напоказ публике себя и Пинкертона, таких нравственных людей – привозящими контрабандой опиум; таких отборных ослов – платящими пятьдесят тысяч долларов за «дохлую клячу»!

– Без сомнения, это может повредить вам в деловом смысле, – согласился капитан, – и я рад, что вы становитесь на такую точку зрения, так как, по-моему, надо махнуть рукой на это дело. Сомнения нет, тут скрывается какая-то пакость; но если мы накинемся на трупку, то первые актеры удерут с добычей, и вы сцапаете только олухов, которые вряд ли сами могут разобраться в этой истории. Десять против одного, что, если вы поднимете суматоху, то сами пожалеете невинных, которым придется держать ответ. Другое дело, если б мы понимали, что тут произошло; но мы не понимаем, как вам известно. В жизни много чудного, и мое мнение не ворошить эту дрянь.

– Вы говорите так, как будто это в нашей власти, – возразил я.

– Да так оно и есть, – сказал он.

– А матросы-то? – спросил я. – Они знают добрую половину дела, и вы не можете завязать им рты.

– Не могу? – отвечал Нэрс. – А корабельный подрядчик, ручаюсь, может. Их всех можно подпоить, как только они высадутся, напоить вдрызг к вечеру, а утром отправить на разных кораблях. Не могу завязать им ртов, не могу? Зато могу сделать так, что они будут говорить поодиночке. Когда говорит целая команда, люди слушают; но когда говорит один какой-нибудь матросишка – это пустая болтовня. И, наконец, никто не услышит их рассказней раньше, чем через шесть месяцев или, если нам повезет и найдется сподручный киобой, – раньше трех лет. А к тому времени, мистер Додд, это будет старая история.

– Это называется «увозить в Шанхай»? – спросил я. – Я думал, что такие штуки проделываются только в романах с приключениями.

– О, в романах с приключениями много верного, – возразил капитан. – Только в них штуки нагромождаются гуще, чем то бывает в жизни.

– Стало быть, это дело может остаться между нами, – сказал я.

– Есть только одна особа, которая может проболтаться, – заметил он. – Хотя я не думаю, что у нее найдется что сказать.

– Кто же она? – спросил я.

– Та старая девка, – ответил он, указывая на разбившееся судно. – Я знаю, что на ней ничего нет, но у меня какой-то страх, что кто-нибудь – это последнее, чего можно ожидать, и, стало быть, первое, что может случиться, – кто-нибудь попадет на этот забытый Богом остров, куда никто не попадает, заберется на эту развалину, обыскивая которую мы успели состариться, и наткнется на что-нибудь, разъясняющее всю историю. Вы, может быть, спросите, какое мне до этого дело? И с чего это я так расчувствовался? Они разорили вас и мистера Пинкертона, прибавили мне седых волос своими загадками, они, без сомнения, сыграли какую-то штуку; вот и все, что я знаю о них, скажете вы. Да, но в том-то и дело. Я не достаточно знаю, не знаю самого главного; тут представляется такая масса разных возможностей, что я не хочу ворошить ее; и прошу вас позволить мне распорядиться со старой девкой по-свойски.

– Разумеется, делайте что хотите, – ответил я невнимательно, так как новая мысль завладела моим умом. – Капитан, – прибавил я, – вы ошибаетесь, мы не можем скрыть этого дела. Вы забыли одну вещь.

– Какую? – спросил он.

– Поддельный капитан Трент, поддельный Годдедааль, вся поддельная команда отправилась домой, – сказал я. – Если мы правы, ни один из них не достигнет цели плавания. Неужели вы думаете, что такое обстоятельство может остаться незамеченным?

– Моряки, – сказал капитан, – только моряки! Если б они все направлялись в одно место, тогда так, но ведь они разойдутся, кто куда – в Гуль, в Швецию, на Клайд, на Темзу. Что же особенного случится в каждом отдельном пункте? Ничего нового! Не хватает одного моряка: запил, или утонул, или брошен, – обычная участь.

Какая-то горечь в словах и тоне говорившего задела меня за живое.

– Хороша и наша участь! – воскликнул я, вскакивая, так как незадолго перед этим мы присели. – Как я... как я вернусь к Джиму с таким результатом?

– Послушайте, – сказал тактично Нэрс, – мне нужно на корабль. Джонсон на бриге собирает снасти и парусину, а на «Норе» нужно кое-что наладить к отъезду. Хотите побыть один в этом курятнике? Я пришлю за вами к ужину.

Я с радостью ухватился за это предложение. Риск получить солнечный удар или слепоту от раскаленного песка был не слишком дорогой платой за одиночество при моем состоянии духа; и вскоре я остался один на этом зловещем островке. Я затруднился бы сказать, о чем я думал, – о Джиме, о Мэми, о нашем утраченном состоянии, о моих утраченных надеждах, о предстоящей мне участи: заниматься какой-нибудь ремесленной работой в роли подчиненного и тянуть эту лямку в неизвестности и скуке, пока не наступит час последнего освобождения. Я так погрузился в свои унылые мысли, что не замечал, куда иду; и случай или какое-то тонкое чувство, которое живет в нас и руководит нами только в минуты рассеянности, направил мои шаги в ту часть острова, где птиц было мало. По какой-то извилистой дороге, которую я не мог бы найти на обратном пути, я поднялся на высшую точку острова. И здесь я пришел в себя благодаря последнему открытию.

С того места, где я стоял, открывался обширный вид на лагуну, окаймляющий ее риф и далекий горизонт. Ближе ко мне я видел соседний остров, разбившееся судно, «Нору Крейну» и шлюпку «Норы», уже направлявшуюся к берегу. Солнце стояло уже низко, воспаляя край моря, и камбузная труба дымилась на шхуне.

Таким образом, хотя мое открытие могло тронуть и заинтересовать меня, но мне было некогда заниматься им. Я увидел обуглившиеся остатки костра. По всем признакам, он пылал не один день и пламя поднималось на значительную высоту; остаток обгорелого бруса показывал, что костер раскладывали несколько человек; и мне разом представилась картина затерянной группы потерпевших кораблекрушение, бесприютных в этом забытом уголке мира, и поддерживающих сигнальный огонь. Минуту спустя меня окликнули со шлюпки, и, пробравшись сквозь кустарник и растревожив птиц, я простился (надеюсь, навсегда) с этим пустынным островом.



## Глава XVI

### В которой я становлюсь контрабандистом, а капитан казуистом

Последнюю ночь на Мидуэе я спал плохо; утром, когда взошло солнце и на палубе водворилась суматоха отплытия, я долго лежал и дремал; когда же наконец вышел на палубу, шхуна уже направлялась по проходу в открытое море. Под самым бортом высокая кайма бурунов крутилась вдоль рифа с чудовищным шумом; а за собою я увидел разбившееся судно, извергавшее в утренний воздух витую колонну дыма. Клубы его уже уносились далеко по ветру, пламя вырывалось из иллюминаторов, а морские птицы в изумлении реяли над лагуной. Когда мы отплыли подальше, пламя поднялось выше, и долго после того, как мы потеряли из виду всякие признаки Мидуэй-Айленда, дым еще висел над горизонтом, точно над далеким пароходом. Но вот исчезли его последние следы, и «Нора Крейна» снова очутилась в бесформенном мире воды и тумана. Резкие очертания суши, появившиеся одиннадцать дней спустя над линией горизонта, были бесплодными горами Оаху.

С тех пор я часто утешался мыслью, что мы уничтожили избочливающие остатки «Летучего Облачка», и часто мне казалось странным, что моим последним впечатлением и воспоминанием об этом роковом корабле был столб дыма на горизонте. Для многих, кроме меня, воспоминание о нем имело значение: иных оно обольщало несбыточными надеждами, других наполняло невообразимым ужасом. Но наш столб дыма был последним актом этой истории, и когда он развеялся, тайна «Летучего Облачка» сделалась достоянием лишь нескольких человек.

Утро чуть брезжило, когда мы увидели главный остров Гавайской группы. Мы шли вдоль берега, как можно ближе к нему, под свежим бризом и при ясном небе, мимо голых склонов гор и тощих кокосовых пальм этого несколько меланхоличного архипелага. Около четырех часов пополудни мы обогнули Вайманоло, западный мыс большой бухты Гонолулу, держались минут двадцать на виду, а затем снова ушли под ветер, и остаток дня лавировали, убавив паруса, под защитой Вайманоло.

Вскоре после наступления темноты мы еще раз обогнули мыс и осторожно прокрались к устью Пирль-Лохс, где, как мы условились с Джимом, я должен был встретиться с контрабандистами. К счастью, ночь была темная, море спокойное. Согласно инструкциям мы не несли огней на палубе; только с каждого крамбала был спущен красный фонарь, висевший фута на два над поверхностью воды. На конце бушприта был поставлен часовой, на краспис-салинге другой; вся команда толпилась на носу, высматривая врагов и друзей. Это был критический момент нашего предприятия; мы рисковали теперь свободой и репутацией, и притом за сумму, настолько ничтожную для человека, потерпевшего такое банкротство, что я готов был рассмеяться горьким смехом. Но пьеса уже шла, и нам оставалось разыгрывать ее до конца.

Некоторое время мы не видели ничего, кроме темных очертаний гористого острова, факелов туземных рыбаков там и сям у берега, и группы огней, которыми оповещает о себе город Гонолулу. Вдруг со стороны берега появилась красноватая звезда, по-видимому, приближавшаяся к нам. Это был условный сигнал, и мы поспешили дать ответный, опустив со шканцев белый огонь, погасив оба красных, и легли немедленно в дрейф. Звезда приближалась, плеск весел и звуки голосов донесли до нас по воде; наконец чей-то голос окликнул нас:

– Это мистер Додд?

– Да, – отвечал я. – Здесь ли Джим Пинкертон?

– Нет, сэр, – ответил голос. – Но здесь один из его клиентов, по имени Спиди.

– Я здесь, мистер Додд, – прибавил сам Спиди. – У меня есть письма для вас.

– Отлично, – ответил я. – Поднимайтесь на палубу, джентльмены, и позвольте мне взглянуть на мою корреспонденцию.

Вельбот подошел к шхуне, и к нам поднялись трое людей: мой старый приятель из Сан-Франциско, биржевой игрок Спиди; маленький сморщенный господин по имени Шарн и дюжий, цветущий, смахивавший на гуляку мужчина по имени Фоулер. Последние двое (как я узнал

позднее) часто действовали сообща: Шарн доставлял капитал, а Фоулер, пользовавшийся большим уважением на островах и занимавший видное положение, вносил предприимчивость, смелость и личное влияние, в высшей степени необходимое в таких делах. Кажется, оба увлекались романтической стороной дела; и, я думаю, она была главной приманкой, по крайней мере для Фоулера, который мне скоро понравился. Но в первую минуту я был слишком занят другими мыслями, чтобы обсуждать характеры моих новых знакомцев; и прежде чем Спиди успел достать письма, наша неудача обнаружилась во всем своем объеме.

– Мы привезли вам довольно плохие вести, мистер Додд, – сказал Фоулер. – Ваша фирма лопнула.

– Уже? – воскликнул я.

– Да, ведь и то удивлялись, что Пинкертон так долго держится, – был ответ. – Предприятие с разбившимся кораблем было чересчур громоздко для вашего кредита; вы бесспорно затеяли большое дело, но затеяли его с чересчур крохотным капиталом и должны были лопнуть при первом затруднении. Пинкертон отделался благополучно: платит семь за сто, сделаны кое-какие замечания, но опасаться нечего; пресса относится к нам снисходительно – кажется, Джим имеет там связи. Одно неудобно: история «Летучего Облачка» попала в печать со всеми подробностями; в Гонолулу все начеку, и чем скорее мы заберем товар и выложим доллары, тем лучше будет для всех участников.

– Джентльмены, – сказал я, – вы должны извинить меня. Мой друг, капитан этой шхуны, разопьет с вами бутылочку шампанского, чтоб скоротать время; я же не способен даже к обыкновенному разговору, пока не прочту этих писем.

Они попытались было возражать, и действительно опасность замедления казалось очевидной; но мое огорчение, которого я не сумел скрыть, подействовало на их добродушие, и меня оставили наконец в покое на палубе, где при свете фонаря, я прочел следующие печальные письма:

*«Дорогой Лоудон, – гласило первое, – это письмо будет передано вам вашим другом Спиди из Купара. Его безупречный характер и неизменная преданность вам делают его самым подходящим человеком для наших целей в Гонолулу; с тамошними компаньонами трудно иметь дело. Заправилой там некто по имени Билли Фоулер (вы, наверное, слышали о Билли); он играет роль в политике и умеет ладить с должностными лицами. Мне приходится туго, но я чувствую себя ясным, как доллар, и сильным, как Джон Л. Сьюлливан. Имея подле себя Мэми и зная, что мой компаньон спешит за море, а капитан дожидается нас на разбитом судне, я, кажется, мог бы жонглировать египетскими пирамидами, как фокусники алюминиевыми шарами. Мои искреннейшие молитвы следуют за вами, Лоудон, чтобы вы могли себя чувствовать так же, как я, – в полном восторге! Я ног под собою не чую, словно пловец. Мэми точно Моисей и Аарон, которые поддерживали руки другого индивидуума. Она увлекает меня как лошадь кабриолет. Я побиваю рекорд.*

*Ваш верный компаньон Дж. Пинкертон».*

Следующее письмо было совсем иного тона:

*«Дражайший Лоудон, как мне подготовить вас к этому жестокому известию? О, Боже мой, оно совсем огорошит вас. Определение состоялось, наша фирма обанкротилась без четверти двенадцать. Вексель Брэдли (на двести долларов) привел к концу эти обширные операции и вызвал предъявление обязательств на сумму свыше двухсот пятидесяти тысяч. О, стыд и срам, а вы уехали всего три недели тому назад! Лоудон, не браните вашего компаньона. Если бы человеческие руки и мозг могли тут что-нибудь подделать, я бы справился с делом. Но оно медленно расплзлось; Брэдли дал только последний толчок, но проклятое дело просто растаяло. Я вожусь с обязательствами, – кажется, предъявлены все, потому что трусы были*

*начеку, и требования посыпались точно как билеты на Патти. Я еще не подвел баланса и надеюсь, что мы рассчитаемся прилично. Если разбившийся корабль доставит хоть половину того, что он должен доставить, мы еще посмеемся. Я бодр и деятелен, как всегда, и справляюсь со всеми нашими затруднениями. Мэми держит себя молодцом. Я чувствую себя, как будто только я обанкротился, вы же и она чисты от всего этого. Торопитесь. Это все, что вам остается делать.*

*Весь ваш Дж. Пинкертон».*

В третьем тон еще более изменился:

*«Мой бедный Лоудон, – начиналось оно, – я работаю далеко за полночь, стараясь привести наши дела в порядок; вы не поверите, до чего они обширны и сложны. Дуглас Б. Лонггерст с юмором говорит, что куратору не обобратся хлопот. Я не могу отрицать, что некоторые из них смахивают на спекуляции. Не дай Бог человеку с чувствительной и утонченной душой, такой, как ваша, иметь дело с уполномоченным, исследующим банкротство; у этих людей нет искры человечности. Но мне легче бы было выносить все это, если б не комментарии печати. Как часто, Лоудон, я вспоминаю вашу вполне справедливую критику нравов нашей прессы. Газеты напечатали интервью со мной, совершенно не похожее на то, что я говорил, с шуточными комментариями; они возмутили бы вас до глубины души, они были просто бесчеловечны; я не стал бы писать таких вещей о последнем прохвосте, попавшем в такую переделку, как я. Мэми была возмущена; в первый раз за всю эту катастрофу она вышла из себя. Как поразительно справедливо то, что вы говорили еще в Париже по поводу задевания личностей. Этот молодец сказал...»*

Тут несколько слов было зачеркнуто, а дальше мой огорченный друг обращался к другому предмету:

*«Мне думать тошно о нашем активе. Он просто ничего не стоит. Даже „Тринадцать Звезд“, самое верное дело на нашем берегу, никого не прельщают. Разбившееся судно заразило порчей все, за что мы ни брались. А какой прок? Оно не покроеет нашего дефицита. Меня мучает мысль, что вы станете бранить меня; я помню, как я смеялся над вашими возражениями. О, Лоудон, не будьте строги к вашему несчастному компаньону. Я боюсь вашего прямодушия, как Божьего суда. Не могу ни о чем думать, кроме книг, которые как будто не совсем в порядке; впрочем, я, кажется, не так ясно разбираюсь в своих делах, как хотел бы. Или у меня размягчение мозга. Лоудон, если выйдет какая-нибудь неприятность, будьте уверены, что я поступлю честно и постараюсь обелить вас. Я уже говорил вам, что у вас нет деловой складки, и что вы никогда не заглядывали в книги. О, я уверен, что поступал правильно в этом отношении. Я знаю, что это была вольность, что вы можете быть в претензии, но нельзя было иначе. А ведь и дела-то все законные! Даже ваша чуткая совесть не нашла бы в них никакой фальши, если б они удались. ‘Летучее Облачко’ было самой смелой из наших афер, а ведь это была ваша идея. Мэми говорит, что не могла бы взглянуть вам в лицо, если б эта идея была моя: она так добросовестна!*

*Ваш огорченный Джим».*

Последнее начиналось без всяких формальностей:

*«Коммерчески я конченный человек. Я сдаюсь, моя энергия убита. Кажется, я должен радоваться, потому что мы увернулись от суда. Не знаю, не представляю себе, каким образом, – хоть убейте, ничего не помню. Если будет удача – я подразумеваю разбитое судно – мы уедем в Европу и будем жить на проценты с капитала. Работа для меня кончена. Я дрожу, когда люди говорят со мной. Я шел вперед, надеясь да надеясь, работая да работая, пока не надорвался. Я бы желал лежать в саду и читать Шекспира или Эдгара По. Не думайте, что это малодушие, Лоудон. Я больной человек. Мне нужен покой. Я работал как вол всю жизнь; никогда не щадил себя, каждый доллар, нажитый мною, я выковал из своего мозга. Я никогда не делал гадостей, жил честно, подавал бедному. Кто же имеет больше меня прав на отдых? И я надеюсь хоть на год отдыха, иначе слягу тут же и умру от горя и расстройства мозга. Не думайте, что я ошибаюсь, это так и есть. Если будет какая-нибудь пожива, **положитесь на Спиди**: постарайтесь, чтобы кредиторы не пронюхали о ваших делах. Я помог вам, когда вам приходилось плохо, теперь вы мне помогите. Не обманывайтесь, вы можете помочь мне теперь или никогда. Я служу конторщиком и **не в состоянии считать**. Мэми работает на пишущей машинке в Phoenix Guano Exchange. Свет погас в моей жизни. Я знаю, что мое предложение вам не понравится. Думайте только о том, что это вопрос жизни или смерти для Джима Пинкертон».*

*Р. С. Наша цифра была семь за сто. О, какое падение! Ну, ну, это беда непоправимая, я не хочу хныкать. Но, Лоудон, я хочу жить. Прочь честолобие; все, что я прошу, это жизни. Я служу конторщиком, и я негоден для этого дела, Я знаю, что выпроводил бы такого конторщика в сорок минут в свое время. Но мое время прошло. Я могу только цепляться за вас. Не выдайте Джима Пинкертон».*

В письме был еще постскрипtum, еще взрыв самосожаления и патетических заклинаний; а к письму был приложен отзыв доктора, довольно неутешительный. Я обхожу то и другое молчанием. Мне совестно показывать с такими подробностями, как добродетели моего друга расплавились в переживаниях болезни и бедствий; а о действии писем на мое настроение читатель может судить сам. Я поднялся на ноги, глубоко вздохнул и уставился на Гонолулу. На мгновение мне показалось, что наступает конец мира. В следующее мгновение я испытал прилив огромной энергии. На Джима я не мог больше полагаться, приходилось действовать на свой страх и риск. Я должен был решиться и делать то, что сочту лучшим.

Сказать это было легко, но дело с первого взгляда казалось неразрешимым. Я был охвачен жалким бабьим состраданием к моему сокрушенному другу; его вопли удручали мой дух; я видел его раньше и теперь – раньше непобедимым, теперь упавшим так низко, и не знал, как отвергнуть его просьбу и как согласиться на нее. Воспоминание о моем отце, который пал на том же поле незапятнанным, картина его памятника, вызвавшая без всякой видимой связи страх перед законом, ледяной воздух, которым точно пахнуло на мое воображение из тюремных дверей, воображаемый звон оков, побуждали меня к отрицательному решению. Но тут опять примешивались жалобы моего больного компаньона. Я стоял в нерешительности, чувствуя, однако, уверенность, что, выбрав путь, пойду по нему до конца.

Вспомнив, что у меня есть друг на корабле, я спустился в каюту.

– Джентльмены, – сказал я, – еще несколько минут; но на этот раз, к сожалению, мне придется заставить вас поскучать без сосебедника. Мне необходимо сказать несколько слов капитану Нэрсу.

Оба контрабандиста разом вскочили, протестуя. Дело, заявили они, должно быть сделано немедленно; они уже достаточно рисковали и теперь должны либо кончать, либо уходить.

– Выбор ваш, джентльмены, – сказал я, – но кажется, дело для вас подходящее. Я еще не уверен, что у меня найдется что-нибудь для вас; да если найдется, то нужно принять в соображение много обстоятельств; но могу вас уверить, что не в моих привычках решать дело с ножом, приставленным к горлу.

– Все это совершенно справедливо, мистер Додд; никто не желает принуждать вас, поверьте мне, – сказал Фоулер, – но прошу вас, примите в расчет наше положение. Оно действительно опасно, не мы одни видели, как ваша шхуна огибала Вайманоло.

– Мистер Фоулер, – возразил я, – я не вчера родился. Позвольте мне высказать мнение, которое, быть может, ошибочно, но за которое я твердо держусь. Если бы таможенные чиновники отправились за нами, они были бы уже здесь. Иными словами, кто-нибудь нам поворожил, и этот кто-нибудь (нетрудно догадаться) зовется Фоулер.

Оба расхохотались и, ублаженные второй бутылкой шампанского Лонггерста, предоставили капитану и мне уйти без дальнейших разговоров.

Я передал Нэрсу письма, и он пробежал их глазами.

– Ну, капитан, – сказал я, – мне нужен разумный совет. Что это значит?

– Дело довольно ясное, – отвечал капитан. – Это значит, что вы должны положиться на Спида, передать ему все, что только можете, и держать язык за зубами. Я почти жалею, что вы показали мне письма – прибавил он угрюмо. – Деньги с разбившегося судна да выручка за опиум составят изрядную сумму.

– То есть предполагаете, что я поступлю так? – сказал я.

– Именно, – ответил он, – предполагаю, что вы так поступите.

– Ну, тут есть pro и contra, – заметил я.

– Есть риск попасть в тюрьму, – сказал капитан, – и предполагая даже, что вы увернетесь от исправительного дома, все же останется скверный вкус во рту. Цифры достаточно крупны, чтобы наделать хлопот, но недостаточно крупны, чтобы быть живописными; и мне сдается, что человек всегда чувствует унижение, если проданся дешевле чем за шесть цифр. Я бы по крайней мере чувствовал. В миллионе есть что-то возбуждающее, что могло бы увлечь меня, но при подобных обстоятельствах я бы чувствовал себя тоскливо, просыпаясь по ночам. Затем этот Спид? Вы хорошо знаете его?

– Нет, не хорошо, – сказал я.

– Ну, конечно, он может прикарманить деньги, если захочет, – продолжал капитан, – если же не сделает этого, то я не вижу, как вы будете возиться и нянчиться с ним до окончания дела. Думаю, что мне бы это было невтерпез. Затем, разумеется, мистер Пинкертон. Он был хорошим другом для вас, не так ли? Выручал вас, и все прочее? Тянул вас всеми силами?

– Да, он делал это, – воскликнул я, – и я не сумел бы передать вам, как многим я ему обязан!

– Да, это тоже важное соображение, – сказал капитан. – Принципиально, я не пошел бы на такое дело ради денег. «Не стоит», – вот что сказал бы я. Но даже принцип должен уступить, когда дело идет о друзьях, – разумеется, о настоящих. Пинкертон запуган и, кажется, болен; врач, по видимому, не даст ни цента за состояние его здоровья; и вы должны сообразить, что вы будете чувствовать, если он умрет. Помните, что риск этой маленькой плутни целиком ложится на вас; Пинкертон тут ни при чем. Ну, так вот и поставьте перед собой вопрос ясно и посмотрите, как он вам понравится: мой друг Пинкертон рискует попасть на тот свет, а я рискую попасть в кутузку; какой из этих рисков я предпочту?

– Это неудачная постановка вопроса, – возразил я, – и вряд ли красивая. Надо принять в расчет нравственность и безнравственность.

– Не знаю этих участников дела, – возразил Нэрс, – но перехожу к ним. Ведь вы не колебались, когда дело шло о контрабанде опиума?

– Нет, не колебался, – сказал я. – Со стыдом признаюсь в этом.

– Это все равно, – продолжал Нэрс, – вы взяли за контрабанду без оглядки; и сколько я слышал шума из-за того, что материала для контрабанды оказалось слишком мало. Может быть, ваш компаньон несколько иначе смотрит на вещи, чем вы; может быть, он не видит особенной разницы между контрабандой и утайкой денег от кредиторов?

– Вы как нельзя более правы: он, думается мне, не видит никакой разницы, – воскликнул я, – а я вижу, хотя не умею объяснить, какую!

– Этого не объяснишь, – изрек Нэрс – дело вкуса, мнения. Но вопрос в том, как отнесется к этому ваш друг? Вы отказываете в услуге и в то же время принимаете благородную позу; вы разочаровываете его и даете ему щелчок. Это не годится, мистер Додд, этого никакая дружба не

выдержит. Вы должны быть таким же хорошим, как ваш друг, или таким же плохим, как ваш друг, или распроститься с ним.

– Я не вижу этого, – сказал я. – Вы не знаете Джима.

– Ну, вы *увидите* это, – сказал Нэрс. – Теперь еще один пункт. Эта куча денег кажется огромной мистеру Пинкертону; она может дать ему жизнь и здоровье; но для ваших кредиторов она не многим больше значит, чем кучка бобов. Не думайте, что вас поблагодарят. Известно, что вы заплатили огромную сумму за право обшарить разбившееся судно; вы обшарили его, вы возвращаетесь домой и предъявляете десять тысяч, – двадцать, если хотите, – часть которых, как вам придется сознаться, вы добыли контрабандой; и заметьте, Билли Фоулер никогда не согласится выдать квитанцию за своей подписью. Взгляните-ка на эту сделку со стороны, и вы увидите, что тут выходит. Ваши десять тысяч только шерсти клочок, и все будут дивиться вашему бесстыдству, видя, что вы хотите отделаться такой ничтожной суммой. Какой бы вы ни выбрали путь, мистер Додд, ваша репутация пострадает; так что это соображение приходится оставить в стороне.

– Вы вряд ли поверите мне, – сказал я, – но это доставляет мне положительное облегчение.

– Вы, видно, несколько иначе созданы, чем я, – ответил Нэрс. – А заговорив о себе, я к стати объясню вам свое положение. Вы не встретите никаких затруднений с моей стороны – у вас довольно своих затруднений; я же вам все-таки друг, чтобы, когда вы в затруднительном положении, закрыть глаза и идти, куда укажут. Все равно я в довольно курьезном положении. Кредиторы потребуют отчета у моих хозяев. Я их представитель, и я стою и поглядываю за борт, пока банкрот переправляет свое имущество на берег за пазуху мистера Спида. Я бы не сделал этого для Джемса Дж. Блэка, но сделаю это для вас, мистер Додд, и жалею только о том, что не могу сделать больше.

– Благодарю вас, капитан; мое решение принято, – сказал я. – Я пойду прямым путем, *guat coelum!* До нынешнего вечера я не понимал этого изречения.

– Надеюсь, что не мое положение вызвало это решение? – спросил капитан.

– Не стану отрицать, что оно тоже играет роль, – сказал я. – Надеюсь, что я не трус, надеюсь, что у меня хватило бы духа украсть самому для Джима! Но когда выходит, что я должен втянуть в эту историю и вас, и Спида, и того, и этого, то – пусть Джим умирает, и дело с концом. Я буду хлопотать и действовать за него, когда попаду во Фриско; но думаю, что мне не в чем будет себя упрекнуть, даже если он и умрет. Ничего не поделаешь – я могу идти только в этом направлении.

– Не скажу, что вы не правы, – ответил Нэрс, – и повесьте меня, если я знаю, правы ли вы. Как бы то ни было, мне это нравится. Но слушайте, не лучше ли отделаться от наших приятелей, – прибавил он, – стоит ли подвергаться риску и неприятностям контрабанды в пользу кредиторов?

– Я не думаю о кредиторах, – сказал я. – Но я столько времени задерживал здесь эту парочку, что у меня не хватит нахальства выпроводить их ни с чем.

Действительно, это, кажется, была единственная причина, заставившая меня войти в сделку, теперь уже не отвечающую моим интересам, но, как оказалось, вознаградившую меня добрым мнением Фоулера и Шарпа; они были оба сверхъестественно хитры; они сделали мне честь в самом начале приписать мне свои пороки, и прежде чем мы покончили сделку, их почтение ко мне выросло почти до благоговения. Этого высокого положения я достиг единственно тем, что говорил правду и выказывал непритворное равнодушие к результату. Я, без сомнения, проявил все существенные качества искусной дипломатии, которую можно считать, следовательно, результатом известного положения, а не умения. Ибо говорить правду само по себе вовсе не дипломатично, а не заботиться о результатах – вещь непростительная. Когда я сообщил, например, что у меня всего-навсего двести фунтов опиума, мои контрабандисты обменялись многозначительными взглядами, говорившими: «Это жох не хуже нашего брата!» Но когда я небрежно назначил тридцать пять долларов вместо предлагавшихся двадцати и заключил словами: «Все это дело пустяк в моих глазах. Соглашайтесь или отказывайтесь и наполните ваши стаканы», – я имел неопишное удовольствие подметить, что Шарп предостерегающе толкнул Фоулера локтем, а Фоулер поперхнулся вместо того, чтобы выразить согласие, готовое сорваться с его уст, и жалобно проговорил: «Нет, довольно вина, благодарю вас, мистер Додд!» Это еще не все: когда сделка состоялась по тридцати долларов за фунт – хорошее дельце для моих кредиторов – и наши друзья уселись в свой вельбот и отчалили от шхуны, оказалось, что они

плохо знакомы с особенностями распространения звука по воде, и я имел удовольствие подслушать отзыв о себе.

– Глубокий человек этот Додд, – сказал Шарп.

На что бас Фоулера отозвался:

– Будь я проклят, если понимаю его игру.

Итак, мы снова остались одни на «Норе Крейне», и вечерние известия, жалобы Пинкертона, мысль о моем крутом решении вернулись и осадили меня в темноте. Согласно всему книжному хламу, какой мне случилось прочесть, меня должно было бы поддержать сознание своей добродетели. Увы! Я сознавал лишь одно: что я пожертвовал моим больным другом ради страха тюрьмы и глупых зевак. А еще ни один моралист не заходил так далеко, чтобы зачислить трусость в разряд тех вещей, которые в себе самих носят свою награду.

## Глава XVII

### Свет с военного корабля

На восходе солнца мы увидели город, раскинувшийся среди рощ у подножия Пуншевой Чаши, и целый лес мачт в маленькой гавани. Свежий бриз, поднявшийся с моря, торжественно пронес нас по извилистому проходу, и вскоре мы бросили якорь вблизи пристани. Я припоминаю безобразную форму современного военного корабля, стоявшего в гавани, но мой дух так глубоко погрузился в меланхолию, что я не обратил на него внимания.

В самом деле, в моем распоряжении было мало времени. Господа Шарп и Фоулер уехали от нас накануне в убеждении, что я первоклассный лгун; это гениальное соображение заставило их снова явиться к нам при первом удобном случае, с предложением помощи тому, кто показал, что не ищет ее, и гостеприимства такой почтенной личности. У меня было дело, я нуждался как в поддержке, так и в развлечении; мне нравился Фоулер – не знаю почему; словом, я предоставил им делать со мною, что хотят. Никто из кредиторов не явился, и я провел первую половину дня, выясняя положение дел на чайном и шелковом рынке при содействии Шарпа; позавтракал с ним в отдельном кабинете «Гавайского Отеля» – на глазах у публики Шарп был титотеллером<sup>30</sup>, а около четырех часов пополудни был сдан с рук на руки Фоулеру. Этот джентльмен был собственником бунгало<sup>31</sup> на набережной Вайкики; и здесь, в компании нескольких молодых людей Гонолулу, меня угощали морским купаньем, «петушиными хвостами»<sup>32</sup> необъяснимого состава, обедом, гула-гулой и, чтобы завершить вечер, покером<sup>33</sup> с подходящими напитками. Проигрывать деньги в ночные часы бледным, нетрезвым юношам никогда не казалось мне завидным удовольствием. Но, признаюсь, в моем тогдашнем настроении духа оно показалось мне восхитительным, я спускал мои деньги, или, лучше сказать, моих кредиторов, и пропускал шампанское Фоулера с одинаковой жадностью и успехом; и проснулся на следующее утро с легкой головной болью и довольно приятным осадком после возбуждения минувшей ночи. Молодые люди, из которых многие были еще далеко не в трезвом состоянии, забрали кухню в свои руки, выпроводив китайца; и так как каждый стряпал себе блюдо по собственному вкусу, ничуть не стесняясь портить стряпню соседа, то я вскоре убедился, что можно разбить много яиц, но сделать маленькую яичницу. Мне удалось найти кружку молока и ломоть хлеба, а так как день был воскресный и дела приостановились, а гульба в приюте Фоулера должна была возобновиться вечером, то, утолив голод, я тихонько ушел подышать чистым воздухом в одиночестве.

Я направился к морю мимо потухшего кратера, известного под названием Алмазной Головы. Дорога шла некоторое время в тени зеленых, усаженных шипами деревьев, чередовавшихся с домами. Здесь я мог видеть картины туземной жизни: большеглазых нагих детей вместе со свиньями; юношу, спящего под деревом; старого джентльмена в очках, читающего Гавайскую библию; несколько щекотливое зрелище дамы, купающейся в ручье, и мелькание пестрых цветных одежд в глубокой тени домов. Затем я направился берегом, утопая в песке; с одной стороны шумел и сверкал прибой и расстилалась бухта, заполненная судами; с другой поднимались к кратеру и голубому небу обрывистые, голые склоны и крутые утесы. Несмотря на присутствие скользивших по морю судов, место произвело на меня впечатление пустыни. Мне вспомнился рассказ, слышанный мною накануне за обедом, о пещере в недрах вулкана, которую посещают с факелами, месте успокоения костей жрецов и воинов, оглашаемых шумом невидимого потока, пробирающегося к морю по трещинам горы. И мне представилось внезапно, до какой степени все эти бунгало, Фоулеры, веселый и суетливый город, толпящиеся корабли, – дети вчерашнего дня. Сотни лет жизнь туземцев, с ее славой и честолюбиями, с ее радостями, преступлениями и муками, текла, незримая миру, как подземная река, в этом окруженном океаном уголке. Халдея не казалась более древней, ни египетские пирамиды более темными; и я

<sup>30</sup> Титотеллеры – секта трезвенников.

<sup>31</sup> Ост-индское название здания, в котором живут европейцы (*прим. перев.*).

<sup>32</sup> «Cocq-tail» – смесь спиртных напитков с различными ингредиентами (*прим. перев.*).

<sup>33</sup> Карточная игра (*прим. перев.*).



слышал, как время измерялось «треском и грохотом» незапамятных побед, и видел себя самого созданием минуты. Казалось, дух вечности улыбается банкротству Пинкертон и Додда с Монтана-Блок, С. Ф., и тревогам совести младшего компаньона.

Без сомнения, мои ночные излишества способствовали этому настроению философской грусти, так как не одна добродетель несет подчас в себе самой свою награду; но в конце концов у меня стало гораздо легче на душе. Пока я еще предавался своим размышлениям, изгиб берега привел меня к сигнальной станции с ее караульной и флагштоком на самом краю утеса. Дом был новый, чистый и ничем не защищенный, открытый для пассатов. Ветер налетал на него гулкими порывами; стекла на стороне, обращенной к морю, немилосердно дребезжали; грохот прибоя внизу, со своей стороны, подбавлял шума, и мои шаги на узкой веранде были совершенно неслышны находившимся внутри.

Тут оказалось двое людей, перед которыми я появился так неожиданно: зритель с начинавшей седеть бородой, острыми глазами моряка и тем особенным отпечатком, который налагает одинокая жизнь; и посетитель, ораторского вида малый, в бросающемся в глаза тропическом костюме служащих британского флота, сидевший на столе и куривший сигару. Я был встречен любезно и вскоре забавлялся речами этого господина.

– Нет, если бы я не родился англичанином, – заявил он, между прочим, – то, черт побери, желал бы родиться французом! Укажите мне другую нацию, достойную чистить им сапоги.

Тотчас он изложил с такой же резкостью свои взгляды на внутреннюю политику.

– Я лучше желал бы быть диким животным, чем либералом, – сказал он, – таскающим знамя и тому подобное; у свиней больше смысла. Да вот, посмотрите на нашего главного механика, – говорят, он носил знамя собственными руками: «Да здравствует Гладстон!», должно быть, или «Долой аристократию!» Кому мешает аристократия? Покажите мне путную страну без аристократии! Соединенные Штаты? Гнездо подкупа! Я знал человека – хорошего человека – сигнального квартирмейстера на «Виандоре». Он мне рассказывал о тамошних порядках. Мы здесь все британские подданные, – продолжал он.

– Боюсь, что я американец, – сказал я извиняющимся тоном.

Он, по-видимому, чуть-чуть смутился, но оправился, и ответил мне обычным британским комплиментом.

– Что вы говорите! – воскликнул он. – Честное слово, я бы никогда не подумал этого. Никто бы не сказал этого о вас.

Я поблагодарил его, как всегда поступаю в этом случае с его соотечественниками; не столько, пожалуй, за комплимент мне и моей бедной родине, сколько за проявление (всегда новое для меня) британского самодовольства и вкуса. Он был так тронут моей благодарностью, что прибавил несколько похвальных слов по поводу американского способа крепить паруса.

– Вы опередили нас в пристегивании парусов, – сказал он, – вы можете признать это с чистой совестью.

– Благодарю вас, – ответил я, – конечно, я так и сделаю.

После этого наша беседа пошла гладко, и когда я встал, собираясь вернуться к Фоулеру, он тоже вскочил и вызвался осчастливить меня своим обществом на обратном пути. Я, хажется, обрадовался предложению, так как это создание (по-видимому, единственное в своем роде или представлявшее тип вроде птицы додо) забавляло меня. Но когда он надел шляпу, я убедился, что тут намечается нечто большее, чем развлечение, так как на ленте оказалась надпись: «*Е. В. Ф. Буря*».

– Ведь это ваш корабль, – начал я, когда, простившись со зрителем, мы спустились по тропинке, – подобрал команду «Летучего Облачка», не правда ли?

– Совершенно верно, – отвечал он. – Это было большой удачей для «Летучего Облачка». Этот Мидуэй-Айленд – Богом забытое место.

– Я прямехонько оттуда, – сказал я, – это я купил разбившееся судно.

– Прошу прощения, сэр, – воскликнул моряк, – джентльмен с белой шхуны?

– Он самый, – сказал я.

Мой собеседник раскланялся, как будто мы впервые были формально представлены друг другу.

– Конечно, – продолжал я, – вся эта история не может не заинтересовать меня; и вы бы меня очень обязали, рассказав все, что вам известно о спасении команды.

– Вот как это было, – сказал он. – Мы имели приказ заглянуть на Мидуэй на случай потерпевших кораблекрушение и подошли к нему довольно близко днем накануне. Всю ночь мы шли с половинным паром, рассчитывая попасть на остров К полудню, так как старый Тутльс – прошу прощения, сэр, капитан, – боится этих мест ночью. Там, вокруг этого Мидуэя, есть опасные, предательские течения; вы знаете это, так как сами побывали там; одно из них, должно быть, увлекло нас. По крайней мере, около трех часов, когда мы думали, что остров еще далеко, кто-то увидел парус, и вдруг, не угодно ли, перед нами бриг с полной оснасткой! Мы увидели сначала его, а потом остров, и заметили, что бриг сел вплотную на мель. Прибой у рифа был сильный; мы легли в дрейф и послали пару шлюпок. Я не был ни в одной; только стоял и смотрел; но, кажется, все они перепугались и растерялись так, что не могли отличить кормы от носа. Один из них хныкал и ломал руки, и явился к нам на корабль весь в слезах, точно месячный младенец. Трент поднялся первый, рука у него была обмотана окровавленной тряпкой. Я был от них не дальше, чем теперь от вас, и мог заметить, что он совсем запыхался – слышал его дыхание, когда он поднимался по лестнице. Да, перепугались они, не слишком это для них лестно. Вслед за капитаном поднялся помощник.

– Годдедааль! – воскликнул я.

– Хорошее имя для него, – ухмыльнулся он, вероятно, смешивая эту фамилию со знакомым проклятием<sup>34</sup>. – Хорошее имя, только не его. Он оказался прирожденным джентльменом, сэр, и, так сказать, разыгрывал маскарад. Один из наших офицеров знал его на родине, и вот он узнает его, останавливает, протягивает ему руку и говорит: «Ба, Норри, здорово, старина!» Тот поднялся на палубу молодцом и вовсе не выглядел расстроенным – грех было бы сказать это о нем. Но только он услышал свое настоящее имя, побелел, как Страшный Суд, уставился на мистера Сибрайта, точно на привидение, и (даю вам мое честное слово) грохнулся в обморок. «Снесите его в мою каюту, – говорит мистер Сибрайт. – Это мой старый приятель, Норри Кэртью».

– А какого такого рода джентльмен этот мистер Кэртью? – проговорил я.

– Буфетчик кают-компании говорил мне, что он происходит из одной из лучших английских фамилий, – ответил мой приятель, – воспитывался в Итоне и мог бы быть баронетом!

– Нет, как он выглядит из себя? – поправился я.

– Да так же, как мы с вами, – последовал ответ, – ничего особенного. Я не знал, что он джентльмен, но я ни разу не видал его после того.

– Как так? – воскликнул я. – Ах, да, помню: он был болен все время, пока вы шли во Фриско, не так ли?

– Болен или расстроен, или что-нибудь в этом роде, – возразил мой спутник. – Мне кажется, он не очень-то стремился показываться людям. Он сидел взаперти; буфетчик кают-компании, носивший ему еду, говорил мне, что он почти ничего не ел; а во Фриско он высадился на берег тайком. Кажется, его брат взял да и умер, а он оказался наследником. Но еще раньше он ушел искать счастья, и никто не знал, куда он девался. Оказалось, он здесь, служит на купеческом корабле, потерпел крушение на Мидуэе и укладывает свои пожитки, готовясь к долгому плаванию на шлюпке. Попадает на наш корабль и тут узнает, что он лендлорд и завтра может попасть в Парламент! Довольно естественно, что он прячется, мы бы с вами то же сделали на его месте.

– Наверное, – сказал я. – А о других вы знаете что-нибудь?

– Конечно, – ответил он, – народ безобидный, насколько я знал. Был там некто Гэрди: родился в колонии и просадил много денег. Ничего худого нельзя сказать о Гэрди; был он богат, потом разорился и не упал духом. Сердце у него было доброе, и человек образованный, знал по-французски, и латынь знал, как туземец! Мне нравился этот Гэрди: молодец малый, право.

– Много они рассказывали о крушении? – спросил я.

– Много рассказывать не приходилось, – ответил он. – В бумагах все написано. Гэрди любил рассказывать о деньгах, которые прошли через его руки; он водился с букмекерами, жокеями,

---

<sup>34</sup> Goddamn (произн. «годдем»), звучит одинаково с первыми слогами Goddedaal (прим. перев.).

актерами и тому подобной публикой – народ все аховый, – прибавил мой рассудительный собеседник. – Но тут поблизости моя лошадь и, с вашего позволения, я отправлюсь.

– Одну минуту, – сказал я. – Что, мистер Сибрайт на корабле?

– Нет, сэр, сегодня он на берегу, – сказал матрос. – Я отвез ему чемодан в отель.

На этом мы расстались. Вслед затем мой друг обогнал меня на наемной лошади, которая, казалось, презирала своего всадника, а я остался в поднятой им пыли, с целым вихрем мыслей в голове. Ведь я стоял теперь или казалось, что стоял, у самого порога этих тайн. Я знал настоящее имя Диксона – его звали Кэртью; знал, откуда взялись деньги нашего соперника на аукционе – это была часть наследства Кэртью; и в моей галерее картин из истории разбившегося судна прибавилась еще одна, быть может, самая драматическая. Я видел палубу военного корабля в этой отдаленной части великого океана, толпу любопытных офицеров и матросов: и вот человек знатного происхождения и хорошего воспитания, плававший под вымышленным именем на торговом судне и только что избавившийся от смертельной опасности, падает, как бык, при одном звуке своего имени. Я не мог не вспомнить о своем личном опыте у телефона «Западного Отеля». Герой этих приключений, Диксон, Годдедааль или Кэртью, должен быть человек с чуткой или нечистой совестью. Тут мне вспомнилась фотография, найденная на «Летучем Облачке»; именно такой человек, рассуждал я, должен быть способен к подобным выходкам и кризисам; и я склонялся к мысли, что Годдедааль (или Кэртью) – главная пружина тайны.

Однако было ясно: пока «Буря» доступна мне, я должен познакомиться с Сибрайтом и доктором. С этой целью я извинился перед Фоулером, вернулся в Гонолулу и провел остаток дня, бесплодно слоняясь по прохладным верандам отеля. Только около девяти часов вечера мое терпение было вознаграждено.

– Вот джентльмен, о котором вы спрашивали, – сказал мне служащий.

Я увидел господина в твидовой паре, с необыкновенно томными манерами, и тросточкой, которую он таскал за собой с изящным усилием. Судя по имени, я ожидал найти нечто вроде викинга, юного властителя битв и бурь; и тем сильнее, конечно, разочаровался, очутившись лицом к лицу с таким неподходящим типом.

– Если не ошибаюсь, я имею удовольствие обращаться к лейтенанту Сибрайту, – сказал я.

– Э-э-да, – ответил герой, – но, э-э! Я-а-нне-е знаю вас, кажется? (Он говорил, как лорд Фоппингтон в старой пьесе – доказательство живучести людского кривлянья. Но я не стану воспроизводить здесь его выговор).

– Я и обратился к вам с намерением познакомиться, – сказал я, нимало не смущаясь (так как бесстыдство вызывает с моей стороны такое же – быть может, мой единственный воинственный атрибут). – Есть предмет, который интересует обоих нас, меня очень живо; я думаю, что могу оказать услугу одному из ваших друзей, по крайней мере, сообщить ему полезную справку.

Последнюю оговорку я прибавил для очистки совести; я не мог уверять даже себя самого, что могу или хочу оказать услугу мистеру Кэртью, но я был уверен, что ему приятно будет узнать, что «Летучее Облачко» сгорело.

– Не знаю – я – я не понимаю вас, – промямлила моя жертва. – У меня, знаете, нет друзей в Гонолулу.

– Друг, о котором я говорю, англичанин, – возразил я. – Это мистер Кэртью, которого вы подобрали на Мидуэе. Моя фирма купила разбившееся судно; я только что вернулся после его разборки, и чтобы объяснить вам мое дело, мне необходимо сделать сообщение; оттого я и побеспокою вас просьбой сообщить мне адрес мистера Кэртью.

Как видите, я быстро оставил всякую надежду заинтересовать этого тупоумного британского медведя. Он со своей стороны был, очевидно, как на иголках от моей настойчивости; я решил, что он мучится опасением приобрести в моем лице нежелательного знакомого; я определил его как брюзгливое, тупое, тщеславное, необщительное животное без соответствующей защиты – нечто вроде улитки без раковины – и заключил, довольно правильно, что он согласится на все, лишь положить конец нашей беседе. Минуту спустя он бежал, оставив мне клочок бумаги с адресом:

*Норрис Кэртью  
Стальбридж-ле-Кэртью,  
Дорсет*

Я мог торжествовать победу – поле битвы и часть неприятельского обоза остались за мною. На деле же мои моральные страдания в течение этой стычки были не меньше, чем мистера Сибрайта. Я был неспособен к новым военным действиям; я сознавал, что флот старой Англии оказывается (для меня) непобедимым, как встарь; и, оставив всякую надежду на доктора, решил в будущем салютовать его почтенному флагу на почтительном расстоянии. Таково было мое настроение, когда я ложился спать; и мое первое впечатление на следующее утро только укрепило его. Я имел удовольствие встретиться с моим вчерашним противником, возвращавшимся на корабль; и он удостоил меня таким демонстративно сухим приветствием, что мое раздражение взяло верх надо мною, и (вспомнив тактику Нельсона) я не счел нужным заметить его и ответить на него.

Судите же о моем изумлении, когда полчаса спустя я получил следующую записку с «Бури»:

*«Уважаемый сэр, мы все очень интересуемся разбившимся судном 'Летучее Облачко', и когда я сообщил, что имел удовольствие познакомиться с вами, было выражено общее желание видеть вас на корабле. Вы доставите нам величайшее удовольствие, приняв наше приглашение пообедать с нами сегодня вечером, если же вы приглашены куда-нибудь в другое место, то позвольте пригласить вас на ленч сегодня или завтра»*

Затем были указаны часы и следовала подпись: «Дж. Лэселль Сибрайт» с удостоверением, что он «весь мой».

– Нет, мистер Лэселль Сибрайт, – думал я, – я подозреваю, что это не вы, а другой. Вы сообщили о своей встрече, друг мой; вам намылили голову, на вас насели, это письмо было продиктовано; меня приглашают на корабль (несмотря на ваши меланхолические протесты) не для того, чтобы познакомиться с людьми, не для того, чтобы рассказывать о «Летучем Облачке», а для того, чтобы подвергнуться допросу со стороны кого-то, интересующегося Кэртью, – доктора, держу пари. И еще держу пари, что все это результат вашей опрометчивости с адресом.

Я, не теряя времени, ответил на письмо, выбрав самый близкий срок, и в назначенный час матросы «Норы Крейны», несколько смахивавшие на бродяг, перевезли меня на шлюпке под пушки «Бури».

Кают-компания приняла меня, по-видимому, с удовольствием; офицеры, товарищи Сибрайта, в противоположность ему, расспрашивали с детским любопытством о моем плавании; много толковали о «Летучем Облачке», о его гибели, о том, как я нашел его, о погоде, якорной стоянке и течениях около Мидуэй-Айленда. О Кэртю упоминали без всякого недоумения; приводили подобный же случай с покойным лордом Абердином, который умер помощником на американской шхуне. Если они мало сообщили мне об этом человеке, то лишь потому, что им нечего было сообщать; они только интересовались его опознанием и сожалели о его продолжительной болезни. Я не мог думать, что они уклоняются от этой темы; ясно было, что офицеры не только ничего не скрывают, но и что им нечего скрывать.

Пока, таким образом, все казалось естественным, и тем не менее доктор смущал меня. Это был рослый, лохматый, мужиковатый человек, лет пятидесяти с хвостиком, уже седой, с подвижным ртом и косматыми бровями: он говорил редко, но весело, и его беззвучный смех был заразителен. Я заметил, что в кают-компании он считается чудачком, но пользуется полным уважением; и убедился, что он исподтишка наблюдает за мною. Разумеется, я ответил тем же. Если Кэртю притворялся больным, а похоже было на то, то здесь был человек, знавший все, или, во всяком случае, знавший много. Его строгое, честное лицо постепенно и безмолвно убеждало меня в том, что он знает все. Эти глаза, этот рот не могли принадлежать человеку, который играет втемную или действует наобум. В то же время это не было лицо человека, щепетильного со злодеями; в нем даже было что-то напоминавшее Брута, а отчасти судью, приговаривавшего к виселице. Короче говоря, он казался человеком, совершенно не подходящим для той роли, которую я назначал ему в моих теориях, и в моей душе боролись удивление и любопытство.

Ленч кончился, предложили перейти в курилку, когда (по какому-то внезапному побуждению) я сжег свои корабли, и, под предлогом нездоровья, выразил желание поговорить с доктором.

– Речь идет не о моем теле, доктор Эркварт, – сказал я, когда мы остались одни.

Он промычал что-то, губы его зашевелились, он пристально взглянул на меня своими серыми глазами, но, видимо, решил промолчать.

– Мне нужно поговорить с вами о «Летучем Облачке» и мистере Кэртью, – продолжал я. – Вы должны были ожидать этого. Я уверен, что вам известно все; вы проницательны и должны были догадаться, что мне известно многое. Как мы отнесемся друг к другу? И как мне относиться к мистери Кэртью?

– Я не совсем понимаю вас, – ответил он после некоторой паузы, и прибавил после другой, – я подразумеваю смысл, мистер Додд.

– Смысл моих вопросов? – спросил я.

Он кивнул головой.

– Я думаю, что мы в этом сойдемся, – сказал я. – Смысла-то я и ищу. Я купил «Летучее Облачко» за бешеные деньги, за сумму вздутую мистером Кэртью через его агента; и в результате я банкрот. Но если я не нашел на бриге состояния, то нашел недвусмысленные следы какой-то нечистой игры. Примите в расчет мое положение: я разорен этим человеком, которого никогда не видел; я могу, весьма естественно, желать мести или компенсации; и думаю, что имею возможность добиться того и другого.

Он ничего не ответил на этот вызов.

– Можете ли вы теперь понять смысл моего обращения к тому, кто несомненно посвящен в тайну, – продолжал я, – и моего прямого и честного вопроса: как мне относиться к мистери Кэртью?

– Я должен просить вас объясниться обстоятельнее, – сказал он.

– Вы не очень-то помогаете мне, – возразил я. – Но, может быть, вы поймете следующее: моя совесть не слишком щепетильна, но все же у меня есть совесть. Есть степени нечистой игры, против которых я не стану особенно восставать. Я уверен относительно мистера Кэртью, я вовсе не такой человек, чтобы отказываться от выгоды, и я очень любопытен. Но с другой стороны, я вовсе не охотник до травли; и, прошу вас верить, – не стремлюсь ухудшить положение несчастного или навлечь на него новую беду.

– Да, мне кажется, я понимаю, – сказал доктор. – Допустим, я дам вам слово, что, что бы там ни случилось, но есть извинения для случившегося, важные извинения, могу сказать, очень важные?..

– Это имело бы большой вес для меня, доктор, – ответил я.

– Я могу пойти дальше, – продолжал он. – Допустим, что я был там или вы были там. После того как совершилось известное событие, возникает серьезный вопрос, как же нам поступить, или даже, как мы должны поступить. Или возьмите меня. Я буду откровенен с вами и признаюсь, что мне известны факты. Вы догадались, что я действовал, зная эти факты. Могу ли я просить вас судить на основании этого образа действий о характере того, что мне известно, и о чем не считаю себя вправе сообщить вам?

Я не могу передать выражения сурового убеждения и судейского пафоса речи доктора Эркварта. Тем, которые не слышали ее, может показаться, что он угощал меня загадками; мне же, слышавшему, показалось, что я получил урок и комплимент.

– Благодарю вас, – сказал я, – я чувствую, что вы сказали все, что могли сказать, и больше, чем я имел право спрашивать. Я считаю это знаком доверия, которое постараюсь оправдать. Надеюсь, сэр, что вы позволите мне считать вас другом.

Он уклонился от этого изъявления дружбы резким предложением присоединиться к компании, но минуту спустя смягчил свой отказ. Когда мы вошли в курилку, он с ласковой фамильярностью положил мне руку на плечо и сказал:

– Я только что прописал мистери Додду стакан нашей мадеры.

Я никогда больше не встречался с доктором Эрквартом; но он так ярко запечатлелся в моей памяти, что я вижу его как живого. Да и в самом деле, у меня есть причина помнить об этом человеке ввиду его сообщения. Было довольно трудно построить какую-нибудь теорию относительно происшествий на «Летучем Облачке»; но представить себе происшествие, главный и

наиболее виновный участник которого мог заслужить уважение или, по крайней мере, сожаление, такого человека, как доктор Эркварт, оказалось для меня решительно невозможным. Здесь, по крайней мере, кончились мои открытия. Больше я не узнал ничего, пока не узнал всего, и читателю известны все мои данные. Превосходит ли он меня проницательностью, или, подобно мне, откажется от объяснения?

## Глава XVIII

### Перекрестный допрос и уклончивые ответы

Я резко отзывался о Сан-Франциско; мой отзыв вряд ли можно принимать буквально (нельзя ожидать от израильтян справедливого отношения к стране Фараонов); и город тонко отомстил мне при моем возвращении. Никогда еще он не выглядел так благопристойно; солнце сияло, воздух был чистый, люди ходили с цветами в петлицах и улыбающимися физиономиями; и направляясь к месту службы Джима с черной тревогой на душе, я чувствовал себя исключением среди общего веселья.

Контора помещалась в переулке, в дрянном, ветхом домишке. На переднем фасаде была надпись: «Компания Парового печатания Франклина Г. Доджа», и более свежими буквами, свидетельствовавшими о недавнем их добавлении, лозунг: «Только Белый Труд». В конторе, в пыльной загородке Джим сидел один за столом. Печальная перемена произошла в его одежде, наружности и манерах: он выглядел больным и жалким. Он, который когда-то так весело управлялся с делами, точно конь на пастбище, уставился теперь на столбец цифр, лениво грызя перо, и временами тяжело вздыхал, – картина бессилия и невнимания. Он был поглощен печальными размышлениями, не видел и не слышал меня, и я стоял и следил за ним незамеченный. Беспольное раскаяние внезапно овладело мною. Меня терзали угрызения совести. Как я и предсказывал Нэрсу, я стоял и ругал себя. Я вернулся спасти свою честь, но вот мой друг, нуждающийся в покое, в уходе, в хороших условиях. И я спрашивал вместе с Фальстафом: «Что же такое честь?» – слово. А что такое само это слово «честь» – и подобно Фальстафу, отвечал самому себе: «Пар».

– Джим! – сказал я.

– Лоудон! – произнес он, задыхаясь, вскочил и пошатнулся.

В следующее мгновение я был за решеткой и мы пожимали друг другу руки.

– Мой бедный старый друг! – воскликнул я.

– Слава Богу, вы вернулись наконец! – пробормотал он, трепля меня по плечу.

– У меня нет хороших новостей для вас, Джим, – сказал я.

– Вы вернулись – вот хорошие новости, в которых я нуждаюсь, – возразил он. – О, как я тосковал по вас, Лоудон!

– Я не мог сделать того, о чем вы писали мне, – сказал я, понижая голос. – Я отдал деньги кредиторам. Я не мог поступить иначе.

– Ш-ш-ш! – произнес Джим. – Я был не в своем уме, когда писал. Я не мог бы взглянуть в лицо Мэми, если бы мы сделали это. О, Лоудон, какое сокровище эта женщина! Думаешь, что кое-что знаешь о жизни, а оказывается, не знаешь ровно ничего. *Доброта* женщины – вот откровение.

– Это верно, – сказал я. – Я надеялся услышать это от вас, Джим.

– Итак, «Летучее Облачко» оказалось обманом, – продолжал он. – Я не совсем понял ваше письмо, но вывел из него такое заключение.

– Обман слишком мягкое выражение, – сказал я. – Кредиторы никогда не поверят, какими дураками мы оказались. Кстати, – продолжал я, радуясь случаю переменить тему разговора, – в каком положении банкротство?

– Счастье ваше, что вас не было здесь, – отвечал Джим, покачивая головой, – счастье ваше, что вы не видели газет. «Западный Вестник» назвал меня жалким маклеришкой с водянойкой в голове; другая газета – лягушкой, которая забралась на один луг с Лонггерстом и раздувалась, пока не лопнула. Это было жестоко для человека в медовом месяце, как и все, что они говорили обо мне. Но я рассчитывал на «Летучее Облачко». Что же оно дало все-таки? Я, кажется, не уловил сути этой истории, Лоудон.

«Черт ее уловит!» – подумал я и прибавил вслух: – Видите ли, нам обоим не повезло. Я добыл немногим больше того, что требовалось для покрытия текущих издержек, а вы обанкротились почти немедленно. Почему мы так скоро лопнули?

– Мы еще поговорим обо всем этом, – сказал Джим, внезапно восторженно. – Мне нужно заняться книгами, а вы лучше ступайте прямо к Мэми. Она у Спида. Она ждет вас с нетерпением. Она относится к вам, как к любимому брату.

Для меня был на руку всякий план, который отсрочивал объяснение и откладывал (хотя бы на самое короткое время) разговор о «Летучем Облачке». Итак, я поспешил на Бош-стрит. Мистрис Спиди, уже обрадованная возвращением супруга, приветствовала меня радостным восклицанием.

– Вы прекрасно выглядите, мистер Лоудон, голубчик, – сказала она любезно и прибавила сердито: а насчет Спида я имею подозрения. Ухаживал он там за негритянками?

Я отозвался о Спида как о безупречном человеке.

– Никто из вас не выдаст другого, – сказала эта бойкая дама и провела меня в почти пустую комнату, где Мэми работала за пишущей машиной.

Я был тронут сердечностью нашей встречи. С самым милым жестом на свете она протянула мне обе руки, пододвинула стул и достала из буфета жестянку с моим любимым табаком и книжечку папиросных бумажек, которые я исключительно употреблял.

– Видите, мистер Лоудон, – воскликнула она, – мы все приготовили для вас; это было куплено в день вашего отплытия.

Я ожидал с ее стороны любезного приема, но известный оттенок искреннего расположения, которого я не мог не заметить, вытекал из неожиданного источника. Капитан Нэрс, которого я никогда не буду в состоянии достаточно отблагодарить, урвал минутку от своих занятий, побывал у Мэми и нарисовал ей самую лестную для меня картинку моего доблестного поведения на разбившемся судне. Она не заикнулась об этом посещении, пока не заставила меня рассказать о моих приключениях.

– Ах, капитан Нэрс рассказывал лучше, – сказала она, когда я кончил. – Из вашего рассказа я узнала только одну новую вещь: что вы так же скромны, как храбры.

Я пытался что-то возразить.

– Не трудитесь, – сказала Мэми. – Я знаю, кто вел себя героем. И когда я услышала, как вы работали целыми днями, как простой работник, с окровавленными руками и поломанными ногтями, и как вы не побоялись шторма, которого он сам испугался, и как вам грозил этот ужасный бунт (Нэрс, очевидно, обмокнул свою кисть в землетрясение и извержение), и как было сделано все, по крайней мере отчасти, для Джима и для меня, – я почувствовала, что мы никогда не сумеем выразить, как мы восхищаемся вами и благодарны вам.

– Мэми, – воскликнул я, – не говорите о благодарности, это слово не должно употребляться между друзьями. Джим и я благоденствовали вместе, теперь будем бедствовать вместе. Мы сделали что могли, и это все, что требуется сказать. Затем мне нужно искать занятие и отправить вас и Джима на отдых в деревню, в сосновые леса, потому что Джим заслужил отдых.

– Джим не может брать ваших денег, мистер Лоудон, – сказала Мэми.

– Джим? – воскликнул я. – Как так? Разве я не брал его денег?

Тут явился сам Джим и с места в карьер набросился на меня с проклятой темой.

– Ну, Лоудон, – сказал он, – теперь мы все собрались, работа кончена и вечер в нашем распоряжении; расскажите же всю историю.

– Одно слово, – ответил я, стараясь оттянуть время и в тысячный раз пытаюсь (в потаенных уголках моего мозга) найти какое-нибудь удовлетворительное изложение моей истории. – Я бы желал знать, как обстоит дело с банкротством.

– О, это уже старая история! – воскликнул Джим. – Мы заплатили семь центов, и я удивляюсь, что у нас хватило на это. Куратор... – (при воспоминании об этом лице судорога сдавила ему горло, и он не кончил фразы). – Ну, да все это прошло и кончилось, и мне хотелось бы только узнать факты относительно разбившегося корабля. Я что-то плохо понимаю; мне сдается, что под этим что-то скрывается.

– В нем, во всяком случае, ничего не скрывалось, – ответил я с деланным смехом.

– Об этом-то мне и хотелось бы потолковать, – возразил Джим.

– Что это я никак не могу добиться от вас подробностей насчет банкротства? Похоже, будто вы избегаете говорить о нем, – заметил я, непростительно глупо для человека в моем положении.

– А разве не похоже, будто вы избегаете говорить о разбившемся судне? – спросил Джим.

Я сам вызвал этот вопрос; увернуться было невозможно.



– Ну, дружище, если уж вам так не терпится, извольте! – сказал я, и с поддельной веселостью начал свой рассказ.

Я говорил с юмором и остроумием; описал остров и разбившееся судно, передразнил Андерсона и китайца, поддерживал недоумение... – перо мое споткнулось на этом роковом слове. Я поддерживал недоумение так искусно, что оно вовсе не разъяснилось; когда я кончил, – не решаюсь сказать: заключил, потому что заключения не было, – Джим и Мэми смотрели на меня с удивлением.

– Ну? – сказал Джим.

– Ну, это все, – ответил я.

– Но как же вы объясните это? – спросил он.

– Я не могу объяснить этого, – ответил я.

Мэми зловеще покачала головой.

– Но, дух великого Цезаря, ведь деньги предлагались! – воскликнул Джим. – Тут что-нибудь не так, Лоудон; это очевидная бессмыслица! Я не спорю, что вы с Нэрсом сделали что могли, я уверен в этом; но я утверждаю, что вы опростоволосились. Я утверждаю, что товар и сейчас на корабле, и я достану его.

– А я говорю вам, что на корабле нет ничего, кроме старого дерева и железа! – сказал я.

– Мы увидим, – возразил Джим. – Следующий раз я отправлюсь сам. Я возьму с собой Мэми: Лонггерст не откажет мне в ссуде на наем шхуны. Подождите, пока я обыщу разбившееся судно.

– Но вы не можете обыскать его! – воскликнул я. – Оно сгорело.

– Сгорело! – отозвалась Мэми, изменяя спокойную позу, в которой она слушала мой рассказ, сложив руки на груди.

Наступила многозначительная пауза.

– Простите Лоудон, – сказал наконец Джим, – но чего ради вздумалось вам сжечь его?

– Это была идея Нэрса.

– Это, конечно, самое странное обстоятельство во всей истории, – заметила Мэми.

– Я должен сказать, Лоудон, что это действительно несколько неожиданно, – прибавил Джим. – Это выглядит даже как-то нелепо. Что вы думали, что думал Нэрс выиграть, сжигая судно?

– Не знаю; это, казалось, не имеет значения, мы взяли все, что можно было взять.

– В том-то и вопрос! – воскликнул Джим. – Совершенно ясно, что вы не все взяли.

– Почему вы так уверены? – спросила Мэми.

– Как могу я вам сказать это? – воскликнул я. – Мы обшарили корабль сверху донизу. Мы *были* уверены, вот и все, что я могу сказать.

– Я начинаю думать, что вы действительно были уверены, – возразила она с многозначительным пафосом.

Джим поспешил вмешаться.

– Мне не совсем понятно, Лоудон, ваше отношение к особенностям этого случая, – сказал он. – По-видимому, они вовсе не задевают вас так, как меня.

– Ба! Стоит ли говорить об этом? – воскликнула Мэми, внезапно вставая. – Мистер Додд не намерен рассказывать нам, что он думает или что он знает.

– Мэми! – сказал Джим.

– Тебе нечего беспокоиться о его чувствах, Джемс; потому что он не беспокоится о твоих, – возразила она. – Кроме того, он не осмелится отрицать это. Да ведь он уже не в первый раз прибегает к умолчанию. Разве ты забыл, как он узнал адрес и не хотел сказать тебе, пока тот человек не улизнул?

Джим повернулся ко мне с умоляющим выражением – мы все встали.

– Лоудон, – сказал он, – вы видите, что Мэми забрала себе в голову какую-то фантазию, и я должен сказать, что для нее есть тень извинения, потому что все это действительно странно, даже для меня, Лоудон, с моей деловой опытностью. Ради Бога, разъясните, в чем дело.

– Вы правы, – сказал я, – мне не следовало пытаться оставлять вас в потемках; я должен был с самого начала сказать вам, что обязался хранить тайну; должен был с самого начала просить у вас доверия. Это все, что я могу сделать теперь. У этой истории есть подкладка, но она не касается никого из нас, и мой язык связан. Я дал честное слово. Вы должны поверить мне и попытаться простить меня.

– Может быть, я очень тупа, мистер Додд, – начала Мэми с кротостью, не сулившей ничего доброго, – но я думала, что вы отправились в это плавание как представитель моего мужа и на средства моего мужа. Вы говорите нам, что обязались хранить тайну, но мне кажется, что прежде всего вы взяли на себя обязательство по отношению к Джемсу. Вы говорите, что это не касается нас; мы бедные люди, мой муж болен, и нас очень касается все, что может объяснить, каким образом мы потеряли состояние и почему наш представитель вернулся к нам ни с чем. Вы просите поверить вам, вы, кажется, не понимаете, что вопрос, который мы ставим самим себе, – это вопрос, не слишком ли много мы вам верили.

– Я не прошу вас поверить мне, – возразил я. – Я прошу Джима. Он знает меня.

– Вы думаете, что можете сделать все, что угодно, с Джимом; вы полагаетесь на его привязанность, не так ли? А меня, я думаю, вы ни в грош не ставите, – сказала Мэми. – Но, может быть, для вас был несчастным тот день, когда мы обвенчались, потому что я, по крайней мере, не слепа. Команда бежала, корабль продан за огромную сумму, вы знаете адрес того человека и скрываете его; вы не находите того, за чем вы посланы, и тем не менее сжигаете корабль; а теперь, когда мы требуем объяснения, заявляете, что обязались хранить тайну! Но я не брала на себя никаких подобных обязательств; я не стану молчать, глядя на своего больного и разоренного мужа, обманутого снисходительным другом. Я вам скажу всю правду, мистер Додд: вы были подкуплены и получили плату.

– Мэми, – воскликнул Джим, – довольно! Ты наносишь удар мне, ты меня оскорбляешь! Ты не знаешь, не можешь понимать этих вещей. Да ведь если б не Лоудон, я не мог бы взглянуть тебе в глаза. Он спас мою честь.

– Я уже слышала об этом достаточно, – возразила она. – Ты мягкосердечный дурак, и я люблю тебя за это. Но я женщина с ясной головой; мои глаза открыты, и я понимаю лицемерие этого человека. Ведь он сегодня явился ко мне и заявил, что будет искать работу – заявил, что будет делиться с нами своим заработком, пока ты не выздоровеешь. Заявил! Это приводит меня в бешенство! Своим заработком! Делиться своим заработком! Это подаяние будет твоей долей в «Летучем Облачке» – твоей, человека, который корпел и работал для него, когда он нищенствовал на парижских улицах. Но мы не нуждаемся в вашей милосердии; я, слава Богу, могу работать для моего мужа! Вы же всегда издевались над Джемсом! Вы всегда смотрели на него сверху вниз в вашем сердце, вы знаете это!

Она обратилась к Джиму:

– А теперь, когда он богат... – начала она и снова накинулась на меня.

– Потому что вы богаты, попробуйте отрицать это, попробуйте взглянуть мне в глаза и попытаться отрицать, что вы богаты – богаты на наши деньги – на деньги моего мужа...

Бог знает, до чего бы она могла прийти, увлеченная ураганом своих слов. Огорчение, горькое уныние, предательское сочувствие моему врагу, невыразимая жалость к бедняге Джиму уже сокрушили, смутили, пришибли мой дух. Бегство казалось единственным средством, и, сделав знак Джиму, я удалился с поля битвы.

Я прошел немного, когда звук шагов бегущего человека и голос Джима, окликавший меня, заставили меня остановиться. Джим догнал меня с письмом, которое давно уже дожидалось моего возвращения.

Я взял его точно во сне.

– Чертовское вышло дело, – сказал я.

– Не судите строго Мэми, – ответил он. – Так уж она создана, это такая высокая честность. Я же, разумеется, знаю, что все сделано правильно. Я знаю ваш безупречный характер, но вы не рассказали нам обо всем прямо, Лоудон. Иной мог подумать, я хочу сказать, я хочу сказать...

– Все равно, что вы хотите сказать, мой бедный Джим, – перебил я. – Она храбрая женщина и честная жена и действовала великолепно. Моя история была чертовски двусмысленна. Я никогда не буду думать дурно ни о ней, ни о вас...

– Она разубедится, должна разубедиться!.. – сказал он.

– Никогда этого не будет, – возразил я со вздохом, – и не пробуйте разубеждать ее. Не называйте при ней моего имени, разве только с проклятием. И возвращайтесь к ней немедленно. Покойной ночи, мой лучший друг. Покойной ночи, и благослови вас Бог. Мы никогда больше не увидимся.

– О, Лоудон, подумать только, что мы дожили до таких слов! – воскликнул он.

Без всяких мыслей, кроме случайно мелькавших в голове проектов покончить самоубийством или напиться, я тащился по улице, в полубессознательном состоянии, смахивая на фланера, потерпевшего неприятность. У меня были деньги в кармане – мои или моих кредиторов, я не мог сообразить, и, поравнявшись с рестораном, я машинально вошел и уселся за столик. Слуга подошел ко мне, и я, вероятно, отдал распоряжения, так как убедился, при внезапном проблеске сознания, что начинаю обедать. На белой скатерти у моего локтя лежало письмо с написанным канцелярским почерком адресом, с английской маркой и Эдинбургским штемпелем. Чашка бульона и стакан вина пробудили в одном из уголков моего мозга слабое движение любопытства; и в ожидании следующего блюда, недоумевая, что такое я заказал, я распечатал и прочел следующий достопамятный документ:

*«Милостивый государь, на меня возложен печальный долг известить Вас о кончине Вашего превосходного деда, мистера Александра Лоудона, последовавшей 17-го сего месяца. В воскресенье, 13-го, он по обыкновению отправился утром в церковь, а на обратном пути остановился на углу Принцевой улицы, на сильном восточном ветру, обычном в это время года, поговорить с одним из своих старых друзей. Вечером того же дня у него обнаружился острый бронхит. С самого начала доктор М'Комби предсказывал роковой исход, и сам старый джентльмен не обманывался насчет своего состояния. Он несколько раз повторил мне, что ему приходит 'карачун', 'и давно пора', прибавил он однажды с характерной резкостью. Он ничуть не изменился ввиду приближающейся смерти; только (о чем, я уверен, вам будет приятно услышать) еще чаще, чем обыкновенно, вспоминал и говорил о вас, как о 'младшем сынке Дженни', с выражением сильной привязанности. 'Его одного я любил из всей молодежи', – заметил он однажды; и вам доставит удовольствие узнать, что он особенно распространялся о должном почтении, с которым вы относились к вашим родственникам. Коротенькое прибавление к завещанию, в котором он оставляет вам своего Молесворта и другие профессиональные сочинения, сделано им за день до смерти; так что вы занимали его мысли до конца. Я должен сказать, что хотя он был довольно нетерпеливым пациентом, но ваш дядя и ваша кузина, мисс Эвфемия, окружали его самой нежной заботливостью. Прилагаю копию завещания, из которой вы увидите, что наследуете в равной доле с мистером Адамом, и что я имею вам передать сумму почти в семнадцать тысяч фунтов. Позволю себе поздравить вас с этим значительным приобретением и ожидаю ваших распоряжений, которые будут исполнены немедленно. Предполагая, что вы можете пожелать немедленно вернуться на родину, и не зная, каковы ваши обстоятельства, прилагаю аккредитив на шестьсот фунтов. Не откажите подписать препроводительный листок и мне вернуть его при первой возможности.*

*Искренно преданный Вам,*

*В. Ротерфорд Грегг».*

«Боже, благослови старого джентльмена! – подумал я. – А заодно и дядю Адама, и кузину Эйфимию, и мистера Грегга!» Мне живо представились седой старик, которого постигла теперь кончина, – «и давно пора», – улицы в воскресный день, то пустые, то полные молчаливых людей; колокольный звон, гнусавое пение псалмов, пронизывающий восточный ветер, пустой, оглашаемый эхом шагов, скучный дом, куда «Экки» вернулся, уже чувствуя руку смерти на своем плече; представился и долговязый, неуклюжий деревенский парень, быть может, любезник, ухаживающий за девушками под прикрытием боярышниковой изгороди, или танцор на сельской лужайке, впервые получивший и отозвавшийся на это уменьшительное имя. И я спрашивал себя, точно ли, в общем итоге, бедный Экки имел успех в жизни; не было ли положение этого человека

в конце хуже, чем в начале; и не был ли дом в Рандольф-Крешент менее завидным жилищем, чем деревушка, в которой он увидел свет и возмужал? Это была утешительная мысль для того, кто сам оказался неудачником.

Да, я повторял слова, пришедшие мне на ум; а между тем, в другом отдалении моего мозга, я ликовал и пел, радуясь неожиданному богатству. Груда золота – четыре тысячи двести пятьдесят двойных орлов<sup>35</sup>, семнадцать тысяч безобразных соверенов, двадцать одна тысяча двести пятьдесят наполеондоров – плясала, кружилась, плавилась и освещала жизнь своим блеском в глазах воображения. Тут все было ясно: Рай – я разумею, Париж – становится доступным, Кэртью избавляется от преследования, Джим поправляется, кредиторы...

«Кредиторы!» – повторил я, и откинулся на спинку стула в оцепенении. Все это принадлежало им до последнего фартинга: мой дед умер слишком рано, чтобы спасти меня.

Должно быть, у меня есть задатки редкой решимости. В этот ответственный момент я чувствовал себя готовым на все крайности, кроме одной: предпринять что-нибудь или идти куда-нибудь, пока есть возможность спасти мои деньги. В худшем случае оставалось бегство, бегство в какую-нибудь из тех благословенных стран, где еще не занимались выдачей преступников.

*«Никого не выдают! Никогда в Каллао!»*

Эти незаконные слова вертелись у меня в голове, и я видел себя самого обнимающим мое золото в компании людей, подобных тем, которые когда-то сложили и распевали эту песню в грубых и кровавых кабаках гаваней Чили и Перу. Моя неудача, разрыв старой дружбы, это эфемерное состояние, блеснувшее на минуту перед моими глазами, чтобы тотчас исчезнуть, довели меня до отчаяния и (изъясняясь выразительно, но вульгарно) свинства. Пить грубые напитки с грубыми приятелями при свете факела; носить мое сокровище спрятанным в поясе; бороться за него с ножом в руке, катаясь по земляному полу, переезжать то и дело, меняя суда, с острова на остров, казалось мне, в моем тогдашнем настроении, желанными приключениями.

Это было худшее, но понемногу я начал соображать, что возможен и лучший исход. Раз ускользнув, очутившись в безопасности в Каллао, я мог бы вступить в сношения с кредиторами и при помощи ловкого агента уговорить их на сделку. Эта надежда навела меня на мысль о банкротстве. Странно, подумал я, сколько раз я спрашивал о нем Джима, и ни разу он не ответил мне. Торопясь узнать о разбившемся судне, он не счел нужным удовлетворить моего не менее законного любопытства. Как ни тяжело мне было идти к нему, но я решил, что должен это сделать и выяснить положение.

Я бросил обед недоеденным, заплатив, разумеется, за все и кинув служителю золотую монету. Я действовал, очертя голову, не знал, что мое и знать не хотел; решил брать, что дается в руки, и давать, что могу; похищать и расточать казалось мне необходимым дополнением моей новой участи. Я шел по Бом-стрит, посвистывая, подбадривая себя для ожидаемой встречи сначала с Мэми, а затем с миром вообще и неким воображаемым судьёю. У самого дома я остановился, закурив сигару для вящей бодрости духа, и, попыхивая ею и напустив на себя жалкое подобие (я уверен в этом) бахвальства, вновь явился на сцене моего посрамления.

Мой друг и его жена заканчивали скудный обед – обрывки старой баранины, холодные пирожки, оставшиеся от завтрака, и жидкий кофе.

– Прошу прощения, мистрис Пинкертон, – сказал я. – Жалею, что мне приходится навязывать свою особу там, где она вовсе нежелательна, но есть дело, о котором необходимо переговорить.

– Прошу вас, не обращайтесь на меня внимания, – сказала Мэми, вставая, и вышла в соседнюю спальню.

Джим посмотрел ей вслед и покачал головой: он выглядел плачевно старым и больным.

– В чем дело? – спросил он.

– Может быть, вы припомните, что не ответили ни на один из моих вопросов? – сказал я.

– Ваших вопросов? – пролепетал Джим.

– Именно так, Джим, моих вопросов, – повторил я. – Я задавал вопросы так же, как и вы, и если мои ответы не удовлетворили Мэми, то прошу вас вспомнить, что вы не дали мне никаких.

---

<sup>35</sup> «Eagle», – американская монета в 10 долларов (прим. перев.).

– Вы подразумеваете банкротство? – спросил Джим.

Я кивнул головой.

Он повернулся на стуле.

– Говоря по правде, я совестился, – сказал он. – Я пытался увернуться от ответа. Я сыграл с вами штуку, Лоудон, обманул вас с самого начала и стыдился сознаться в этом. И вот вы возвращаетесь домой и задаете тот самый вопрос, которого я боялся. Почему мы лопнули так скоро? Ваш острый деловой глаз не обманул вас. Вот в чем штука, вот в чем мой срам, вот что терзало меня сегодня, когда Мэми так отнеслась к вам, а моя совесть все время говорила мне: «Обманщик ты».

– Да в чем же дело, Джим? – спросил я.

– Это тянулось все время, Лоудон, – простонал он, – и я не знаю, как мне взглянуть вам в глаза и сознаться, после моей двуличности. Это были акции... – прибавил он шепотом.

– И вы боялись сказать мне! – воскликнул я. – Ах, вы, злополучный, старый, унылый мечтатель! Да что же это за важное дело? Разве вы не видите, что мы были осуждены на провал? И во всяком случае, не это меня интересует. Я хочу знать, как обстоят мои дела. У меня есть особая причина интересоваться этим. Чист ли я? Выдано мне удостоверение или когда я могу получить его? И с какого момента оно вступает в силу? Вы не знаете, какие важные вещи зависят от этого!

– Это худшее из всего, – проговорил Джим точно во сне, – не знаю, как и сказать ему.

– Что вы хотите сказать! – крикнул я, чувствуя в душе дрожь ужаса.

– Боюсь, что я принес вас в жертву, Лоудон, – ответил он, глядя на меня жалобно.

– Принесли меня в жертву? – повторил я. – Как так? Что вы подразумеваете под жертвой?

– Я знаю, что это заденет ваше чуткое самолюбие, – сказал он, – но что же мне было делать? Дела обстояли так плохо. Куратор... (как и раньше, это слово застряло в его горле, и он начал новую фразу). Пошли толки, репортеры уже травили меня, началась история, и все из-за Мексиканского предприятия; я перепугался и совсем потерял голову. Вас не было тут, и это было для меня искушением.

Я не знал, сколько еще времени он будет ходить таким образом вокруг да около, отделяясь какими-то страшными намеками, когда я и без того уже был вне себя от ужаса. Что такое он сделал? Я видел, что у него было какое-то искушение, я знал из его писем, что он был не в состоянии сопротивляться. Каким образом он принес в жертву отсутствующего?

– Джим, – сказал я, – вы должны высказаться откровенно! Я не могу больше выносить!..

– Ну, – сказал он, – я знаю, что это была вольность: я объяснил, что вы не деловой человек, что вы только неудачный живописец; что вы, собственно, ничего не знали, особенно по части денег и отчетов. Я сказал, что вы никогда не могли разобраться в этих вещах. Я сказал, что ввиду некоторых статей в книгах...

– Ради Бога, – воскликнул я, – выведите меня из этой агонии! В чем вы обвинили меня?

– В чем обвинил вас? – повторил Джим. – О чем же я говорю? Что вы не были компаньоном, а только чем-то вроде конторщика, которого я называл компаньоном, чтобы польстить вашему самолюбию; и таким образом я добился того, что вас признали кредитором, имеющим право требовать свое жалованье и вклад. И...

Я едва на ногах устоял.

– Кредитором! – заорал я. – Кредитором! Значит, я вовсе не участник банкротства?

– Нет, – сказал Джим. – Я знаю, что это была вольность...

– О, черт с ней, с вашей вольностью! Прочтите это, – крикнул я, бросая перед ним на стол письмо, – и позовите вашу жену и полно жевать эту дрянь!.. – Говоря это, я швырнул холодную баранину в пустой мусорный ящик. – Пойдем и закажем ужин с шампанским. Я обедал – не помню, что я ел, но я готов съесть двадцать обедов в такой вечер. Читайте же, олух вы этакий! Я не сумасшедший. Сюда, Мэми, – продолжал я, отворяя дверь в спальню, – идите сюда и помиритесь со мной и поцелуйте вашего мужа, а после ужина отправимся куда-нибудь на музыку и будем вальсировать до рассвета.

– Что все это значит? – воскликнул Джим.

– Это значит, ужин с шампанским сегодня и поездка в Долину Туманов или Монтерэй завтра, – ответил я. – Мэми, идите и одевайтесь, а вы, Джим, не сходя с места, берите листок бумаги и

пишите Франклину Доджу, что он может отправляться в Техас. Мэми, вы были правы, дорогая моя, я все время был богат и не знал этого!..

## Глава XIX

### Путешествие в обществе сутяги

Захватывающее и пагубное приключение с «Летучим Облачком» теперь совершенно закончилось; мы ринулись в эту пучину и вынырнули из нее для голодовки; мы разорились и спаслись, поссорились и помирились, нам оставалось только петь «Te Deum», подвести черту и начать новую страницу моего ненаписанного дневника. Я не утверждаю, что снова поднялся в глазах Мэми; это было бы больше, чем я заслужил, и без сомнения, я был менее откровенен, чем подобает компаньону и другу. Но она мило приняла новое положение, и в течение недели, которую я провел с ними, ни она, ни Джим не удручали меня вопросами. Мы отправились в Калистоту; там в это время много толковали о Нантской земельной спекуляции, и это заинтересовало Джима; он говорил мне, что ему доставляет удовольствие следить за чужими делами, как Наполеон на острове Святой Елены находил удовольствие в чтении военных книг. Джим распростился со своими честолюбивыми мечтами; он покончил с делами и мечтал об усадьбе в горной долине, о клочке маисового поля, о паре коров, о мирной созерцательной жизни в тени зеленых лесов. «Дайте мне только возможность лежать на травке, – говорил он, – и я пальцем не пошевелю».

Два дня он действительно отдыхал. На третий я застал у него местного издателя, и он сознался, что подумывает о покупке типографии и газеты. Это подходящее времяпровождение для праздного человека, сказал он извиняющимся тоном, если же повести дело умненько, оно может и доллары доставить. На четвертый день он пропал до обеда; на пятый предпринял продолжительную прогулку по новому полю деятельности, а шестой был проведен в составлении проспектов. К пионеру Мак-Брайд-Сити уже вернулись бодрость и самонадеянность, прежний огонь горел в его глазах, голос звучал по-прежнему; боевой конь почуял битву и приветствовал ее звонким ржанием. На седьмой день мы подписали товарищеский договор, так как Джим не хотел брать у меня ни единого доллара на иных условиях; и, запутав еще раз свою особу, или ее уязвимую часть – кошелек – в колесах его махинаций, я вернулся один в Сан-Франциско и поселился в Палас-Отеле.

В тот же вечер я пригласил обедать Нэрса. Его загорелое лицо, странная и неповторимая манера разговаривать напоминали мне дни, которые только что миновали, но казались уже далекими. Мне казалось, что сквозь звуки музыки, сквозь гул и звон обеденной залы я слышу грохот прибой и крики морских птиц на Мидуэй-Айленде. Ссадины на наших руках еще не зажили, а мы сидели, убажваемые услужливыми неграми, ели изысканные блюда и пили замороженное шампанское.

– Вспомните наши обеды на «Норе», капитан, и для контраста взгляните на эту залу.

Он медленно обвел взглядом залу.

– Да, это похоже на сон, – сказал он, – словно эти негры только призраки, и вот-вот откроется главный люк и Джонсон просунет в него свою большую голову и плечи, крикнет: «Восемь склянок» – и все это исчезнет.

– Нет, исчезло то, прежнее, – возразил я. – Все прошло, умерло и погребено. Аминь!

– Не знаю, мистер Додд, и сказать правду, не думаю, – заметил Нэрс. – Кое-что от «Летучего Облачка» еще в печи, а имя пекаря, сдается мне, Беллэрс. Он прицепился ко мне в день нашего возвращения: жалкое старенькое подобие человека: судейская одежда, полный набор прыщей; я сразу узнал его по вашему описанию. Я предоставлял ему выкачивать меня, пока не понял его игры. Он знает многое, чего мы не знаем, многое, что мы знаем, и подозревает остальное. Для кого-то заваривается плохое питье.

Меня удивило, что я не подумал об этом раньше. Беллэрс знал Диксона, знал о бегстве команды; вряд ли возможно, чтобы у него не возникли подозрения; но, несомненно, раз они возникли, он постарается извлечь из них выгоду.

Действительно, не успел я еще одеться на следующее утро, как адвокат постучал ко мне. Я впустил его, так как меня разбирало любопытство; и он, после уклончивого предисловия, напрямик предложил мне вступить с ним в долю.

– Долю в чем? – спросил я.

– Если вы позволите мне облечь мою мысль в несколько вульгарную форму, – сказал он, – то я спрошу вас: вы ездили на Мидуэй-Айленд для поправки здоровья?

– Не думаю, – ответил я.

– Равным образом, мистер Додд, вы можете быть уверены, что я не предпринял бы настоящего шага без веских оснований, – продолжал адвокат. – Навязываться не в моем характере. Но вы и я, сэр, заинтересованы в одном и том же деле. Если мы можем продолжать работу сообща, то я предоставляю в ваше распоряжение мое знание законов и значительную практику в деликатных делах этого рода. Если вы откажете в своей согласии, то можете найти во мне сильного и... – он немного помедлил, – к моему сожалению, быть может, опасного соперника.

– Вы заучили это наизусть? – спросил я шутливо.

– Советую это *вам!* – сказал он с внезапным проблеском гнева и угрозы, который, впрочем, тотчас исчез и сменился прежним раболепием. – Уверяю вас, сэр, я явился в качестве друга, и мне кажется, вы слишком низко цените мои сведения. Чтобы пояснить примером, я знаю до последнего фартинга, что вы получили (или, вернее, потеряли); мне известно также, что вы разменяли значительный вексель на Лондон.

– Что же отсюда следует? – спросил я.

– Я знаю, откуда взялся этот вексель, – воскликнул он, слегка отшатнувшись, как человек, который позволяет себе слишком много и инстинктивно пугается своей смелости.

– Ну-с? – сказал я.

– Вы забываете, что я был доверенным агентом мистера Диксона, – пояснил он. – Вам известен его адрес, мистер Додд. Только мы двое имели с ним сношения в Сан-Франциско. Вы видите, что мои выводы совершенно достоверны; вы видите, что я держу себя с вами откровенно и прямодушно, как желал бы держать себя со всяким джентльменом, которого связывает со мной общее дело. Вы видите, как много я знаю, и от вашего здравого смысла вряд ли могло ускользнуть, что было бы гораздо лучше, если б я знал все. Вы не можете питать надежды отделаться от меня, я занял известное место в деле, и выбросить меня невозможно. Предоставляю вам самому оценить, каких хлопот я могу наделать. Но не заходя так далеко, мистер Додд, и не затрудняя самого себя, я могу устроить не совсем приятные вещи. Например, ликвидация мистера Пинкертона. Вам и мне, сэр, и вам лучше, чем мне, известно, какая крупная сумма вам досталась. А участвует ли в этом мистер Пинкерстон? Только вы знали адрес и скрыли его. Допустим, что я снесусь с мистером Пинкертоном...

– Послушайте! – перебил я его, – сноситесь с ним, пока (если позволите мне облечь мою мысль в несколько вульгарную форму) ваша физиономия не украсится синяками. Единственная особа, с которой я не позволю вам дальше сноситься, это я сам. До свидания.

Он не мог скрыть своего бешенства, разочарования, удивления, и ушел (я уверен в этом) в припадке пляски святого Витта.

Меня взбесил этот разговор; мне было досадно сознавать, что меня подозревают со всех сторон, и выслушивать от сутяги то, что я выслушал уже от Мэми; но при всем этом мое сильнейшее впечатление было иное и может быть охарактеризовано как безличный страх. Было что-то противоестественное в дерзком бесстыдстве этого человека: меня точно вздумал бодать ягненок; такая дерзость со стороны подобного труса предполагает неизменное решение, давление крайней нужды и сильные средства. Я подумал о неизвестном Кэртью, и мне стало прискорбно, что этот хорек пустился его выслеживать.

Наведя справки, я узнал, что адвокат был только что исключен из сословия за какие-то плутни; и это открытие крайне усилило мое беспокойство. Это был негодяй без денег и без средств добыть их, выброшенный из своей профессии, публично осрамленный, и, без сомнения, озлобленный против вселенной. Тут был, с другой стороны, человек с какой-то тайной – богатый, испуганный, фактически скрывавшийся, готовый заплатить десять тысяч фунтов за остов «Летучего Облачка». Я незаметно становился союзником жертвы. Дело это преследовало меня целый день; я спрашивал себя, что известно адвокату, о чем он догадывается и когда начнет нападение.



Некоторые из этих проблем остаются нерешенными до сего дня, другие скоро разъяснились. Откуда он узнал имя Кэртю, до сих пор остается тайной; быть может, какой-нибудь матрос с «Бури», мой знакомый, например, доставил ему эти сведения; но я был буквально бок о бок с ним, когда он узнал адрес. Это случилось так. Однажды вечером, когда я был приглашен в гости и старался убить время до назначенного часа, мне случилось выйти во двор гостиницы, где играл оркестр. Тут было светло как днем, благодаря электрическим лампам, и я узнал в нескольких шагах от себя Беллэрса, беседовавшего с каким-то джентльменом, лицо которого показалось мне знакомым. Несомненно, я видел этого человека, и видел недавно; но где, и кто он такой, я не мог припомнить. Швейцар, стоявший недалеко от меня, дал мне необходимую справку. Незнакомец был офицер английского флота, возвращавшийся домой из Гонулулу по болезни. Если бы не перемена костюма и действие болезни, то я, без сомнения, немедленно узнал бы моего друга и корреспондента лейтенанта Сибрайта.

Схождение этих планет казалось зловещим, и я подошел к ним, но Беллэрс, по-видимому, сделал свое дело; он исчез в толпе и мой офицер остался один.

– Знаете ли вы, с кем вы говорили, мистер Сибрайт? – спросил я.

– Нет, – ответил он, – понятия не имею. Что-нибудь скверное?

– Он скомпрометированный адвокат, недавно исключенный из сословия, – сказал я. – Жаль, что я не заметил вас вовремя. Надеюсь, вы ничего не говорили ему о Кэртю?

Он покраснел до ушей.

– Мне чертовски жаль, – сказал он. – Он казался вежливым, и мне хотелось отделаться от него. Он спросил только адрес.

– И вы дали его? – воскликнул я.

– Право, мне чертовски жаль, – ответил Сибрайт. – Боюсь, что дал.

– Прости вам Бог! – ответил я, и повернулся спиной к болвану.

Теперь машина пошла в ход; Беллэрс узнал адрес, и теперь Кэртю предстояло вскоре услышать о нем. Впечатление было так сильно и так болезненно, что на другое утро я решил посетить логовище адвоката. Какая-то старуха мыла лестницу, доска была снята.

– Адвокат Беллэрс? – сказала старуха. – Уехал сегодня утром на Восток. Тут рядом живет адвокат Дин.

Я не побеспокоил адвоката Дина, но медленно вернулся в отель, раздумывая по дороге. Образ старухи, моющей оскверненную лестницу, поразил мое воображение; казалось, что вся вода в городе и все мыло в штатах не отмоют ее; этот притон так долго был гнездом грязных тайн и фабрикой скверных плутней. Теперь это логовище опустело; судья, подобно заботливой хозяйке, смахнул паутину, и паук отправился на поиски новых жертв в других местах. В последнее время я (как я уже сказал выше) незаметно принял сторону Кэртю; теперь, когда враг напал на его след, мое сочувствие еще более разгорелось, и я начал соображать, не могу ли помочь ему. Драма «Летучего Облачка» вступила в новую фазу. Она была странной с самого начала; она обещала экстраординарный конец, и я, заплативший так дорого за возможность увидеть начало, мог заплатить еще немного, чтоб посмотреть конец. Я томился в Сан-Франциско, отдыхая от трудного плавания, тратя деньги, сожалея об этом, постоянно обещая уехать завтра. Почему бы мне в самом деле не уехать и не последить за Беллэрсом? Если мне не удастся настичь его, беда небольшая; зато я буду ближе к Парижу. Если же я нападу на его след, то, вероятно, сумею сунуть палку в колеса его махинаций, а на худой конец могу обещать себе интересные сцены и разоблачения.

В таком настроении я принял решение и еще раз вмешался в историю Кэртю и «Летучего Облачка». Я написал прощальное письмо Джиму, и уведомительное доктору Эркварту, которого просил предостеречь Кэртю; на другой день я тронулся в путь и десять дней спустя уже разгуливал по палубе «Города Денвера». К этому времени мой ум вернулся к своему естественному состоянию; я говорил себе, что еду в Париж или Фонтенбло продолжать занятия искусством, и не думал больше о Кэртю и Беллэрсе или только улыбался своей фантазии. Первому я не мог помочь, если б даже хотел этого; второго я не мог найти, если б даже имел возможность, найдя, повлиять на него.

И при всем том я был бок о бок с нелепым приключением. Вечером моим соседом за столом оказался один господин из Фриско, которого я немного знал. Он приехал в Нью-Йорк двумя

сутками раньше меня, и этот пароход был первый, отплывший из Нью-Йорка в Европу после его приезда. Двумя сутками раньше меня, значит, сутками раньше Беллэрса; и едва дождавшись конца обеда, я поспешил к судовому комиссару.

– Беллэрс? – повторил он. – В первом классе нет, я уверен. Может быть, во втором. Список еще не полон, но... ага! «Гарри Д. Беллэрс?» Это его имя? Стало быть, он здесь.

На следующее утро я увидел его на носовой палубе: он сидел в кресле с книгой в руке, укутав колени потертой шкурой пумы: картина почтенного упадка. Я следил за ним, не спуская глаз. Он читал книгу, вставал и любовался морем, при случае заговаривал с соседями, а однажды поднял упавшего ребенка и старался утешить его. Я проклинал его в душе; книга, которую он, конечно, не читал, море, к которому он, без сомнения, был равнодушен, ребенок, которого он, наверное, охотно выбросил бы за борт, – все это казалось мне элементами театрального представления, и я не сомневаюсь, что он уже разведывает секреты других пассажиров. Я не старался остаться незамеченным; мое презрение к этому человеку равнялось моему отвращению. Но он не смотрел на меня, и только вечером я узнал, что он меня заметил.

Я курил у дверей машинного отделения, так как было свежо, когда чей-то голос раздался в темноте возле меня.

– Прошу прощения, мистер Додд, – произнес он.

– Это вы, Беллэрс? – отозвался я.

– Одно слово, сэр. Ваше присутствие на корабле не является ли следствием нашего разговора? – спросил он. – Не пришло ли вам в голову, мистер Додд, отказаться от вашего решения?

– Нет, – сказал я, и видя, что он все еще топчется подле меня, был настолько вежлив, что прибавил «покойной ночи»; на что он ответил вздохом и удалился.

На другой день он оказался на том же месте, с книгой и шкурой пумы; так же упорно читал книгу и любовался морем; и если не было ребенка, которого понадобилось бы поднять, то я заметил, что он несколько раз оказывал услуги больной женщине. Ничто так не развивает подозрительность, как выслеживание; человеку, за которым вы шпионите, достаточно повести носом, чтобы вы обвинили его в коварных замыслах, и я воспользовался первым удобным случаем, чтобы подойти поближе и взглянуть на женщину. Она была бедна, стара, и очевидно из простых людей; я сконфузился, почувствовав, что обязан вознаградить Беллэрса за свои несправедливые подозрения, и видя, что он стоит у борта в созерцательной позе, подошел и окликнул его.

– Вы, по-видимому, большой любитель моря, – сказал я.

– Это моя страсть, мистер Додд, – ответил он. – «И мощный водопад манил меня как страсть», – процитировал он. – Море никогда не надоедает мне, сэр. Это мое первое океанское плавание. Я чрезвычайно доволен им. – Тут исключенный из сословия адвокат снова пустился в поэзию: «Кати, глубокий океан, свои синевящие волны!»

Хотя я читал это стихотворение в школьной хрестоматии, но я появился на свет слишком поздно, а с другой стороны, думаю, слишком рано, чтобы оценить по достоинству Байрона; и звучный стих, прекрасно произнесенный, поразил меня.

– Вы также любитель поэзии? – спросил я.

– Я охотник до чтения, – ответил он. – Одно время я начал было составлять небольшую, но избранную библиотеку, и когда она рассеялась, я сохранил несколько томов – главным образом вещей, предназначенных для декламации, которые были моими спутниками в путешествиях.

– Это одна из них? – спросил я, указывая на книгу, которую он держал в руке.

– Нет, сэр, – ответил он, показывая мне перевод «Страданий молодого Вертера», – это повесть, которую я достал недавно. Она доставила мне много удовольствия, хотя это книга безнравственная.

– О, безнравственная! – воскликнул я, негодуя, как водится, на это смешение искусства с этикой.

– Конечно, вы не можете отрицать этого, сэр, если знаете книгу, – сказал он. – Изображается незаконная страсть, хотя бесспорно с большим пафосом. Это произведение нельзя предложить даме, что во всех отношениях достойно сожаления, так как, не знаю, какого вы о нем мнения, но, по-моему, как изображение оно далеко превосходит своих соперников, даже знаменитых

соперников. Даже у Скотта, Диккенса или Готорна чувство любви, как мне кажется, не всегда бывает описано так верно и справедливо.

– Вы высказываете очень распространенное мнение, – заметил я.

– Неужели, сэръ? – воскликнул он с непритворным изумлением. – Значит, это известная книга? Кто такой *Готи*? Я интересуюсь этим, потому что на заглавном листе обычные инициалы опущены и сказано просто «сочинение *Готи*». Это какой-нибудь известный автор? Есть у него какие-нибудь произведения?

Такова была наша первая беседа, первая из многих; и во всех он проявлял те же привлекательные качества и те же недостатки. Его влечение к литературе было прирожденное и непритворное; его сентиментальность, хотя крайняя и несколько смешная, была искренней. Я удивлялся своему простодушию. Почему, в самом деле, будучи знаком с противоречиями человеческой природы, я ожидал найти в Беллэрсе цельную натуру, из одного куска, всецело подчиненную своему ремеслу, насквозь и во всем шпиона? Ненавидя ремесло этого человека, я ожидал, что буду ненавидеть и его самого; а между тем, он мне нравился. Бедняга! Он был, по существу, тряпка, воплощенная чувствительность и трепет, напичкан дешевой поэзией, не лишен способностей, но совершенно лишен мужества. Его дерзость была отчаянием; бездна, разверзавшаяся за ним, подстрекала его; он был одним из тех людей, которые скорее способны совершить убийство, чем сознаться в краже почтовой марки. Я был уверен, что предстоящее объяснение с Кэртью угнетало его воображение, как кошмар; мне казалось, что я знаю, когда эта мысль приходит ему в голову, по страдальческому выражению его лица. Но он не мог отступить. Нужда стояла у него за плечами, голод (его старый гонитель) следовал за ним по пятам; и я спрашивал себя, удивление или отвращение возбуждает во мне этот дрожащий героизм, направленный на зло. Сравнение, пришедшее мне в голову после его посещения, было правильно: меня пытался забодать ягненок, и жизненное явление, которое я теперь изучал, может быть названо Бунтом Овцы.

О нем можно было сказать, что он на собственной шкуре испытал то, что проделывал с другими, и что его жизнь была не лучше жизни любой из его жертв. Он родился в штате Нью-Йорк; отец его был фермером, потом разорился и ушел на Запад. Стряпчий и ростовщик, разоривший эту бедную семью, по-видимому, почувствовал угрызения совести; он выгнал отца, но предложил ему, в виде компенсации, взять на свое попечение одного из сыновей; и Гарри, пятый сын, уже тогда болезненный, был оставлен. Он оказался полезным в конторе; приобрел кое-какие азы образования; читал, что попадет; присутствовал на собраниях Христианской Ассоциации Молодых Людей и принимал участие в их дебатах; и в свои юные годы был образцом для нравоучительной книжки. Встреча с дочерью его хозяйки оказалась для него роковой. Он показывал мне ее фотографию: дебелия, красивая, эффектная, нарядная, вульгарная баба, без характера, без чувства, без ума, и (как показали факты) без добродетели. Больной и робкий мальчик, живший в ее доме, был под рукою; когда не было других, она заигрывала с ним! – пока не сделалась светом жизни и предметом грез жалкого малого в его тоскливом существовании. Он работал, как Иаков для жены; превзошел своего патрона в деловитости; сделался главным клерком; и в тот же день, поощряемый сотнями вольностей, угнетаемый сознанием своей молодости и болезненности, сделал предложение, которое было встречено смехом. Не прошло и года, как его хозяин, чувствуя наступающую старость, принял его в компаньоны. Он снова сделал предложение, оно было принято; последовали два года тревожной брачной жизни; проснувшись однажды утром, он узнал, что его жена сбежала с блестящим коммивояжером, оставив ему кучу долгов. Предполагалось, что долги, а не коммивояжер, были причиной внезапного переселения: она скрывала свои обязательства; наступил момент, когда они должны были обнаружиться; Беллэрс ей надоел, и вот она взяла коммивояжера, как могла бы взять извозчика. Удар сокрушил ее супруга; компаньон его умер, он должен был один вести дело, с которым не мог больше справляться; долги замучили его; последовало банкротство, и он бежал из города в город, изо дня в день опускаясь все ниже. Надо принять во внимание, что он учился и привык смотреть как на приятную обязанность на такую практику, высшим достоинством которой было умение увернуться от скамьи подсудимых: практику адвоката, занимающегося ростовщичеством. С такой подготовкой он был теперь выброшен в подозрительные кварталы городов, в положении скитальца без гроша в кармане; вряд ли можно было удивляться результату.

– Имели вы после этого какие-нибудь сведения о своей жене? – спросил я.

Он жалостно заерзал.

– Боюсь, что вы будете плохого мнения обо мне, – сказал он.

– Вы приняли ее обратно? – спросил я.

– Нет, сэр. Надеюсь, что для этого у меня слишком достаточно самоуважения, – ответил он, – впрочем, она и не просилась обратно. Она не хочет вернуться, она не любит меня, по-видимому, даже питает ко мне положительное отвращение, а между тем я считался снисходительным супругом.

– Значит, вы все еще поддерживаете сношения? – спросил я.

– Судите меня как угодно, мистер Додд, – ответил он, – свет очень суров; мне самому пришлось испытать эту суровость, испытать горечь жизни. Каково же приходится женщине, которая к тому же поставила себя (своим собственным дурным поведением: этого я не отрицаю) в такое несчастное положение?

– Словом, вы помогаете ей? – подсказал я.

– Не могу отрицать этого. Действительно помогаю, – признался он. – Это жернов на моей шее. Но я думаю, что она признательна мне. Можете судить сами.

Он протянул мне письмо, нацарапанное безобразными каракулями, но на прекрасной пунцовой бумаге, с монограммой. Оно было очень глупо по изложению, и по-моему (за исключением нескольких условных ласкательных выражений), бездушно и сухо по содержанию. Писавшая говорила, что она больна, чему я не верил; что последняя получка целиком пошла на лечение, которое я мысленно заменил нарядами, питьем и монограммами; и просила прибавки, в которой, надеюсь, ей было отказано.

– Мне кажется, она действительно благодарна? – спросил он с некоторой горячностью, когда я вернул письмо.

– Кажется, – сказал я. – Имеет она какие-нибудь права на вас?

– О нет, сэр. Я развелся с ней, – возразил он, – у меня очень строгое чувство самоуважения в этих вещах, и я развелся с ней немедленно.

– Какой образ жизни она ведет теперь? – спросил я.

– Не хочу вас обманывать, мистер Додд. Я не знаю, стараюсь не знать; в этом больше достоинства. Меня жестоко бранили, – прибавил он, вздыхая.

Как видите, я позорно сблизился с человеком, которому собирался стать поперек дороги. Моя жалость к этому существу, его восхищение мною, удовольствие, которое он находил в моем обществе, очевидно, непритворное, – таковы были узы, сковавшие нас; быть может, говоря по совести, я должен прибавить к ним мой дурно направленный интерес к явлениям жизни и человеческим характерам. Факт тот (по крайней мере), что мы ежедневно просиживали вместе часами, и что я проводил на носовой палубе почти столько же времени, сколько в салоне. Но все это время я ни разу не забывал, что он обнищавший плут, замышляющий грязную аферу. Сначала я говорил себе, что наше знакомство – ловкий ход с моей стороны, и что я действую в пользу Кэртю. Я говорил это себе, но не был так глуп, чтобы верить этому даже тогда. В этих обстоятельствах я проявил в самом широком масштабе две главные особенности моего характера – мою беспомощность и мою инстинктивную любовь к медлительности и выбрал такой смехотворный образ действий, что краснею при воспоминании о нем.

Мы прибыли в Ливерпуль утром; частый, докучливый дождик сеял над грязным городом. У меня не было никаких планов кроме нежелания улизнуть моему плуту; и я дошел до того, что остановился в одной с ним гостинице, обедал с ним, гулял с ним по мокрым улицам и слушал с ним в дешевом театрике почтенную пьесу «Раскаявшийся каторжник». Это было чуть ли не первое его посещение театра, так как он питал сильное предубеждение к этим увеселительным местам; и его невинный, напыщенный разговор, невинные старые цитаты и простодушное восхищение героем пьесы безмерно забавляли меня. Из сожаления к себе я распространяюсь о своих удовольствиях и, может быть, преувеличиваю их. Я нуждаюсь во всяких мыслимых извинениях, так как вынужден сознаться, что я улегся спать, не заикнувшись о деле Кэртю, но условившись с моим проходимцем отправиться на следующий день в Честер. В Честере мы осмотрели собор, бродили по крепостным стенам, рассуждали о Шекспире и о стеклянных гармониках – и условились насчет завтрашней поездки. Не знаю, и рад, что забыл, как долго

продолжались эти путешествия. Мы посетили, двигаясь странными зигзагами, Стратфорд, Варвик, Ковентри, Глочестер, Бристоль, Бат и Уэльс. На каждой остановке мы толковали, как подобает, о местности и ее особенностях; я рисовал, сутяга извергал стихи и списывал эпитафии. Кто бы мог усомниться, что мы двое американцев, путешествующих для самообразования. Кто бы мог подумать, что один из них шантажист, с трепетом приближающийся к месту действия, а другой – беспомощный сыщик-любитель, выжидающий дальнейшего развития событий?

Нет надобности замечать, что ничего подходящего для моего намерения оказать содействие Кэртью не случилось. Два мелочных происшествия, впрочем, пополнили, хотя и не изменили, мое представление о сутяге. Первое случилось в Глочестере, где мы провели воскресенье, и я предложил прослушать службу в соборе. К моему удивлению, у этого создания оказался свой изм, которому он был верен; и он предоставил мне идти в собор одному, или, быть может, вовсе не идти, а сам отправился по безлюдной улице в какую-то молельню своего толка. Когда мы снова сошлись за ленчем, я стал подсмеиваться над ним, а он окрысился.

– Вы бы говорили со мной без околичностей, мистер Додд, – сказал он внезапно. – Вы смотрите на мое поведение с неблагоприятной точки зрения: боюсь, что вы считаете меня лицемером.

Я был несколько сконфужен этим нападением.

– Вы знаете, что я думаю о вашем ремесле, – возразил я неловко и грубо.

– Простите, если я покажусь чересчур настойчивым, – продолжал он, – но если вы считаете мою жизнь неправильной, то почему вы хотите, чтобы я пренебрегал средствами спасения? Считаю меня неправым в одном пункте, вы хотите, чтобы я оказался неправым во всем. Конечно, сэръ, церковь для грешника.

– Вы просили небо благословить ваше предприятие? – усмехнулся я.

На него напал сильный припадок пляски святого Витта, лицо его изменилось, глаза сверкнули.

– Я вам скажу, что я делал! – воскликнул он. – Я молился за несчастного человека и погибшую женщину, которой он пытается помочь.

Сознаюсь, что я не нашелся, что ответить.

Второй инцидент случился в Бристоле, где я потерял из виду моего джентльмена на несколько часов. Из этой отлучки он вернулся нетвердыми шагами, с заплетающимся языком, весь перепачканный известкой. Я почти ожидал этого и при всем том чуть не заплакал при таком зрелище. Все беды обременяли эту слабую спину – семейная неудача, нервное расстройство, неприятная наружность, пустые карманы и гибельный порок.

Я не буду отрицать, что наше продолжительное сближение было результатом двойной хитрости. Каждый боялся оставить другого, каждый боялся говорить или не знал, что сказать. За исключением моего неудачного намека на Глочестер, предмет, наиболее занимавший нас обоих, мы обходили молчанием. Кэртью, Стальбридж-ле-Кэртью, Стальбридж-Минстер – который мы давно уже (и не раз) отождествляли с ближайшей станцией, даже название Дорсетшайра тщательно обходились в наших разговорах. А между тем мы все время подвигались вперед, скитаясь по широкой Англии, как корабль, лавирующий против ветра, приближаясь к месту нашего назначения не прямо, а обходными маневрами. Наконец, сам не знаю как, медлительный местный поезд высадил нас на платформе Стальбридж-Минстер.

Город был древний и тесный, сущее домино из крытых черепицей домов и обнесенных стенами садов; он казался крошечным в силу контраста с непропорционально огромной церковью. С середины улицы, делившей его на две части, видны были с обеих сторон поля и деревья: зеленая трава молчаливо заполняла улицы, надвигаясь из деревни. Пчелы и птицы составляли, по-видимому, большинство населения; в каждом саду имелся ряд ульев, карнизы каждого дома были усеяны гнездами ласточек, а башенки церкви обвевались целый день множеством крыльев. Город был основан римлянами; когда я смотрел под вечер на улицу из низенького окошка гостиницы, я, пожалуй, не удивился бы, увидев центуриона с отрядом усталых легионеров. Короче говоря, Стальбридж-Минстер был один из тех городков, которые Англия бережет для назидания и восхищения американского туриста, в которые его приводит, по-видимому, какое-то чутье, не менее замечательное, чем чутье сеттера, и которые он посещает и покидает с одинаковым удовольствием.

Я был вовсе не в настроении туриста. Я затратил несколько недель и не выполнил ничего; мы стояли накануне решительных действий, а у меня не было ни планов, ни союзников. Я взял на себя функции частного провидения и любителя-сыщика; истратил много денег и осрамился.

Все время я толковал себе, что должен наконец заговорить; что это позорное молчание надо было нарушить давно и необходимо нарушить теперь. Мне следовало нарушить его, когда он впервые предложил съездить в Стальбридж-Минстер; мне следовало нарушить его в поезде, мне следовало нарушить его в автобусе, у подъезда гостиницы, много раз. Я поворачивался к моему спутнику с этой мыслью, а он ежился, и я предлагал вместо того осмотреть собор.

Пока мы исполняли эту обязанность, начался настоящий тропический ливень. Гул дождя отдавался под сводами собора; водосточные трубы извергали целые потоки; мы брели обратно в гостиницу по щиколотку в воде импровизированных ручьев, и остаток дня провели, арестованные непогодой, прислушиваясь к звукам потока.

Два часа я болтал о безразличных вещах, старательно поддерживая разговор; два часа я ежеминутно готов был исполнить свой долг – и каждую минуту откладывал это до следующей. Чтобы придать себе куражу, я потребовал за обедом бутылку шампанского. Оно оказалось дрянью, я почти не прикоснулся к нему, и Беллэрс, совершенно не разбирающийся в винах, прикончил его один. Без сомнения, вино подействовало на него; без сомнения, от него не ускользнуло мое замешательство днем; без сомнения, он чувствовал, что мы подошли к кризису, и что сегодня вечером я или соединюсь с ним, или объявлю себя его открытым врагом. В конце концов он сбежал. Обед кончился, наступил момент, когда я решил прервать молчание; дальнейшие отсрочки были недопустимы, дальнейшие извинения неприемлемы. Я пошел наверх за табаком, чувствуя необходимость в этом подкреплении при подобных обстоятельствах, а когда вернулся, мой молодец исчез. Слуга сказал мне, что он ушел со двора.

Дождь по-прежнему лил, точно огромный душ, над безлюдным городом; улица мерцала из конца в конец, озаряемая светом ламп, окон и отблеском в лужах. Из кабака на противоположной стороне улицы доносилось дребезжанье арфы, и унылый голос пел «Вторую Вахту», «Якорь поднят» и другие матросские песни. Куда направился мой сутяга? По всей вероятности, в этот лирический кабак; выбора развлечений не было; в сравнении со Стальбридж-минстером в дождливую ночь овечий загон показался бы веселым.

Я снова мысленно пересмотрел главные пункты разговора, начать который всегда твердо решался, когда мой противник отсутствовал, и снова они показались мне несостоятельными. От этого обескураживающего занятия я обратился к местным развлечениям и в течение некоторого времени рассматривал гравюры, развешанные по стенам залы. Железнодорожный путеводитель, сообщивший мне, как скоро я могу оставить Сталь-бридж и как скоро попасть в Париж, не мог надолго занять мое внимание. Иллюстрированный указатель отелей поверг меня в уныние; когда же я взялся за местную газету, то чуть не заплакал. В той крайности я нашел мимолетное утешение в календаре Уйтекера и в пятьдесят минут приобрел больше сведений, чем мне могло понадобиться.

Тут новое опасение овладело мною. Что, если Беллэрс удрал от меня? Что, если он катит теперь в Стальбридж-ле-Кэртю? Или, быть может, уже явился туда и излагал побледневшему слушателю свои угрозы и предложения? Торопливый человек мог бы немедленно пуститься в погоню. Каков бы я ни был, но я нетороплив, и нашел три важных возражения. Во-первых, я не мог быть уверен, что Беллэрс уехал. Во-вторых, мне вовсе не улыбалась поездка в такой поздний час и под таким немилосердным дождем. В-третьих, я не представляю себе, как меня примут, если я отправлюсь, и что я скажу, если меня примут. «Короче говоря, – заключил я, – все это положение чистейший фарс. Ты забрался туда, где тебе нечего делать и где ты совершенно бессилен. Ты был бы так же полезен в Сан-Франциско; гораздо счастливее в Париже; а раз ты очутился (попущением Божьим) в Стальбридж-Минстере, то самое умное, что ты можешь сделать, это улечься спать». По пути в спальню я догадался (в силу внезапного озарения), что мне давно следовало сделать и о чем теперь поздно было думать, – я подразумеваю письмо к Кэртю, с подробным изложением фактов и описанием Беллэрса, которое позволило бы ему защитить себя, если б это оказалось возможным, и дало бы ему время бежать, в противном случае. Это был последний удар моему самолюбию; и я бросился в постель с сознанием обиды.

Не знаю, в котором часу меня разбудил Беллэрс, вошедший со свечой. Он был перед этим пьян, так как весь перепачкался в грязи; но теперь он был трезв и под влиянием какого-то сильного волнения, которое с трудом подавлял. Он заметно дрожал, и не раз в течение последовавшего разговора, слезы внезапно и безмолвно струились по его щекам.

– Прошу прощения, сэр, за это несвоевременное посещение, – сказал он. – Я не оправдываюсь, не извиняюсь, я дурно вел себя и наказан поделом; я явился с целью просить вашего сострадания и помощи, или – да поможет мне Бог! – я боюсь, что с ума сойду!

– Что случилось? – спросил я.

– Меня обокрали, – сказал он. – Я не оправдываюсь; это случилось по моей вине, я наказан поделом.

– Но, Бог ты мой! – воскликнул я. – Кто же мог обокрасть вас в таком месте, как это?

– Не могу себе представить, – ответил он, – не имею понятия. Я лежал в канаве без сознания. Это унижительное сознание, сэр; я могу только сказать в свою защиту, что, может быть, вы (по вашему добродушию) до некоторой степени ответственны в моем позоре. Я не привык к таким роскошным винам.

– Какие у вас были деньги? Может быть, удастся выследить их, – надоумил я.

– Английские соверены. Я разменял в Нью-Йорке; очень выгодно разменял, – сказал он и воскликнул с внезапным порывом: – Боже милостивый! Каких трудов мне стоило добыть их!

– Это не обещает успеха, – заметил я. – Может быть, не мешает обратиться в полицию, но вряд ли можно надеяться на что-нибудь.

– У меня нет никаких надежд в этом направлении, – сказал Беллэрс, – все мои надежды, мистер Додд, сосредоточены на вас. Я мог бы легко убедить вас, что маленькая, очень маленькая ссуда будет превосходным помещением денег, но я предпочитаю положиться на вашу гуманность. Наше знакомство началось необычайно, но вы знакомы со мной уже какой-то период времени. Мы были некоторое время... я хотел сказать, что мы были почти друзьями. Под влиянием инстинктивной симпатии я излил перед вами мою душу, мистер Додд, что мне случалось делать очень редко; и я думаю – я надеюсь – могу сказать, я уверен, что вы слушали меня с дружеским чувством. Это-то и привело меня к вам в такой непростительный час. Но поставьте себя на мое место – мог ли я уснуть, мог ли я подумать о сне в этой тьме угрызений совести и отчаяния? Подле меня был друг – так я осмелился думать о вас; это вышло инстинктивно: я кинулся к вам, как утопающий хватается за соломинку. Эти выражения не преувеличены, они вряд ли могут передать мое душевное волнение. Подумайте, сэр, как легко вам вернуть мне надежду и, могу сказать, рассудок. Небольшая ссуда, которая будет возвращена сполна. Пятьсот долларов вполне довольно. – Он следил за мной горящими глазами. – Довольно будет четырехсот. Я думаю, мистер Додд, что при экономии могу обойтись и двумястами.

– И вернете их мне из кармана Кэртю? – сказал я. – Очень вам обязан. Но я вам скажу, что я сделаю: я провожу вас на пароход, заплачу за ваш обратный переезд в Сан-Франциско и вручу судовому комиссару пятьдесят долларов, которые он выдаст вам в Нью-Йорке.

Он впивался в мои слова; лицо его выражало экстаз лукавой мысли. Я мог прочесть по нему, что он думал только о том, как провести меня.

– А что я стану делать во Фриско? – спросил он. – Я исключен из сословия, у меня нет профессии, я не могу копать землю, просить... – Он не закончил фразы. – И вы знаете, что я не один, – прибавил он, – другие зависят от меня.

– Я напишу Пинкертону, – ответил я, – я уверен, что он поможет вам найти какое-нибудь занятие, а тем временем, в течение трех месяцев со дня вашего прибытия, он будет выдавать вам лично, первого и пятнадцатого числа, по двадцать пять долларов.

– Мистер Додд, мне трудно поверить, что ваше предложение серьезно, – возразил он. – Разве вы забыли обстоятельства дела? Известно ли вам, что эти люди местные магнаты? О них говорили сегодня вечером в салоне; одно их недвижимое имущество составляет несколько миллионов долларов; их дом местная достопримечательность, а вы предлагаете мне взятку в несколько сотен!

– Я не предлагаю вам взятку, мистер Беллэрс, я подаю вам милостыню, – ответил я. – Я пальцем не пошевелю, чтобы помочь вам в вашем гнусном предприятии, но мне не хотелось бы, чтоб вы умерли с голоду.

– Дайте мне сто долларов, и покончим на этом! – крикнул он.

– Я сделаю то, что сказал, ни более, ни менее, – сказал я.

– Берегитесь, – крикнул он, – вы ведете глупую игру! Вы наживаете врага без надобности; вы ничего не выиграете этим, уверяю вас! – И, внезапно изменив тон, прибавил: – Семьдесят долларов, только семьдесят, умоляю вас, мистер Додд, во имя милосердия! Не отрывайте кубка от моих уст! У вас доброе сердце. Подумайте о моем положении, вспомните о моей несчастной жене.

– Вам бы следовало подумать о ней раньше, – сказал я. – Я сделал вам предложение и хочу спать.

– Это ваше последнее слово, сэр? Прошу вас, подумайте, прошу вас, взвесьте все хорошенько: мое бедственное положение, угрожающую вам опасность. Я предостерегаю вас – я умоляю вас: взвесьте это, прежде чем ответите, – не то умолял, не то грозил он.

– Что я сказал, при том и остаюсь, – ответил я.

Перемена в этом человеке была поразительна. Буря гнева, потрясавшая его, снова всколыхнула осадок хмеля; лицо его исказилось, слова дышали безумием и бешенством; страшные гримасы, выразительные сами по себе, усиливались припадком пляски святого Витта.

– Вы, может быть, позвольте мне высказать вам мое обдуманное мнение, – начал он с виду спокойно, но внутренне сотрясаясь от бешенства, – когда я буду со святыми в раю, я увижу, как вы будете вопить о капле воды, и порадуюсь этому зрелищу. Это ваше последнее слово! Оставайтесь с ним, вы, шпион, неверный друг, жирный лицемер! Я вызываю вас, вызываю и презираю, и плюю на вас! Я напал на след, на ваш след или на его, я чую кровь, я выслежу ползком, выслежу, хотя бы пришлось подохнуть с голоду! Я тебя достану, достану, достану! Будь моя сила, я вырвал бы из тебя внутренности, здесь, в этой комнате, – вырвал бы, вырвал! Будь ты проклят, проклят, проклят! Ты считаешь меня слабым? Я сумею укусить, укусить до крови, укусить тебя, извести тебя...

Он бесновался таким образом, пока эта сцена не была прервана появлением хозяина и прислуги, в различных степенях дебильности, и я мог поручить им моего временного помешанного.

– Отведите его в его номер, – сказал я, – он только пьян.

Таковы были мои слова, но я знал больше. После всех моих наблюдений над мистером Беллэрсом я сделал еще открытие в последнюю минуту – он был тайно и неизлечимо болен.



## Глава XX

### Стальбридж-ле-Кэртю

Задолго до моего пробуждения сутяга исчез, не заплатив по счету. Мне не было надобности разузнавать, куда он отправился; я и без того знал это, я знал, что мне остается только последовать за ним, и около десяти утра я нанял фаэтон и поехал в Стальбридж-ле-Кэртю.

Дорога, в течение первой четверти пути, покидает долину и пересекает вершину мелового холма, где пасутся стада овец и реют бесчисленные жаворонки. Пейзаж был приятный, но незанимательный, привлекающий, но не задерживающий внимание, и мои мысли вернулись к бурному происшествию минувшей ночи. Мое мнение о человеке, за которым я следил, сильно изменилось. Я представлял его себе где-то впереди меня, на опасном пути, с которого его не заставят свернуть, на котором его не остановят ни страх, ни рассудок. Я назвал его хорьком; теперь он казался мне бешеной собакой. Мне представлялось, что он не идет, а бежит, и лает на бегу с пеной у рта; мне представлялось, что если бы китайская стена преградила ему путь, он принялся бы царапать ее ногтями.

Дорога снова свернула с холма, спустилась по крутому косоугору в долину Сталля и продолжалась среди огороженных полей в тени деревьев. Мне сказали, что мы теперь находимся во владениях Кэртю. Наконец налево показалась стена с зубцами, и вскоре я увидел замок. Он стоял в ложбине парка, окруженный высокими деревьями и зарослями лавров и рододендронов, обилие которых неприятно поразило меня. Несмотря на свое положение в низине и соседство огромных деревьев, здание казалось громадным как собор. За ним, продолжая ехать вдоль стены парка, я увидел целый город служб, примыкавших к мызе. Влево виднелся пруд, по которому плавали лебеди. Направо расстился цветочный сад старомодного типа, блиставший в это время года как разноцветное стекло. Передний фасад дома имел более шестидесяти окон над террасой и увенчивался фронтоном. Широкая дорога, частью усыпанная песком, частью под газоном, окаймленная с каждой стороны тремя рядами деревьев, вела к огромным воротам. Невозможно было смотреть без удивления на место, устраивавшееся в течение стольких поколений, стоившее груды чеканного золота и поддерживавшееся в порядке таким множеством усердных слуг. А между тем о присутствии последних можно было догадаться только по совершенству их работы. Все владение было прибрано и вычищено, как палисадник какого-нибудь пригородного любителя, и я тщетно высматривал замешкавшегося садовника и тщетно прислушивался к звукам работы. Только мычание коров и щебетание птиц нарушали тишину, и даже деревушка, приютившаяся у ворот, как будто задерживала дыхание из почтения к своему великому соседу, точно толпа детей, забравшаяся в королевскую переднюю.

«Герб Кэртю», маленькая, но очень уютная гостиница, была принадлежностью владений и аванпостом семьи, имя которой она носила. Гравированные портреты покойных Кэртю украшали ее стены; Фжльдинг Кэртю, регистратор Лондонского Сити; генерал-майор Джон Кэртю, распорядитель какими-то военными операциями; почтенный Бэли Кэртю, член парламента за Стальбридж, стоящий у стола и размахивающий каким-то документом; Сингльтон Кэртю, эсквайр, изображенный перед стадом рогатого скота, – без сомнения, по желанию его арендаторов, поднесших ему это произведение искусства, – и почтенный архидиакон Кэртю, D. D., L. L. D., A. M., положивший руку на голову маленького ребенка: жест получился отменно натянутым и смешным. Насколько припоминаю, других картин не было в этой исключительной гостинице, и я не удивился, узнав, что хозяин ее экс-дворецкий, хозяйка экс-горничная миледи, а буфет род добавочного вознаграждения бывших слуг.

На американца господство этой семьи над таким значительным участком земли производило гнетущее впечатление; а когда я просмотрел ее летопись, изложенную в надписях под картинами, к моему неприятному чувству начало примешиваться удивление. «Регистратор», конечно, почтенная должность, но мне казалось, что в течение стольких поколений Кэртю могли бы забраться повыше. Солдат остановился на генерал-майоре; церковник благодумствовал в неизвестности архидиакона; и хотя почтенный Бэли, по-видимому, пробрался в тайный

совет, но мне неизвестно было, что он там делал. Такие обширные средства, такая долгая карьера и такие скромные успехи, – все это внушало мне мыслью о тупости рода.

Я убедился, что приехать в деревушку и не посетить замка было бы сочтено за оскорбление. Покормить лебедей, полюбоваться на павлинов и Рафаэлей, – эти знатные люди обязательно владеют двумя Рафаэлями, – рискнуть жизнью при осмотре знаменитого стада чиллингэмов Кэртю и сходить на поклон к родителю (еще живому) Донибристль, достославной победительницы в Оксе<sup>36</sup>[36]: таковы были, по-видимому, неизбежные стадии паломничества. Я не был так безумен, чтобы отказаться, так как мне могло понадобиться перед отъездом общее расположение, и две новости вознаградили меня за покорность. Во-первых, оказалось, что мистер Кэртю отправился «путешествовать»; во-вторых, что передо мной был посетитель, который уже осмотрел достопримечательности Кэртю. Мне казалось, что я знаю, кто это был, и хотелось узнать, что он делал и видел; и судьба благоприятствовала мне: младший садовник, назначенный мне в проводники, уже исполнял ту же функцию при моем предшественнике.

– Да, сэр, – сказал он, – американский джентльмен. Я не думаю, впрочем, чтобы он был вполне джентльмен; но очень вежливая личность.

Во всяком случае, личность была настолько вежлива, что восхищалась чиллингэмами Кэртю, выполнила всю программу с возрастающим восторгом и почти простерлась ниц перед родителем Донибристль.

– Он сказал мне, сэр, – продолжал признательный младший садовник, – что много читал о «владениях английской знати», но что это первое, которое ему случилось видеть. Когда он дошел до конца длинной аллеи, у него захватило дух. «Вот поистине княжеское владение!» – воскликнул он. – Да и естественно, что он заинтересовался имением, так как, кажется, мистер Кэртю был с ним ласков в Штатах. В самом деле, он казался очень признательной личностью и особенно восхищался цветами.

Я слушал этот рассказ с изумлением. Цитированные фразы говорили сами за себя: они были в духе сутяги. Несколько часов тому назад я видел его настоящим кандидатом в Бедлам, нуждающимся в смиренной рубашке; он был без гроша в чужой стране, по всей вероятности, ушел без завтрака; отсутствие Норриса, без сомнения, оказалось для него сокрушающим ударом; он должен был (по всем данным) прийти в отчаяние. И вот я узнаю, что он сумел сохранить приличный вид и присутствие духа, рассуждал, лебезил, восхищался достопримечательностями, нюхал цветы и употреблял при этом самые изысканные выражения. Сила характера, проявлявшаяся в этом, изумляла и пугала меня.

– Это любопытно, – сказал я, – я сам имею удовольствие быть немного знакомым с мистером Кэртю, и думаю, что никто из наших западных друзей никогда не бывал в Англии. Кто бы мог быть этот господин? Неужели это... Нет, невозможно, он не мог быть настолько бесстыдным. Его фамилия не Беллэрс?

– Я не знаю его фамилии, сэр. Вы имеете что-нибудь против него? – воскликнул мой проводник.

– Да, я уверен, что Кэртю не желал бы видеть у себя этого господина, – сказал я.

– Боже милостивый! – воскликнул садовник. – Он так учтиво говорил; я думал, что он что-нибудь вроде школьного учителя. Может быть, сэр, вы пройдете прямо к мистеру Денману? Я поручил его мистеру Денману, когда он осмотрел усадьбу. Мистер Денман наш дворецкий, сэр, – прибавил он.

Предложение было кстати, в особенности потому, что давало мне возможность избавиться от ближайшего знакомства с чиллингэмами Кэртю; и, отказавшись от предполагавшегося обхода, мы направились через кусты и лужайку к заднему фасаду замка.

Лужайка была окружена высокой живой изгородью из тиссов. Когда мы выходили из-за нее, мой проводник остановил меня.

– Достопочтенная леди Анна Кэртю, – произнес он благоговейным шепотом. Взглянув через его плечо, я увидел старую леди, которая шла довольно быстро, прихрамывая, по дорожке сада. Должно быть, она была просто хороша собой в молодости, и даже хромота не портила

---

<sup>36</sup> Место одной из трех главных скачек в Англии (*прим. перев.*).

впечатления ее важной, почти грозной осанки. Печать меланхолии лежала на всех ее чертах, и ее глаза, смотревшие прямо вперед, как будто созерцали бедствие.

– Она кажется печальной, – сказал я, когда она прошла мимо, а мы двинулись дальше.

– Упадок духа, сэр – ответил младший садовник. – Мистер Кэртью, – я хочу сказать, старый барин, умер с год тому назад; лорд Тиллибоди, брат миледи, два месяца спустя; а затем грустная история с молодым барином. Убит в отъезде поле, сэр, а был любимец миледи. Теперешний мистер Норрис далеко не пользовался такой любовью.

– Я так и думал, – сказал я, настойчиво и (я думаю) искусно продолжая свои расспросы и укрепляя свое положение друга семьи. – Очень, очень грустно. А последняя перемена – возвращение Кэртью и прочее – не улучшили дела?

– Нет, сэр, незаметно что-то, – ответил он. – Даже как будто хуже стало.

– Очень, очень грустно! – повторил я.

– Когда приехал мистер Норрис, она как будто обрадовалась ему – продолжал садовник – и мы все были довольны, разумеется, потому что всякий, кто знает этого молодого джентльмена, не может не любить его. Ах, сэр, это не долго длилось! В тот же вечер они имели разговор и поссорились, или вообще вышло что-то неприятное; миледи выглядела очень печальной, так же, как раньше, только еще хуже. А на другое утро мистер Норрис снова уехал в путешествие. «Денман», – сказал он мистеру Денману, «Денман, я никогда не вернусь домой», – и пожал ему руку. Я не стал бы рассказывать это чужому человеку, сэр, – прибавил он, испугавшись, не сболтнул ли он лишнего.

Он действительно сообщил мне много, и притом много такого, чего и сам не подозревал. В бурную ночь своего возвращения Кэртью рассказал свою историю; к горестям старухи прибавилось еще более тяжелое бремя, и в числе картин, которые она созерцала мысленно, когда шла по дорожке сада, была картина Мидуэй-Айленда и «Летучего Облачка».

Мистер Денман выслушал мои расспросы с некоторым смущением, но сообщил мне, что сутяга уже уехал.

– Уехал! – воскликнул я. – Зачем же он приезжал в таком случае? Могу вам одно сказать: не затем, чтобы осмотреть усадьбу.

– Я не вижу, какую другую цель он мог иметь, – возразил дворецкий.

– Можете быть уверены, что она была, – сказал я. – А какая, про то он знает. Кстати, где теперь мистер Кэртью? Я жалею, что не застал его дома.

– Он путешествует, сэр, – ответил дворецкий сухо.

– А, bravo! – воскликнул я. – Я расставил вам ловушку, мистер Денман. Теперь мне незачем спрашивать; я уверен, что вы не сообщили адреса этому незнакомцу.

– Разумеется, нет, сэр, – сказал дворецкий.

Я тоже «пожал ему руку» – подобно мистеру Норрису – не скажу, чтобы с искренним удовольствием, ибо я потерпел бесславную неудачу при попытке узнать адрес; и был твердо убежден, что Беллэрс действовал успешнее, иначе он до сих пор был бы здесь и продолжал обрабатывать мистера Денмана.

Я избавился от усадьбы и сада, но не мог избавиться от замка. Леди с серебряными волосами, тоненьким серебряным голоском и потоком неинтересных, но неотвратимых объяснений, показала мне картинную галерею, концертную залу, большую столовую, длинную гостиную, индийскую комнату, театр и каждый чулан (как мне показалось) этого бесконечного здания. Неосмотренной осталась только комната леди Анны. Я на минуту приостановился у ее двери и усмехнулся самому себе. В самом деле, положение было странное, и эти тонкие доски укрывали тайну «Летучего Облачка». Все время, переходя из комнаты в комнату, я обсуждал посещение и отъезд Беллэрса. Что он добыл адрес, в том я был совершенно уверен; что он добыл его не прямым вопросом, в том я был убежден; какая-нибудь выдумка, какой-нибудь счастливый случай помогли ему. Подобный же случай, подобная же выдумка требовались и для меня; иначе я окажусь беспомощным, хорек настигнет свою добычу, огромные дубы падут под ударами топора, Рафаэли разойдутся по свету, замок перейдет в руки какого-нибудь внезапно разбогатевшего биржевика, и имя, наполнявшее своей славой пять или шесть приходов, исчезнет из памяти людской. Не удивительно ли, что такие важные события, такой древний замок, такая странная фамилия зависят от сообразительности, скромности и хитрости студента Латинского квартала! То,

что сделал Беллэрс, должен сделать и я. Случай или выдумка, выдумка или случай, – думал я, идя по аллее и бросая временами взгляд на красный кирпичный фасад и сверкающие окна дома. Как мне приказать случаю? Где найти выдумку?

Эти размышления привели меня к дверям гостиницы. Здесь, продолжая свою тактику поддержания хороших отношений со всеми, я немедленно перестал хмуриться, и принял (будучи единственным постояльцем в доме) приглашение отобедать вместе с семьей хозяина в общей комнате. Соответственно тому, я уселся за стол с мистером Гигтсом, экс-дворецким, мистрис Гигтс, экс-горничной миледи, и мисс Агнессой Гиггс, их всклокоченной дочкой, наименее обещавшей, но (как показали дальнейшие события) оказавшейся наиболее полезной из всех. Разговор без конца вертелся на великом доме и великой фамилии; ростбиф, йоркширский пудинг, пастила и чеддерский сыр появлялись и исчезали; а поток струился, не иссякая; четыре поколения Кэртью были перебраны, причем не выяснилось ни одного интересного пункта; мы убили мистера Генри «в отъезде поле», проделав это с самыми удручающими подробностями, и похоронили его со слезами сожаления целого графства, прежде чем мне удалось вывести на сцену моего закадычного друга, мистера Норриса. При этом имени экс-дворецкий сделался дипломатичным, а экс-горничная миледи нежной. Он оказался единственной личностью из этого бесцветного рода, способной, по-видимому, совершить нечто достойное упоминания; и его-то способности должны были пойти к черту, оставив только сожаления. Он был вылитый достопочтенный Бэли, одно из светил этого тусклого рода; и соответственно тому с колыбели предназначался для видной карьеры. Но не успел он еще скинуть детское платьице, как раздвоенное копыто уже начало показываться: он уродился совсем не в Кэртью, обнаруживал страсть к низким развлечениям и дурному обществу, разорял птичьи гнезда с подпаском, не достигнув еще одиннадцати лет, а на двадцатом году, когда уже можно бы было ожидать от него проявления хоть зачатков фамильной важности, слонялся по графству с ранцем, рисовал и заводил знакомства в придорожных кабачках. У него совсем не было гордости; он готов был якшаться с кем угодно; и мои собеседники довольно ловко дали мне понять, что именно этому его качеству я был обязан своим знакомством с ним. К несчастью, мистер Норрис был не только эксцентричный человек, но и мот. О его долгах до сих пор помнили в университете; а тем более о в высшей степени юмористических обстоятельствах его изгнания.

– Он всегда был охотник покутить, – пояснила мистрис Гиггс.

– Да, большой охотник! – подтвердил ее супруг. Но настоящая передряга началась, когда он поступил на дипломатическую службу.

– Кажется, сэр, он начал вести себя экстраординарно, – сказал экс-дворецкий торжественным тоном.

– Долги его были ужасны, – прибавила экс-горничная. – А какой прекрасный джентльмен, если б вы знали!

– Когда известия об этом достигли ушей мистера Кэртью, дела приняли ужасный оборот, – продолжал мистер Гиггс. – Помню это, как будто оно случилось вчера. Миледи уже удалилась, вдруг слышу звонок, думаю себе: кофе требуют. Вхожу, мистер Кэртью стоит. «Гиггс, – говорит он, показывая палкой, с которой ходил из-за подагры, – велите немедленно подать фаэтон для моего сына, который опозорил себя». Мистер Норрис ничего не говорил; он сидел, понурился, будто рассматривал орех. Вы бы свалили меня с ног соломинкой, – заключил мистер Гиггс.

– Разве он сделал что-нибудь очень дурное? – спросил я.

– Нет, мистер Додслей! – воскликнула хозяйка, переделывая на свой лад мою фамилию. – Он никогда не делал ничего дурного в своей злополучной жизни. Просто попал в немилость. Он не был фаворитом.

– Мистрис Гиггс, мистрис Гигтс! – воскликнул дворецкий предостерегающим тоном.

– Э, чего там! – возразила хозяйка, потрянув локонами, – ты сам это знаешь, мистер Гиггс, да и все в доме знают.

Собирая эти факты и мнения, я не пренебрегал и ребенком. Девочка была не привлекательна, но, к счастью, достигла опасного семилетнего возраста, когда полукрона кажется величиной в тарелку и такой же редкостью, как птица додо. Подарив ей шиллинг, опустив сикспенс в ее копилку и прибавив к этому золотой американский доллар, случайно оказавшийся у меня в кармане, я купил ее с душой и телом. Она выразила намерение сопровождать меня на край света

и получила выговор от родителей за проведенную ею параллель между мною и ее дядюшкой Вильямом, крайне невыгодную для последнего.

Не успели еще убрать скатерть со стола, как мисс Агнесса уже забралась ко мне на колени с альбомом марок, свидетельством щедрости дяди Вильяма. Мало найдется вещей, к которым бы я питал такое презрение, как к старым маркам, кроме разве гербов; но, как видно, мне суждено было провести этот день в осмотре курьезов; и, подавив зевоту, я еще раз покорился установленному порядку. Должно быть, дядюшка Вильям начал собирать марки для себя самого, но ему надоело это; по крайней мере, альбом (к моему удивлению) оказался довольно полным. Тут были различные типы английских марок, русские с раскрашенной середкой, старые мутные Турни-Таксис, вышедшие из употребления треугольники Мыса Доброй Надежды, марки Лебязьей Реки с лебедем и Гвианы с плывущим кораблем. Но все это я смотрел глазами рыбы, с интересом овцы; кажется, минутами я по-настоящему засыпал; и, вероятно, в одну из таких минут уронил альбом, причем из него посыпались на пол марки, называемые, кажется, «обменными».

Тут, совершенно неожиданно, счастье благоприятствовало мне, потому что, когда я подбирал их, мне бросилось в глаза обилие французских марок в пять су. Кто-то, значит, регулярно писал из Франции в Стальбридж-ле-Кэртю. Не Норрис ли? На одной марке я заметил букву С, на другой СН; но больше ничего не мог разобрать. СН, если принять в расчет, что чуть ли не четверть городов во Франции начинаются с «Château», было недостаточным ключом и я быстро припрятал одну из марок, решив осведомиться на почтовой станции.

Проклятая девчонка поймала меня на месте преступления.

– Негодный, украл мою марку! – закричала она, и когда я попробовал отпереться, вытащила улику из моего кармана.

Я оказался в самом ложном положении; и полагаю, мистрис Гиггс, единственно из сожаления, явилась ко мне на выручку с удачным предложением. Если джентльмен действительно интересуется марками, сказала она, вероятно, приняв меня за филателиста, то ему следует посмотреть альбом мистера Денмана. Мистер Денман собирает марки сорок лет, и его коллекция стоит, говорят, кучу денег.

– Агнесса, – прибавила она, – если ты добрая девочка, то сбегаешь в замок, скажешь мистеру Денману, что у нас остановился знаток, и попросишь прислать альбом с кем-нибудь из молодых джентльменов.

– Я желал бы также посмотреть обменные, – крикнул я, пользуясь случаем. – Может быть, в моем бумажнике найдутся подходящие, и мы поменяемся.

Полчаса спустя мистер Денман явился сам с огромнейшим томом под мышкой.

– Ах, сэр, – воскликнул он, – когда я узнал, что вы любитель, я бросился сюда!.. Я говорю, мистер Додслей, что собирание марок делает всех коллекционеров родными. Это узы, сэр; это создает узы.

Правда ли это, я не могу сказать; но нет сомнения, что попытки обманом выдать себя за коллекционера создает очень шаткое положение.

– А, здесь второй завод! – сказал я, прочитав подпись сбоку. – Пунцовая – нет, я хочу сказать лиловая – да, она лучшее украшение этой партии. Хотя, конечно, как вы справедливо говорите, – поспешил я прибавить, – эта желтая на тонкой бумаге более редкий экземпляр.

Словом, я был бы изобличен, если бы не расположил мистера Денмана в свою пользу его любимым напитком – портвейном настолько высокого достоинства, что, без сомнения, он выдерживался не в погребе «Герба Кэртю», а был перенесен сюда под покровом ночи из погребов замка. При каждом промахе, а особенно в тех случаях, когда я решался высказать мнение, я спешил наполнить стакан дворецкого, и к тому времени, когда я перешел к обменным, он находился в таком состоянии, в котором никакой собиратель марок не представляет серьезной опасности. Избави меня Бог утверждать, что он был пьян; по-видимому, он был не способен к необходимому для этого оживлению; но глаза его остановились, и пока я не перебивал его, он говорил, по-видимому, не заботясь о том, слушаю ли я его.

В обменных марках мистера Денмана замечалась та же особенность, что у маленькой Агнессы, – несоразмерное преобладание обыкновенных французских марок в двадцать пять сантимов. И здесь я нашел буквы штемпеля С, СН, на некоторых также А и конечное У. Тут, стало быть, передо мной было почти полное название, и как будто знакомое; но все-таки я не мог

разобрать или встретить недостающих букв. Но вот мне попалась марка с буквой L перед Y, и в ту же минуту я сложил все слово. Chailly – да, Chailly-en-Biere, почтовая станция Барбизона – подходящее место для человека, который скрывается, подходящее место для мистера Норриса, который странствовал по Англии и рисовал, подходящее место для Годдедааля, который оставил палитру на «Летучем Облачке». Странно, в самом деле, что пока я таскался по Англии с сутягой, человек, которого мы искали, поджидал меня в том самом пункте, куда я намеревался пробраться под конец.

Показывал ли мистер Денман свой альбом Беллэрсу, догадался ли Беллэрс об адресе (как я) по старым почтовым маркам, – этого я никогда не узнаю, да оно теперь и не важно. Главное, ему не удалось обойти меня; моя задача в Стальбридж-ле-Кэртю была исполнена, мой интерес к почтовым маркам бесстыдно испарился; я простился с изумленным Денманом и, приказав запрячь лошадь, погрузился в изучение путеводителя.

## Глава XXI

### Лицом к лицу

Я свалился с неба в Барбизон около двух часов пополудни, в один сентябрьский день. Это мертвый час дня; все работники рисуют, все лентяи бродят по лесу или по равнине; извилистая шоссированная улица безлюдна, гостиница пуста. Тем приятнее было мне встретиться в столовой с одним из моих старых знакомых; городское платье показывало, что он собирается уезжать; и действительно, рядом с ним на полу помещался его портплед.

– Ба, Стеннис! – воскликнул я. – Вас-то я уж никак не ожидал найти здесь.

– Вы быстро найдете меня здесь, – возразил он. – «Царь Пандион, – его в живых уж нет; и всех друзей его давно простыл и след». Людям нашего времени нечего делать в этой бедной старой лавочке.

– «Имел я здесь друзей, товарищей имел?» – продекламировал я в ответ. Кажется, мы оба были взволнованы этой встречей в месте наших прежних походов, такой неожиданной, после такого долгого промежутка времени, и когда мы оба уже так сильно изменились.

– Таково чувство, – ответил он. – «Их нет, их нет, знакомых милых лиц». Я пробыл здесь неделю, и единственным существом, по-видимому, вспомнившим меня, оказался Фараон. Не считаю Сиранов и вековечного Бодмера.

– Неужели никого не осталось? – спросил я.

– От нашей геологической эпохи? Ни единой души, – ответил он.

– А какого рода бедуины разбили теперь палатки среди руин? – спросил я.

– Молодежь, Додд, молодежь; цветущая, самоуверенная молодежь, – подхватил он. – Этакая шайка, этакое поганцы! Подумать только, что мы были такими же! Удивляюсь, как Сиран не вымел нас из своих владений.

– Может быть, мы были не так плохи, – заметил я.

– Не заставляйте меня разочаровывать вас, – сказал он, – впрочем, мы оба были англосаксы, и единственный искупительный факт для настоящего тот, что здесь есть еще один.

Мысль о цели моих поисков, на минуту оставившая меня, ожила в моей памяти.

– Кто он? – воскликнул я. – Расскажите мне о нем.

– Искупительный Факт? – спросил он. – Ну, он очень милое создание, простоватое, довольно унылое, светское, но очень милое. Он истинный британец, настоящий британец! Может быть, вы найдете его чересчур британцем для трансатлантических нервов. С другой стороны, вы должны его одобрить, он поклонник вашей великой республики, по крайней мере одного из ее сквернейших (простите) продуктов: он получает и усердно читает американские газеты. Я вам уже сказал, что он простоват.

– Какие газеты он получает? – воскликнул я.

– Газеты Сан-Франциско, – сказал он, – получает их целый тюк дважды в неделю, и изучает их точно Библию. Это одна из его слабостей. Другая та, что он несметно богат. Он нанял старую мастерскую Массона – помните, на углу, – обставил ее, не считаясь с издержками, и живет там, окруженный *vins fins* и произведениями искусства. Когда нынешняя молодежь собирается в Пещеру Разбойников пить пунш, они все делают то же, что мы делали, точно какой-то несносный вид обезьян (я никогда раньше не представлял себе, до чего человек предан традиции), и этот Мадден тащится за ними с корзиной шампанского. Я уверял его, что он ошибается, и что пунш вкуснее, но он думает, что ребята предпочитают его выбор, и кажется, так оно и есть. Он очень добродушный мальчик, очень грустный и довольно беспомощный. Ах да, есть у него и третья слабость, о которой я было позабыл. Он рисует. Он никогда не учился, ему уже за тридцать, и он рисует.

– Как? – спросил я.

– Кажется, недурно, – ответил он, – посмотрите сами. Эта панель – его произведение.

Я подошел к окну. Это была старая комната, со столами в форме греческого П., буфетом, безголовым пианино и панелями на стенах. Тут были Ромео и Джульетта, вид Антверпена с реки,

корабль Энфильда среди льдов, рослый охотник, трубящий в огромный рог, и несколько новых, скудная жатва последующих поколений, не лучших и не худших, чем старые. К одной из них я и направился, грубо и замысловато намалеванной, главным образом шпателем, вещи: местами краски были превосходны, местами же полотно было попросту вымазано глиной. Но мое внимание привлекла сцена, а не искусство или отсутствие искусства. На переднем плане была песчаная отмель, кустарники и обломки разбившегося судна, дальше многоцветная и гладкая поверхность лагуны, окруженной бурунами, за нею голубая полоса океана. Небо было безоблачно, и мне казалось, что я слышу рев прибоя. Ибо это был Мидуэй-Айленд, то самое место, где я высадился с капитаном, и откуда снова сел на шхуну накануне нашего отъезда. Я уже несколько секунд смотрел на картину, когда мое внимание было привлечено каким-то пятном над морем, и, всмотревшись, я различил дым парохода.

– Да, – сказал я, обращаясь к Стеннису, – картина не лишена достоинств. Что это за место?

– Фантазия, – сказал он, – это мне понравилось. В наше время так редко попадают ребята, наделенные хотя бы воображением улитки.

– Вы сказали, что его имя Мадден? – продолжал я.

– Мадден, – повторил он.

– Он много путешествовал?

– Не имею понятия. Этот человек ничего о себе не рассказывает. Сидит, курит, ухмыляется, иногда подшучивает; вообще же ограничивает свой вклад в развлечение общества тем, что выглядит как джентльмен и держит себя джентльменом. Нет, – прибавил Стеннис, – он не подойдет к вам, Додд; вы любите более прозрачную жидкость. Он покажется вам мутным, как вода из лужи.

– У него огромные светлые усы вроде рогов? – спросил я, вспоминая фотографию Годдедаала.

– Совсем нет, с какой стати? – возразил он.

– Он часто пишет письма? – продолжал я.

– Почему я знаю? – ответил Стеннис. – Что это с вами? Я никогда еще не видел вас в таком настроении.

– Дело в том, что я, кажется, знаю этого человека, – сказал я, – кажется, я его разыскиваю. Я положительно думаю, что он мой давно пропавший брат.

– Не близнец, во всяком случае, – заметил Стеннис. Так как в это время подали экипаж, то он уехал.

До обеда я бродил по равнине, придерживаясь полей, так как инстинктивно старался остаться незамеченным и был обуреваем многими несуразными и нетерпеливыми чувствами. Здесь находился человек, чей голос я однажды слышал, чьи дела наполнили столько дней моей жизни интересом и горечью, – человек, о котором я бредил наяву, точно влюбленный; и вот он подле меня, теперь мы встретимся, теперь я узнаю тайну подмененной команды. Солнце садилось над равниной Анжелюса, и по мере того, как приближался час встречи, я предоставлял медленно тащившимся крестьянам обгонять меня на обратном пути. Лампы уже были зажжены, суп был подан, вся компания собралась за столом, и комната оглашалась шумным разговором, когда я вошел. Я занял свое место и оказался визави Маддена. Более шести футов ростом, хорошо сложен, черные волосы с легкой проседью, черные ласковые глаза, очень добродушный рот, удивительные зубы, белые и руки безукоризненной белизны; английский костюм, английский голос, английская повадка – человек этот заметно выделялся в здешней компании. Но он, по видимому, чувствовал себя как дома и пользовался известной спокойной популярностью среди шумных ребят, собравшихся за табльдотом. У него был странный серебристый смех, который звучал нервно, даже когда ему случалось действительно развеселиться, и плохо гармонировал с его крупным ростом и мужественным меланхолическим лицом. Смех продолжался непрерывно в течение всего обеда, как звук треугольника в современной французской музыке; и временами его замечания, которыми он поддерживал или возбуждал веселье, были действительно забавны, скорее по тону, чем по смыслу слов. Он принимал участие в этом веселье не как человек, которому действительно весело, а как человек добродушный, забывающий о себе, готовый забавлять других и следовать за ними. Я не раз замечал у старых солдат такую же смеющуюся грусть и готовность забываться.



Я боялся взглянуть на него, чтобы не выдать взглядами своего глубокого волнения, но случилось так, что мы совершенно естественно познакомились, раньше чем кончили суп. Первый же глоток Шато Сирона, вина, от которого я давно отвык, развязал мне язык.

– Ох, никуда не годится! – воскликнул я по-английски.

– Ужасное пойло, не правда ли? – сказал Мадден на том же языке. – Позвольте мне предложить вам мою бутылку. Они называют это Шамбертэном, хотя это не Шамбертэн; но оно довольно сносно, и лучшего не найдется в этом доме.

Я принял предложение; что-нибудь должно было проложить путь к дальнейшему знакомству.

– Ваше имя Мадден, если не ошибаюсь, – сказал я, – мой старый друг, Стеннис, рассказал мне о вас.

– Да, мне очень жаль, что он уехал; я чувствую себя таким дедушкой Вильямом среди всех этих ребят, – ответил он.

– Мое имя Додд, – продолжал я.

– Да, – сказал он, – мне говорила мадам Сирон...

– Додд из Сан-Франциско, – продолжал я, – бывший Пинкертон и Додд.

– Монтана-Блок, кажется? – спросил он.

– Именно, – сказал я.

Никто из нас не смотрел на другого, но я мог видеть, как его рука катает хлебные шарики.

– Хорошую вещь вы написали, – заметил я, – для этой панели. Передний план, пожалуй, несколько глинист, но лагуна превосходна.

– Вы должны знать это... – сказал он.

– Да, – подтвердил я, – я, кажется, могу быть судьей... этого произведения.

Последовала продолжительная пауза.

– Вы знаете человека по имени Беллэрс? – начал он.

– А! – воскликнул я. – Вы получили письмо от доктора Эркварта!

– Сегодня утром, – ответил он.

– Ну, с Беллэрсом можно не спешить, – сказал я. – Это довольно длинная история и довольно глупая. Но, мне кажется, нам бы не мешало поговорить, только, пожалуй, лучше дождаться, пока мы будем наедине.

– Я то же думаю, – согласился он. – Правда, никто из этих ребят не знает английского языка, но нам будет удобнее у меня. Ваше здоровье, Додд.

Мы чокнулись через стол.

Так состоялось это странное знакомство, оставшееся незамеченным среди тридцати с лишним лиц, учеников-живописцев, напудренных дам в пеньюарах, прислуги, сновавшей с блюдами.

– Еще один вопрос, – сказал я. – Узнали вы мой голос?

– Ваш голос? – повторил он. – Как мог я его узнать? Я никогда не слышал его – мы никогда не встречались.

– Тем не менее я уже беседовал с вами однажды, – сказал я, – и предложил вам вопрос, на который вы не ответили, и который я с тех пор по гораздо более важным резонам не раз предлагал самому себе.

Он внезапно побледнел и воскликнул:

– Боже милостивый! Так это вы были у телефона?

Я кивнул головой.

– Ну, ну! – сказал он. – Нужно немало великодушия, чтобы простить вам это. Какие ночи я проводил потом! Этот легкий шепот то и дело раздавался в моих ушах, точно вой ветра в замочную скважину. Кто бы мог это быть? Что бы могло это значить? Мне кажется, это принесло мне больше реальных, действительных неприятностей... – Он остановился в смущении. – Хотя мне следовало бы больше винить самого себя, – прибавил он и медленно осушил стакан.

– Мы, кажется, родились для того, чтобы изводить друг друга недоразумениями, – сказал я. – Я часто думал, что моя голова лопнет.

Кэртию расхохотался.

– А все же не вы и не я были наиболее поражены этой шуткой! – воскликнул он. – Другие недоумевают еще сильнее.

– Кто же? – спросил я.

– Страховщики, – ответил он.

– А ведь и в самом деле! – воскликнул я. – Я никогда не думал об этом. Как же они объясняют это себе?

– Никак, – сказал Кэртю. – Этого нельзя объяснить. Это группа мелких дельцов Ллойда; один из них имеет теперь собственный экипаж; о нем говорят, что это чертовски умный малый, со способностями великого финансиста. Другой купил маленькую виллу. Но они в полном смущении и при встречах не решаются смотреть друг на друга, точно авгуры.

Лишь только кончился обед, он повел меня через улицу в старую студию Массона. Она странно изменилась. На стенах были обои, несколько хороших гравюр и замечательных картин: Руссо, Коро, действительно великолепный старый Кром, Уистлер и картина, по словам моего хозяина (которым я верю) кисти Тициана. Комната была меблирована комфортабельными английскими креслами, американскими качалками, и вычурным письменным столом; спиртные напитки и содовая вода (с маркой Швенне, не менее того) стояли на подносе; а в углу, за полузадернутой занавеской, я заметил походную кровать и поместительную ванну. Такая комната в Барбизоне изумляла посетителя не меньше, чем великолепие в пещере Монте-Кристо.

– Ну, – сказал он, – здесь нам будет покойно. Садитесь, если ничего не имеете против, и расскажите мне вашу историю с начала до конца.

Я так и сделал, начав с того дня, когда Джим показал мне заметку в «Западной Газете», и закончив альбомом марок и почтовым штемпелем Шальи. Это была долгая история, а Кэртю еще более затягивал ее, жадно интересуясь подробностями; так что на старых часах, висевших в углу пробило полночь раньше, чем я добрался до конца.

– А теперь, – сказал он, когда я кончил, – долг платежом красен; я должен рассказать вам свою историю, как ни тошно мне это. Моя история зверская. Вы удивитесь, как я могу спать. Я уже рассказал ее однажды, мистер Додд.

– Леди Анне? – спросил я.

– Вы угадали, – ответил он, – и, правду сказать, поклялся никогда больше не рассказывать. Но вы, кажется, вправе узнать ее; вы дорого заплатили за это, видит Бог!

Затем он начал свой рассказ. Забрел день, в деревне запели петухи, и дровосеки потянулись на работу, когда он кончил.

## Глава XXII

### Расточитель

Сингльтон Кэртью, отец Норриса, был грузного сложения, но хлипкого здоровья, пристрастен к музыке, туп, как овца, и добросовестен, как собака. Он принимал свое положение всерьез, даже торжественно; большие комнаты, безмолвные слуги являлись в его голубых глазах аксессуарами какой-то религии, которой он был смертным богом. Он отличался нетерпимостью тупого человека к тупости других, и подозрительностью тщеславного человека, как бы не открыли того же недостатка в нем самом. В обоих этих отношениях Норрис раздражал и оскорблял его. Он считал своего сына дураком и подозревал, что сын платит ему тою же монетой с процентами. Для своей матери, пылкой, резкой, практической женщины, уже разочаровавшейся в муже и старшем сыне, Норрис был только новым разочарованием.

Впрочем, мальчик не проявлял серьезных недостатков; он был застенчив, миролюбив, пассивен, нечестолобив, непредприимчив; жизнь не особенно привлекала его; он смотрел на нее, как на курьезную глупую выставку, не слишком забавную, и вовсе не соблазнялся принять в ней участие. Он наблюдал тяжеловесное топтанье отца, пылкую деловитость матери, развлечения брата, предававшегося им с азартом солдата в решающей битве, и смотрел на все это глазами скептика. Они хлопотали и заботились о многом; ему же, по-видимому, не нужно было ничего. Он родился разочарованным, призывы света не будили откликов в его душе; деятельность света и его отличия казались ему одинаково ненужными. Он любил вольный воздух; любил товарищей, все равно каких, так как его товарищи были только лекарством против одиночества. Он обнаруживал также влечение к живописи. Коллекция прекрасных картин с детства была у него перед глазами, и от этих расписанных полотен у него осталось неизгладимое впечатление. Галерея Стальбриджа свидетельствовала о поколениях любителей живописи; Норрис был, может быть, первый из своего рода, взявшийся за кисть. Влечение было непритворное, оно росло и крепло с возрастом; и тем не менее он позволил подавить его почти без борьбы. Наступило время ехать в Оксфорд, и он оказал лишь слабое сопротивление. Он говорил, что у него не хватит ума; что бесполезно отправлять его в ученье; что он хочет быть живописцем. Эти слова подействовали на его отца как удар грома, и Норрис поспешил уступить. «Не все ли равно, знаете? – пояснил он. – Совестно казалось мучить старикашку».

В Оксфорд он поступил из послушания, без надежды; и в Оксфорде сделался героем известного кружка. Он был деятелен и ловок; когда бывал в духе, то отличался во многих видах спорта; а странная меланхолическая обособленность делала его заметным. Он стал предметом подражания в своем кругу. Ревнивые товарищи помладше старались подражать присущему ему непритворному отсутствию усердия и страха; это был новый род байронизма, более сложный и достойный. «Ничто не заслуживает серьезного отношения», – эта формула, в числе прочих вещей, распространялась и на профессоров; и хотя он всегда соблюдал вежливость, но университетским властям его отношение казалось непростительной грубостью. Его равнодушие считалось наглостью; и за одно из проявлений своего прирожденного легкомыслия (дополнение к его меланхолии) он был «выставлен» в середине второго года.

Такое событие было новостью в летописях Кэртью, и Сингльтон приготовился использовать его наилучшим образом. Он давно уже пророчил своему второму сыну карьеру разорения и позора. Есть нечто утешительное в этой простодушной родительской привычке. Без сомнения, отец заинтересован в участи своего сына; но без сомнения также пророк заинтересовывается в своих пророчествах. Если первая складывается плохо, то последние оказываются верными. Старик Кэртью извлекал из этого источника некоторое тайное утешение; он распространялся о собственной проницательности; придумывал неслыханные еще вариации на старую тему «я вам говорил», сочетал имя своего сына с виселицей и тюрьмой, говорил о незначительной сумме его университетских долгов так, как будто ему приходилось заложить имение, чтобы уплатить их.

– Я думаю, что это неправильно, сэ, – сказал Норрис, – я жил в колледже именно так, как вы говорили мне. Я жалею, что меня выставили, и вы вправе порицать меня за это; но вы не имеете никакого права допекать меня за долги.

Вряд ли нужно описывать действие этих слов на тупого человека, не без основания раздраженного. Некоторое время Сингльтон неистовствовал.

– Я вам вот что скажу, отец, – заявил наконец Норрис, – я думаю, что из этого ничего не выйдет. Я думаю, что вы лучше сделаете, если предоставите мне заняться живописью. Это единственная вещь, к которой я питаю искру интереса. Ни на что другое у меня не хватит терпения.

– Я надеялся, сэ, – отвечал отец, – что оказавшись по шею в позоре, вы, по крайней мере, не станете повторять таких легкомысленных заявлений.

Намек подействовал; легкомысленные заявления никогда больше не предъявлялись отцу, и Норрис был безжалостно отправлен в скучное для него путешествие. Он поехал за границу изучать иностранные языки и изучил их, не жалея расходов; вскоре отцу пришлось платить новую серию долгов, с подобными же жалобами, на этот раз вполне основательными, на которые Норрис не обратил ни малейшего внимания. Он испытал несправедливое отношение по поводу Оксфордской истории и с приправой злобы, удивительной в таком кротком, и упорства, замечательного в таком слабом человеке, отказался с этого дня хоть как-то контролировать свои расходы. Он тратил сколько мог, позволял слугам обирать себя без малейшего стеснения; подписывал векселя; и когда жатва созрела, уведомил об этом родителя с возмутительным спокойствием. Ему выдали на руки его личный капитал, поместили его на дипломатическую службу и заявили, что отныне он должен рассчитывать на самого себя.

Он так и делал до двадцати пяти лет; и к этому времени истратил свои деньги, накопил кучу долгов и приобрел (подобно многим другим меланхолическим и неинтересным личностям) привычку к игре. Один австрийский полковник – тот самый, который позднее повесился в Монте-Карло – дал ему урок, который длился двадцать два часа, и оставил его разоренным и беспомощным. Старик Сингльтон снова заплатил за честь своей фамилии, на этот раз фантастическую цифру, а Норрис был снова отправлен в плавание, на суровых условиях. Одному адвокату в Сиднее, в Новом Южном Валлисе, было поручено выплачивать ему триста фунтов в год, по четвертям. Писать письма ему было запрещено. Если бы он не явился в назначенный день в Сидней за деньгами, то был бы сочтен умершим, а деньги без разговоров были бы взяты обратно. В случае возвращения в Европу во всех известных газетах появились бы уведомления о его непризнании.

Одна из самых несносных черт его как сына заключалась в том, что он был всегда вежлив, всегда справедлив и всегда спокоен среди самой неистовой бури семейного гнева. Он ожидал ссоры; когда ссора наступала, оставался бесстрастным; он мог бы сказать вместе с Сингльтоном: «Я вам говорил», но довольствовался тем, что думал: «Так я и знал». Когда на него обрушились эти последние бедствия, он отнесся к ним как лицо, лишь отдаленно заинтересованное этим событием, спрятал в карман деньги и попреки и пунктуально исполнил приказание: сел на корабль и прибыл в Сидней. Есть люди, которые в двадцать пять лет остаются мальчиками; таков был и Норрис. Спустя восемнадцать дней после его высадки от полученной им за первую четверть суммы не оставалось ничего, и с легкомысленной доверчивостью иностранцев в так называемой новой стране он принялся осаждать конторы в поисках всякого рода несуразных занятий. Отовсюду его выгоняли, а под конец выгнали и из квартиры; и вот ему пришлось, в очень элегантной летней паре, очутиться в притонах городского отребья.

В такой крайности он обратился к адвокату, который выдавал ему пенсию.

– Прошу заметить, что мне время дорого, мистер Кэртью, – сказал адвокат. – Вам нет никакой надобности распространяться о том щекотливом положении, в котором вы находитесь. Подобные случаи не редкость в моей практике, и для таких случаев у меня своя система. Я предложу вам соверен – вот он. Ежедневно мой клерк будет выдавать вам шиллинг, а в субботу – так как в воскресенье моя конора закрыта – вы будете получать полкроны. Мои условия таковы: вы обращаетесь не ко мне, а к моему клерку; не должны являться в контору пьяным; будете уходить, лишь только получите деньги и распишитесь в получении. Всего хорошего.

– Я, кажется, должен благодарить вас, – сказал Кэртью. – Мое положение так плохо, что я не могу отказаться даже от такого голодного пособия.

– Голодного! – с улыбкой сказал адвокат. – Никто не будет голодать здесь, имея шиллинг в день. На моем попечении был другой молодой джентльмен, который, получая такое же пособие, оставался пьяным целых шесть лет.

Тут он снова углубился в свои бумаги. В последовавшее затем время фигура улыбающегося адвоката не выходила из памяти Кэртью.

– Этот трехминутный разговор стоил нескольких лет воспитания, – заметил он. – Это была целая жизнь в ореховой скорлупе. Черт побери, думал я, неужели я дошел до того, что завидую этому старому ископаемому!

Каждое утро в течение следующих двух или трех недель, когда часы били десять, Норрис, нечесанный и растрепанный, появлялся у дверей конторы адвоката. Долгий день и еще более долгую ночь он проводил в общественном парке, то на скамье, то на траве под Норфольк-Айлэндской сосной, в обществе, быть может, низшего класса на земле – сиднейских босяков. Каждое утро заря, занимавшаяся позади маяка, будила его; он вставал и смотрел на разгоравшийся восток, на тускневший фонарь маяка, на бездымный город, на гавань с лесом мачт, медленно выступавшую из сумрака. Его постельные товарищи (так сказать) не были так деятельны; они валялись на траве и по скамейкам – грязные мужчины, всклокоченные женщины, старавшиеся продолжить свой отдых; и Кэртью бродил один среди спящих, проклиная неизлечимую глупость своего поведения. День приводил новое общество няnek и детей, нарядно одетых и (с сожалением должен сказать) туго зашнурованных девушек и веселую публику в богатых экипажах; а в сторонке от нее Кэртью и «другие проходимцы» – его собственное горькое выражение – прятались, жевали траву и глазели на гуляющих. День проходил, свет угасал, зеленые и лиственные аллеи освещались фонарями или оставались в тени, и снова собиралась ночная компания: уличные женщины, бродяги мужчины; порой раздавался внезапный взрыв криков, слышался топот убегающих ног.

– Вы, пожалуй, не поверите, – сказал Кэртью, – но я дошел до того, что равнодушно бы отнесся к виселице. Однажды ночью меня разбудил женский вопль, и я только повернулся на другой бок. Да, странное это место, где днем гуляют дамы с детьми, а ночью вы можете слышать вопли о помощи, точно в дремучем лесу, хотя кругом сверкают огни большого города, а через парк проезжают кареты, увозящие гостей из Губернаторского дворца!

За неимением другого развлечения Норрис заводил знакомства, где, когда и с кем мог. Много длинных скучных разговоров вел он на скамьях или на траве; познакомился со многими странными типами; слышал много странных вещей и видел иногда вещи отвратительные. Одной из этих последних он был обязан освобождением из парка. Уже несколько дней дождь лил немилосердно; ночь за ночью ему приходилось тратить четыре пенса на ночлег и сокращать свой стол соответственно остававшимся восьми пенсам. Однажды утром он сидел на углу Макварри-стрита, голодный, так как остался без завтрака, и мокрый, каким был уже несколько дней, когда визг обиженного животного привлек его внимание. Ярдов за пятьдесят от него, на крайней лужайке, группа хронических безработных поймала собаку и истязала ее неопиcуемо. Сердце Кэртью, ставшее равнодушным к воплям человеческого гнева или горя, пробудилось на призыв бессловесного животного. Он бросился на босяков, растолкал их, освободил собаку. Их было шестеро, все отборные висельники; но на этот раз пословица оправдалась, жестокость оказалась соединенной с трусостью; негодяи выругали его и ретировались. Случайно этот акт мужества не остался незамеченным. На скамье поблизости сидел лавочный приказчик, потерявший место, маленький, веселый, краснолицый человек, по имени Гемстид. Он бы ни за что не вмешался сам, так как его скромность более чем равнялась его доблести; но поспешил поздравить Кэртью и предупредить его, что подобные столкновения не всегда могут кончиться для него так удачно.

– Опасный сброд толчется здесь, в парке. Право слово, лучше с ними не связываться, – заметил он.

– Ну, я и сам из этого сброда, – возразил Кэртью.

Гемстид засмеялся и сказал, что он сумеет отличить джентльмена.

– Как бы то ни было, я тоже один из безработных, – сказал Кэртю, присаживаясь рядом со своим новым знакомым, как садился уже (с тех пор как началось это приключение) подле стольких других.

– Я сам без места, – сообщил Гемстид.

– Все же вы не чета мне, – сказал Кэртю. – Моя беда в том, что я никогда не был при месте.

– Должно быть, у вас нет профессии? – спросил Гемстид.

– Я умею тратить деньги, – ответил Кэртю, – и понимаю кое-что в лошадях и в морском деле. Но я не состою членом никакого союза; иначе нашел бы дюжину мест.

– Верно! – сочувственно отозвался слушатель. – Пробовали поступить в конную полицию? – спросил он.

– Пробовал, да не приняли, – был ответ, – экзамена не выдержал.

– Ну, а что вы думаете о железной дороге, если так? – спросил Гемстид.

– А что вы сами думаете о ней? – спросил Кэртю.

– О, я о ней не думаю, я не занимаюсь черной работой, – гордо ответил маленький человечек. – Но кто не брезгует ею, тот наверное найдет там занятие.

– Ради Бога, скажите мне, куда я должен направиться? – воскликнул Кэртю, вставая.

Проливные дожди не прекращались, страна уже всюду терпела от наводнений; железная дорога с каждым днем требовала все больше рабочих, начальник объявлял об этом; но «безработные» предпочитали жить милостыней и воровством, и землекоп, даже любитель-землекоп, мог диктовать плату на рынке. В ту же ночь, после скучного путешествия и перемены поездов, чтоб избежать обвала, Норрис очутился в грязной выемке за Южным Клифтоном и впервые попробовал свои силы на черной работе.

Дождь лил, не ослабевая, уже несколько недель. Весь передний склон горы сползал к морю, лавины глины, камней и вывороченных с корнями деревьев обрушивались на прибрежные утесы, на взморье или в буруны. Дома сносились и разбивались, как орехи; другие, которым грозила опасность, стояли пустыми, с открытыми дверьми, с холодными печами, без обитателей, разбежавшихся кто куда. Ночью и днем огонь пылал на стоянке рабочих; ночью и днем горячий кофе был к услугам переутомленных тружеников; ночью и днем инженер объезжал свой участок со словами поощрения, ласковыми и грубыми, соответствовавшими характеру людей. Ночью и днем стучал телеграф, разнося печальные известия и тревожные вопросы. Редкие поезда медленно двигались по насыпи, то и дело давая сигналы, и останавливались у опасных мест, точно живые существа, чующие опасность. Начальник поста спешно осматривал свои работы, подавал (попросту криком) сигнал двигаться; вся партия выстраивалась вдоль линии и смотрела, затаив дыхание или раздражалась коротким «ура!» убедившись, что поезд миновал опасный пункт и устремляется дальше при слабом дневном свете, пробивающемся сквозь тучи, или при мерцании ламп в сгущающихся дождливых сумерках.

Одну из таких сцен Кэртю не забудет до гроба. Дул сильный ветер с моря; высокий прибой, на расстоянии пятисот футов под его ногами, бомбардировал подножие крутого берега, а неподалеку боролось с волнами судно, призывая на помощь ружейными выстрелами. Кэртю смотрел и слушал, когда появился поезд и остановился, выпуская вавилонскую башню дыма и удручая сердца людей пронзительным звуком своего свистка. Инженер был тут же; он побледнел, давая сигнал; поезд тронулся черепашим шагом; но гора дрогнула и как будто двинулась вниз; рабочие инстинктивно ухватились за кустарники и деревья; тщетная предосторожность, такая же тщетная, как выстрелы злополучных моряков. Однако и на этот раз испуг оказался напрасным: поезд прошел благополучно; Кэртю перевел дух и, вспомнив о погибающем корабле, взглянул вниз. Корабль исчез.

Так проходили дни и ночи; титанический труд при трагических обстоятельствах. Кэртю изнемогал от бессонницы и кофе; его руки, размягченные влажностью, были изрезаны в лоскутья; но он наслаждался еще неизвестными ему душевным миром и телесным здоровьем. Чистый воздух, физическая работа, постоянная необходимость усилий, – все это было как раз тем, чего не доставало до сих пор в его бестолковой жизни, и настоящим лекарством против его жизненного скептицизма. Провести поезд – такова была повторяющаяся задача; не оставалось времени спрашивать, какая в ней надобность. Кэртю, лентяй, мот, праздношатающийся дилетант, был вскоре замечен, заслужил похвалы и выдвинулся. Инженер клялся им и ставил его в пример.

Кэртью слышал, как он отозвался о нем однажды: «У меня тут новый приятель, молодой малый. Стоит любых двоих из партии». Слова эти прозвучали в ушах изгнанного сына точно музыка; и с этого момента он не только интересовался, но и гордился своей плебейской работой.

Напряженность работы не уменьшилась ко времени приближения четвертного срока. Норрису было теперь доверено чрезвычайно важное дело: по его заявлению поезда останавливались или проходили по опасной террасе близ Норт-Клифтона; и эта ответственность ужасала и радовала его. Мысль о семидесяти пяти фунтах, которые ждут его у стряпчего, и обязательство находиться в первый день каждой четверти в Сиднее одно время смущали его. Затем он решился, отправился, улучив свободную минуту, в гостиницу в Клифтоне, спросил бумаги и чернил и написал письмо, в котором объяснял, что ему удалось найти хорошее место, что он потеряет его, если отправится в Сидней, и потому просить стряпчего считать это письмо доказательством его пребывания в колонии и сохранить деньги до следующей четверти. Ответ был не только благоприятный, но и дружественный. «Хотя ваша просьба противоречит моим инструкциям, – писал стряпчий, – но я охотно принимаю на себя ответственность за ее исполнение. Должен сказать, что я приятно разочарован вашим поведением. Мой опыт не дал мне оснований ожидать многого от джентльменов в вашем положении».

Дождь перестал, и временные работники были отпущены; только не Норрис, за которого инженер ухватился как за клад; не Норрис, который разгуливал теперь по линии в постоянной артели рабочих. Стоянка устраивалась среди диких скал и лесов, вдали от всякого жилища; когда он сидел вечером с товарищами перед костром, поезда, проходившие мимо, были их ближайшими и единственными соседями, кроме лесных животных. Прекрасная погода, легкая и однообразная работа, долгие часы вялого разговора у костра, долгие бессонные ночи, когда он припоминал свою нелепую и бесплодную карьеру, вставая и бродя при лунном свете в лесу, случайно попавшая в руки газета, которую он прочитывал от начала до конца, объявления с таким же интересом, как текст, – таково было существование, которое вскоре начало утомлять и раздражать его. Ему недоставало утомления, бешеной спешки, остановок, огней, ночного кофе, грубой и обрызганной грязью поэзии первых трудных недель. В тишине его новой обстановки какой-то голос гнал его из этой жизни вне мира, и в половине октября он отказался от места и простился с палатками и с утесами Лысых Гор.

В простом рабочем платье, с узлом за плечами и накопленным жалованьем в кармане, он вторично вступил в Сидней и с удовольствием, несколько оглушенный, шел по холодным улицам, как человек, вернувшийся из путешествия. Зрелище людской массы увлекало его. Он забыл о делах, забыл о еде. Он блуждал в движущейся толпе, точно щепка по реке. Наконец попал он к Парку, зашел туда, вспомнил о своем позоре и своих страданиях и с острым любопытством взглянул на своих преемников. Он узнал и приветствовал как старого семейного друга Гемстида, немного более оборванного и такого же неунывающего, как раньше.

– Вы оказали мне большую услугу, – сказал ему Норрис. – Эта железная дорога оказалась как раз по мне. Надеюсь, и вам повезло.

– Честное слово, нет! – ответил маленький человечек. – Вот сижу да читаю «Мертвую Петлю». Депрессия в торговле, извольте видеть. Нет места, подходящего для такого человека, как я.

Он показал Норрису свои аттестаты и рекомендации, от бакалейщика в Уулумулу, от торговца железными изделиями и от салона с бильярдом.

– Да, – сказал он, – я пробовал служить маркером. Не стоящая вещь: поздние часы работы вредят здоровью. Я не хочу быть ничьим рабом, – прибавил он твердо.

Зная, что тот, кто слишком горд, чтобы быть рабом, обыкновенно не бывает настолько скромным, чтобы отказаться быть пенсионером, Кэртью дал ему полсоверена и, внезапно почувствовав голод, направился в «Парижский ОТЕЛЬ». Когда он попал в эту часть города, барристеры трусили по улицам в париках и мантиях, и он остановился, с узлом за плечами, посмотреть на них, полный нахлынувших на него курьезных воспоминаний прошлого.

– Клянусь Георгом! – раздался чей-то голос. – Это мистер Кэртью!

Повернувшись, он очутился нос к носу с красивым загорелым юношей, несколько полным, в щегольском костюме и с цветами на добрый соверен в петлице. Норрис встретился с ним в начале своего пребывания в Сиднее, на прощальном ужине, провожал его на шуну, полную тараканов и

черных матросов, на которой тот отправлялся в шестимесячное плавание среди островов, и сохранил о нем воспоминание.

Том Гадден (известный Сиднейской публике под именем «Томми»), был наследник значительного состояния, которое предусмотрительный отец вверил в руки суровых опекунов. Доход давал возможность мистеру Гаддену фигурировать в полном блеске в течение трех месяцев из двенадцати; а остальное время он проводил вдали от общества, на островах. Неделю тому назад он вернулся из плавания, разъезжал теперь по Сиднею в изящных кэбах, проветривая блистающие первым цветом юности шесть новеньких пар; тем не менее это простодушное создание приветствовало Кэртю, в его рабочей куртке и с узлом за плечами, точно герцога.

– Идем, выпьем! – сказал он весело.

– Я иду завтракать в «Парижский Отель», – ответил Кэртю. – Давненько уже не случилось мне поесть прилично.

– Великолепно! – сказал Гадден. – Я завтракал полчаса тому назад; но мы займем отдельную комнату, и я чего-нибудь перехвачу. Это подкрепит меня. Я чертовски измучился вчера вечером, а сегодня утром без конца встречаюсь с приятелями.

Встретиться с приятелем и выпить с ним было для Томми равнозначными выражениями.

Вскоре они сидели за столом в угловой комнате наверху и отнеслись с полным вниманием к наилучшему меню, какое можно было составить в Сиднее. Странное сходство положений сблизило их, и они вскоре разоткровенничались. Кэртю сообщил о своих лишениях в Парке и о своей работе в качестве землекопа; Гадден рассказал о своих похождениях в качестве любителя-торговца копррой в Тихом океане и набросал юмористическую картину жизни на Коралловом острове. Кэртю заключил, что его отлучка оказалась более доходной, но торговые расходы Гаддена состояли главным образом в портере и хересе для собственного употребления.

– У меня было и шампанское, – сказал он, – но я берег его на случай болезни, пока мне не показалось, что я и впрямь заболел; тогда я стал пить по бутылке каждое воскресенье. Спал обыкновенно все утро, потом завтракал с шампанским, лежал в гамаке и читал «Средние века» Галлама. Читали вы эту книгу? Я всегда беру с собой что-нибудь серьезное на острова. Без сомнения, я взялся за дело удачно; но если бы оно обошлось чуточку дешевле или если бы нас было двое в доле, мы взяли бы сто на сто. Я приобрел влияние, вот как! Я теперь вождь, заседаю в доме собраний на особом месте. Попробовали бы они наложить табу на меня! Не посмеют; у меня сильная партия, могу вас уверить. Как же, у меня более тридцати коуторпов сидят на веранде и уплетают консервы из лососины.

– Коуторпов? – спросил Кэртю, – что это такое?

– Так Галлам называет феодальную челядь, – объяснил Гадден не без хвастливости. – Это моя свита. Они принадлежат моему дому. Конечно, оно выходит не дешево; не напасешься ведь консервов из лососины на всех этих вассалов; но при случае я кормлю их сквидами. Сквиды хороши для туземцев, но я их не ем, – как и акулу. Это как рабочий класс на родине. При убыточной цене на копру, им бы следовало добровольно терпеть свою долю убытков, и я им объяснял это сто раз. Я считаю своей обязанностью просвещать их умы, и пытаюсь делать это; но политическая экономия им совсем не доступна, не вмещается в их голове.

Одно из его замечаний заинтересовало Кэртю, и он ответил с улыбкой:

– Кстати, по поводу политической экономии. Вы сказали, что если бы двое были в доле, то доходы возросли бы. В чем же тут расчет?

– Я сейчас покажу вам! Сейчас все вычислю! – воскликнул Гадден и принялся выводить сказочные цифры карандашом на оборотной стороне меню. Это был человек, или, скажем лучше, мальчик, с необычайной способностью проектировать. Стоило дать ему малейший намек на спекуляцию, и цифры текли из него потоком. Живое воображение и готовая к услугам, хотя не всегда точная, память, доставляли данные; он распространялся с неподражаемым жаром, который придавал ему вид забияки; сыпал противоречиями; находил ответы, пустые или содержательные, на всякое критическое замечание; и зритель улыбался то на его простоту, то на его увлечение, или изумлялся его неожиданной резкости. Он походил на пародию Пинкертонна. Если для Джима дело было романом, то для него арабской сказкой.

– Имеете вы понятие о том, что это стоит? – спросил он по поводу одного предмета торговли.

– Ни малейшего, – сказал Кэртю.



– Десять фунтов за глаза довольно, – заявил прожектер.

– О, не может быть! – воскликнул Кэртю. – По крайней мере пятьдесят.

– Вы только что сказали, что не имеете понятия о цене, – воскликнул Томми, – как же я составлю расчет, если вы назначаете наудачу? Вы, кажется, не способны быть серьезным!

Но он согласился повысить цену до двадцати, а немного погодя, когда расчет привел к дефициту, снова понизил ее до пятнадцати фунтов, заметив при этом: «Я говорил вам, что это вздор. В этого рода вещах необходима точность, иначе ничего путного не выйдет».

Некоторые из этих проектов показались Кэртю нелепыми, и по временам его совершенно сбивала с толку капризная игра ума прожектера. Эти прыжки, казалось, делаются просто ради упражнения и мимоходом, как курбеты норовистой лошади. Постепенно дело приняло форму; блестящее, если и лишенное фундамента, здание воздвиглось; и хотя медведь еще бродил по лесу, но шкура его была уже поделена. Кэртю через несколько дней мог получить полтораста фунтов; Гадден располагал пятьюстами; почему бы им не подобрать еще одного или двух молодцов, не нанять старое судно и не предпринять плавания на свой счет, страх и риск? Кэртю был опытен в управлении яхтой; Гадден, по его словам, мог «приблизительно справляться с делом». Денег, несомненно можно было зашибить, иначе зачем бы такое множество судов крейсеровало среди островов; имея собственное судно, можно было рассчитывать на еще большие барыши.

– И каков бы ни был результат, – воскликнул Гадден, – мы во всяком случае окупим свое содержание! Идем, купите себе приличный костюм, это, конечно, первое, что вам нужно сделать; а затем возьмем кабриолет и отправимся в «Почтенную Поселянку».

– Я останусь в том костюме, который на мне, – сказал Норрис.

– Останетесь? – воскликнул Гадден. – Должен сказать, что я удивляюсь вам. Вы настоящий мудрец. Это называется пифагореизм, не так ли, если я не забыл философии?

– Ну, я называю это экономией, – возразил Кэртю. – Если мы попытаем счастья в этом предприятии, то я буду беречь каждый сикспенс.

– Увидите, попытаем ли мы его! – воскликнул сияющий Томми, вставая из-за стола. – Только заметьте, Кэртю, все должно быть на ваше имя. У меня капитал, извольте видеть, а у вас все права. Вы можете разыграть роль *vacuus Viator*, если дело пойдет плохо.

– Мне кажется, мы только что доказали, что дело это верное, – сказал Кэртю.

– Верных дел не бывает, дружище, – возразил мудрец, – ненадежно даже букмекерство.

Трактир и чайный сад, известные под названием «Почтенной Поселянки», были собственностью капитана Востока, чья долгая, деятельная карьера была посвящена плаванию среди островов. Всюду, от Тонга до Адмиралтейства, он был как дома и мог лгать на родном языке. Он видел конец сандалового дерева, конец масла и начало копры; и сам был коммерческим пионером, первым, заведшим сношения с островами Джильберта. Он подвергся пытке на Фиджи во времена сэра Артура Гордона; и если когда-нибудь молился, то, конечно, имя сэра Артура не было забыто. Он получил семь копийных ран в Новой Ирландии – его помощник был тогда же убит – при знаменитом нападении на бриг «Веселый Роджер»; но предатели-дикари ничего не выиграли от своего коварства, и Восток, несмотря на все их сопротивление, заставил семьдесят пять человек работать на судне, причем не более дюжины умерли от ран. Он участвовал, кроме того, в милой шутке, которая стоила жизни Паттисону; и когда мнимый епископ высадился, отслужил службу и благословил туземцев, Восток, в женской рубашке, которую он достал из запаса своих товаров, стоял по правую руку от него и провозглашал «аминь». Это было темой его любимого рассказа, когда он был уверен, что находится в компании добрых друзей. «Двести рабочих за пригоршню аминей», так он озаглавил рассказ; а последствие, смерть настоящего епископа, казалось ему необыкновенно забавной штукой.

– Зачем же мы едем к этому старому негодяю? – спросил Кэртю.

– Подождите, пока услышите его, – ответил Томми; – этот человек знает все.

Выходя из кабриолета у «Почтенной Поселянки», Гадден заинтересовался наружностью извозчика, крупного, смахивавшего на моряка, человека, краснолицего, голубоглазого, с короткими руками и прерывистым дыханием, лет сорока.

– А ведь я вас знаю, – сказал он, – возили вы меня раньше?

– Сколько раз, мистер Гадден! – ответил возница. – Последний раз, когда вы вернулись, я возил вас на скачки, сэр.

– Отлично; в таком случае слезайте и заходите выпить, – сказал Томми и направился в сад.

Капитан Восток встретил друзей: это был медлительный угрюмый старик с рыбьими глазами; он поздоровался с Томми и (как вспомнили впоследствии) перемигнулся с извозчиком.

– Бутылку пива извозчику на тот столик, – сказал Том, – все, что вам угодно, от шэндигаффа<sup>37</sup> до шампанского, на этот; и присаживайтесь сами к нам. Позвольте мне познакомить вас с моим другом, мистером Кэртью. Я пришел по делу, Билли; мне требуется от вас дружеский совет; я затеваю торговлю с островами за свой риск.

Без сомнения, капитан был целым рудником советов, но ему не представилось случая дать их. Он не мог высказать мнения, не успевал кончить фразы, как Гадден сбивал его целым залпом возражений и поправок. Этот прожектер, с разгоревшимся от возбуждения лицом, ставил ему вопрос, и прежде чем тот успевал ответить, впивался в него, отвергал его факты, осмеивал его соображения и по временам громил его с высоты морального негодования.

– Прошу прощения, – сказал он наконец – я джентльмен, мистер Кэртю джентльмен, и мы не намерены братья за такое дело. Неужели вы не можете понять, с кем говорите? Неужели вы не можете говорить со смыслом? Неужели вы не можете указать нам подходящий товар?

– Нет, думается мне, не могу, – возразил старый Восток, – особенно, когда не могу слышать свой голос две секунды кряду. Я получал барыши на джине и ружьях.

– Подите вы с джином и ружьями! – воскликнул Гадден. – Они давали барыши в ваше время, это верно, но теперь вы стары, и ваша игра кончена. Я вам скажу, что требуется теперь, Билли Восток, – прибавил он и остановился.

Кэртю не мог удержаться от улыбки. Весь план начинал ему казаться менее серьезным, так как Гадден представлялся слишком невменяемым вождем; но он забавлял его чрезвычайно. Совсем иное впечатление произвел он на капитана Востока.

– Вы знаете, где раки зимуют, да? – с горечью заметил этот джентльмен, когда Томми замолчал.

– Знаю лучше вас, если вы это подразумеваете, – возразил Том. – Стою на том. Вы человек без всякого образования, вы провели всю жизнь в море и на островах; неужели вы думаете, что можете давать указания такому человеку, как я?

– Ваше здоровье, Томми, – отвечал Восток, – вас не зажарят и на Новых Гебридах.

– Разумеется! – воскликнул Том, быть может, не поняв смысла этого сомнительного комплимента, – теперь слушайте меня внимательно. У нас есть деньги, и предприимчивость, и опыт; нам нужен дешевый хорошенький кораблик, – умелый капитан и рекомендация к какому-нибудь торговому дому, который отпустил бы нам товары в кредит.

– Вот что я вам скажу, – возразил капитан Восток, – я видел, как людей, подобных вам, жарили и ели, а потом жаловались. Иные оказывались жесткими, другие безвкусными, – прибавил он сердито.

– Что вы хотите сказать? – воскликнул Томми.

– Что я пальцем не пошевелю, – сказал Восток. – Это не в моих интересах. Я не страховал вашей жизни. Только убей меня Бог, если я не пожалею каннибала, который попробует съесть вашу голову. И я рекомендую вам дешевый, хорошенький гроб и умелого гробовщика. Постарайтесь найти торговый дом, который окажет вам кредит на покупку гроба. Взгляните на вашего друга, у него есть смысл в голове; он смеется над вами.

Точную степень раздражения мистера Востока было трудно определить; возможно, что он не особенно сердился, возможно, что он считал свои замечания любезной болтовней. Но не подлежит сомнению, что Гадден принял их близко к сердцу. Он встал, и совещание готово было кончиться, когда новый голос вмешался в разговор.

Извозчик сидел, повернувшись спиной к собеседникам, и курил пенковую трубку. От него не ускользнуло ни одно слово из разглагольствований Томми, и, внезапно повернувшись к нему лицом, он ошеломил его следующими словами:

---

<sup>37</sup> Смесь обыкновенного пива с имбирным (прим. перев.).

– Извините меня, джентльмены, если вы купите для меня корабль, то я достану вам товары в кредит.

Последовала пауза.

– Как? Что вы хотите сказать? – пробормотал Томми.

– Лучше объясните им, кто я такой, Билли, – сказал извозчик.

– Безопасно ли это, Джо? – спросил мистер Восток.

– Я готов на риск, – ответил извозчик.

– Джентльмены, – сказал Восток, внезапно вставая, – позвольте вас познакомить с капитаном «Милочки Грэс», Уиксом.

– Да, джентльмены, вот кто я такой, – сказал извозчик, – вы знаете, что я попал в передрагу, и я не отрицаю, что нанес удар; а как мне было доказать, что я был вызван? Вот я и скрылся, и разъезжаю три года извозчиком.

– Прошу прощения, – сказал Кэртью, чуть ли не в первый раз открывая рот, – я ничего не знаю о вашем деле. В чем вас обвиняли?

– В убийстве, – сказал капитан Уикс, – и я не отрицаю, что нанес удар. И не было бы смысла отрицать, что я побоялся идти на суд, иначе зачем бы я был здесь? Но дело в том, что это был форменный бунт. Спросите Билли. Он знает, как это было.

Кэртью глубоко вздохнул; он испытывал странное, почти приятное чувство от сознания, что погружается глубже в поток жизни.

– Ну, – сказал он, – что же вы хотели сказать?

– Вот что я хотел сказать, – продолжал капитан решительным тоном, – я слышал все, что говорил мистер Гадден, и думаю, что он говорил со смыслом. Мне очень понравились некоторые его идеи. Он здраво рассуждает насчет товаров, и я думаю, что мы могли бы с ним столкнуться. Затем вы оба джентльмены, и это мне нравится, – заметил капитан Уикс. – И, наконец, скажу вам, что мне надоело крейсировать в кэбе, и хотелось бы взяться за мое старое дело. Так вот мое предложение. У меня есть небольшие деньги, которыми я могу рискнуть, – фунтов сто наберется. Затем моя старая фирма доверит мне товар, и рада будет случаю; им никогда не случалось терпеть за меня убытки; они знают, чего я стою как суперкарг. И напоследок, вам требуется умелый капитан для вашего судна. Ну, вот он – я! Я плавал на шхунах десять лет. Спросите Билли, умею ли я управлять шхуной.

– Высший класс, – сказал Билли.

– А насчет моего характера, как товарища по кораблю, – заключил капитан Уикс, – справьтесь у моей старой фирмы.

– Но послушайте, – воскликнул Гадден, – как же вы устроите это дело? Вы можете разъезжать в кэбе, не возбуждая подозрений, но попробуйте явиться на шканцы, милейший, и вас живо сцапают.

– Я буду скрываться до последней минуты, – возразил Уикс, – и приму другое имя.

– А как же с формальностями? Какое другое имя? – спросил Томми, несколько смущенный.

– Я еще сам не знаю, – ответил капитан с усмешкой. – Посмотрю, какое имя в моем новом удостоверении, то и будет хорошо для меня. Если удастся купить, хотя и никогда не слыхал о такой сделке, то всего лучше у старого Киркона; он сделался чем-то вроде фермера по дороге на Бонди; он продаст мне свое.

– Вы говорите так, как будто имеете в виду судно, – сказал Кэртью.

– Действительно, имею, – отвечал капитан Уикс, – и судно хоть куда. Шхуна «Мечта» – такого ходока вы еще не видывали. Она обогнала меня однажды у острова Вознесения, делая два узла, пока я делал один, а ведь «Милочка Грэс» был такой корабль, которым я гордился. Я рвал на себе волосы. С тех пор «Мечта» сделалась моей мечтой. Это было в старые дни, когда она носила еще синий флаг. Грант Сандерсон был ее владелец; был он богат и взбалмошен, и схватил наконец лихорадку где-то на Флай-Райвер и умер. Капитан привез тело обратно в Сидней. И что же? Оказалось, что Грант Сандерсон оставил кучу завещаний и кучу вдов, а которая настоящая – никто не мог решить. Каждая вдова начала дело против всех остальных, а на каждом завещании имелась подпись стряпчего, длиной в вашу руку. Мне говорили, что это было одно из самых запутанных дел, какие только случались когда-нибудь; сам Лорд Камергер не мог ничего разобрать, и Лорд Канцлер тоже, и все это время «Мечта» гнила да гнила себе в Глеб-Пойнте. Ну,

теперь дело кончено; выбрали одну вдову и одно завещание – должно быть, кинули орла и решку – и «Мечта» продается. Ее уступят дешево; очень уж долго гнила.

– А ее вместимость?

– Хватит с нас. Больше не понадобится. Сто девяносто тонн, без малого двести, – ответил капитан. – Она достаточно велика для нас троих; всего бы лучше нам взять еще помощника, хоть оно и жалко, когда можно нанять туземцев за полцены. Затем, нам нужен кок. Я могу взять неопытных матросов, но не следует идти в море с новичком-коком. У меня есть на примете подходящий человек: лихой малый, мой старый корабельный товарищ, зовут Амалу. Стряпает отлично, да и всегда лучше брать туземца, он не удерет, вы можете вертеть им как угодно, и он не умеет вступить за свои права.

С того момента, когда капитан Уикс вмешался в разговор, к Кэртю вернулись интерес и доверие; этот человек (что бы он ни сделал) был, очевидно, добродушный и дельный малый: если он одобрял предприятие, предлагал участвовать деньгами, вносил опыт и мог с одного слова решить проблему товара, то Кэртю готов был стать во главе. Что касается Гаддена, то его кубок был полон, он помирился с Востоком за шампанским, тост следовал за тостом, было предложено и принято единогласно переименовать шхуну (когда она будет куплена) в «Почтенную Поселянку», и до наступления сумерек фактически была учреждена «Островная Торговая Компания 'Почтенной Поселянки'».

Спустя три дня Кэртю стоял перед стряпчим, все еще в своей бумазейной паре, получил полтора доллара и пытался довольно робко просить нового снисхождения.

– Я имею шансы на некоторый успех, – сказал он. – Завтра вечером я надеюсь быть совладельцем корабля.

– Опасная собственность, мистер Кэртю, – сказал стряпчий.

– Не в том случае, когда собственники работают на ней сами и сами отправляются в плавание, – был ответ.

– Я допускаю, что предприятие может оказаться выгодным, – заметил стряпчий. – Но разве вы моряк? Я думал, что вы были на дипломатической службе.

– Я опытен в управлении яхтой, – сказал Норрис, – и мне приходится делать, что могу. В Новом Южном Уэльсе не проживешь дипломатией. Но я хотел поговорить с вами вот о чем. Мне невозможно будет явиться к вам в следующую четверть; мы намерены предпринять шестимесячное плавание среди островов.

– Очень жаль, мистер Кэртю, но я и слышать об этом не могу, – возразил стряпчий.

– Я рассчитываю на те же условия, что прошлый раз, – сказал Кэртю.

– Условия совсем не те, – отвечал стряпчий. – Прошлый раз мне было известно, что вы в колонии, и все-таки я отступил от инструкций. На этот раз, по вашему собственному признанию, вы собираетесь нарушить условие, и я предупреждаю вас, что если вы исполните свое намерение, и я получу доказательство этого (настоящий разговор я согласен считать конфиденциальным), то мне придется исполнить мой долг. Будьте здесь в следующую четверть, иначе вы перестанете получать пособие.

– Это очень жестоко и, как мне кажется, довольно глупо, – возразил Кэртю.

– Это не мое дело. Я только исполняю инструкции, – сказал стряпчий.

– И вы так понимаете ваши инструкции, что они запрещают мне честно зарабатывать хлеб? – спросил Кэртю.

– Откровенно говоря, – сказал стряпчий, – я не нахожу в этих инструкциях ничего насчет честного заработка. Я не имею основания предполагать, что мои клиенты думали о нем. Я имею основание предполагать только одно – что они желают, чтобы вы оставались в колонии, – и догадываться о другом, мистер Кэртю... догадываться о другом.

– Что вы хотите сказать? – спросил Норрис.

– Я хочу сказать, что очень сильные основания заставляют меня догадываться, что ваше семейство не желает больше вас видеть, – пояснил стряпчий. – О, они могут быть не верны, но таково впечатление, остающееся у меня; за осуществление этого намерения, я полагаю, мне и платят, и для меня не остается выбора.

– Я не хочу обманывать вас, – сказал Норрис, сильно покраснев, – ваша догадка правильна. Мое семейство не желает видеть меня, но я еду не в Англию, я еду на острова. Какое же отношение имеет это к островам?

– Да, но я ведь не знаю, что вы едете на острова, – сказал стряпчий, опуская глаза и протыкая пером пропускную бумагу.

– Извините, я имел удовольствие сообщить вам это, – возразил Норрис.

– Боюсь, мистер Кэртью, что я не могу считать это сообщение официальным, – последовал медленный ответ.

– Я не привык, чтобы в моих словах сомневались! – воскликнул Норрис.

– Тише! Я никому не позволяю повышать голос в моей конторе, – сказал стряпчий. – Что касается этого дела, то вы, кажется, толковый молодой джентльмен, – сообразите же сами, что мне известно о вас. Вы отвергнутый сын, ваше семейство платит деньги, чтобы отделаться от вас. Что вы сделали? Я не знаю. Но разве вы не видите, как глупо было бы с моей стороны рисковать своей деловой репутацией, полагаясь на слово джентльмена, о котором я знаю ровно столько и ничего более? Это очень неприятное объяснение. Зачем длить его? Напишите домой, пусть мне дадут другие инструкции, и я сделаю по-вашему. Но не иначе.

– Мне очень желательно иметь триста фунтов в год, – сказал Кэртью, – но я не могу выполнить ваше требование. Больше я не буду иметь удовольствия вас видеть.

– Делайте как хотите, – сказал стряпчий. – Если вы не явитесь сюда в следующую четверть, выдача прекратится. Но я предупреждаю вас, и делаю это предупреждение с дружеским намерением. Спустя три месяца вы явитесь сюда с просьбой, и мне останется только указать вам на дверь.

– Доброго вечера, – сказал Норрис.

– Вам тоже, мистер Кэртью, – сказал стряпчий и позвонил клерку.

Так случилось, что в течение остальных хлопотливых дней, проведенных в Сиднее, Норрис не видался со своим легальным советником, а когда он уже был в море и земля исчезла из виду, Гадден принес ему сиднейскую газету, над которой дремал в тени кухни, и показал объявление:

*«Мистера Норриса Кэртью настоятельно просят зайти безотлагательно в контору мистера – где его ожидает важное известие».*

– Ему придется подождать еще полгода, – сказал Норрис довольно беспечным тоном, хотя чувствовал приступ сильного любопытства.

## Глава XXIII

### Бюджет «Почтенной Поселянки»

Перед полуднем, 26 ноября, они вышли из Сиднейской гавани на шхуне «Почтенная Поселянка». Собственник, Норрис Кэртью, находился на судне в не совсем обычном положении помощника; имя капитана было, по бумагам, Вильям Киркоп; кок был гавайский бой, по имени Джозеф Амалу, кроме того, имелись двое матросов, Томас Гадден и Ричард Гемстид; последний был избран частью за свой смирный характер, частью потому, что ловко обращался с орудиями. «Почтенная Поселянка» отправлялась на острова Тихого океана, и прежде всего на Бутаритари в группе Джильберта, впрочем, в гавани думали, что это более чем наполовину увеселительная поездка. Друг покойного Гранта Сандерсона (из Аучентруна и Килкларти), быть может, узнал бы в этом судне преобразившуюся и переименованную «Мечту», а инспектор Ллойда, если бы к услугам такового обратились, нашел бы обильный материал для замечаний. Время жестоко изъело «Мечту» и ее снасти, поэтому она и пошла почти за цену старой джонки, а трое авантюристов могли сделать только самые необходимые исправления. Оснастка, впрочем, была частью обновлена, частью починена; вся старая парусина Гранта Сандерсона залатана и превращена в довольно приличный набор парусов; мачты Гранта Сандерсона до сих пор стояли и, кажется, сами на себя дивились. «У меня не хватает духа толкнуть их», – говаривал капитан Уикс, а «Гнилой, как наша фок-мачта», вошло в поговорку у экипажа. Последствия показали, что судно было крепче, чем думали, но никто не знал этого наверное, точно так же, как никто, кроме капитана, не представлял себе опасностей плавания. Капитан действительно видел их ясно и высказывался откровенно, и хотя он был человек удивительной отваги, гнавшийся за жизнью и принимавший ее опасности с увлечением собаки, почуявшей красного зверя, однако настоял на приобретении большого вельбота. «Выбирайте, что хотите, – сказал он, – или новые мачты и снасти, или эту шлюпку. Я не пойду в море без того или другого». И его компаньоны были вынуждены согласиться и затратить тридцать шесть фунтов из своего маленького капитала.

Все четверо трудились, не покладая рук, шесть недель, подготавливаясь к плаванию, и хотя о капитане Уиксе, разумеется, не было ни слуху, ни духу, однако им помогал пятый, субъект с лохматой рыжей бородой, которую он иногда откладывал в сторону, когда находился внизу, поразительно напоминавший голосом и манерами капитана Уикса. Что касается капитана Киркопа, то он не показывался до последней минуты, когда явился в образе дюжего моряка, с бородищей как у Абу-Бен-Эдхэма. Все время, пока судно находилось в гавани и выходило в море, молочно-белые усы капитана развевались по ветру и были видимы с берега, но лишь только «Почтенная Поселянка» свернула за маяк, он спустился вниз и спустя несколько секунд вернулся выбритым начисто. Вот какие хитрости и уловки потребовались, чтобы вывести в море корабль, не годный для плавания, и «отсутствующего» капитана. Может быть, и они бы не помогли, если бы Гадден не пользовался популярностью, и если бы на все плавание не смотрели снисходительно, как на одну из забавных эксцентричностей Томми. Кроме того, судно было раньше яхтой, и казалось естественным предоставить ему и теперь кое-какие из опасных вольностей его прежнего назначения.

Странный это был корабль, с его высокими мачтами, обезображенными залатанными парусами, с отдельными панелями-каютами, превращенными в товарный склад при помощи простых полок. Жизнь, которую вели на этой необычной шхуне, была не менее курьезна, чем она сама. Только Амалу помещался в передней части, остальные занимали офицерские каюты, располагались на атласных диванах и обедали в паркетной курилке Гранта Сандерсона, угощаясь солониной и картофелем довольно плохого качества и не всегда в достаточном количестве. Гемстид ворчал, Томми иногда возмущался и прибавлял к обычному меню две-три жестянки с консервами и бутылку своего хереса. Но Гемстид ворчал по привычке, Томми возмущался только минуту, и в действительности все относились к этим лишениям благодушно. Дело в том, что за исключением запаса лука и картофеля, «Почтенная Поселянка» отправилась в плавание, можно сказать, без припасов. На ней имелось на две тысячи фунтов товара, отпущенного в кредит, – вся

их надежда. За счет его они существовали как мыши в своей собственной житнице. Они обедали в счет будущих прибылей, и всякая экономия в обеде была как бы вкладом в сберегательную кассу.

Несмотря на их республиканский обиход, недостатка, по крайней мере опасного, в дисциплине не ощущалось. Уикс был единственный моряк на судне, критиковать его было некому; кроме того, он отличался таким благодушным и веселым нравом, что никто не решился бы огорчить его. Кэртью делал все, что мог, частью из любви к делу, частью из любви к капитану; Амалу был усердный работник, и даже Гемстид и Гадден работали при случае охотно. Томми взял на себя торговлю и товары: сиднейский денди возился в трюме и товарной каюте, пока становился неузнаваемым, затем поднимался наверх, устраивал себе ванну из морской воды, переодевался и ложился на палубе с листом газеты или томом «Истории цивилизации» Бокля, избранной для этого плавания. В последнем случае не обходилось без смеха, так как Бокль неизменно выскользал из рук чтеца, а проснувшись, Том почти всегда прибегал к бутылке хереса. Связь эта установилась так прочно, что выражения «стакан Бокля» или «бутылка цивилизации» сделались обычными шутками на «Почтенной Поселянке».

В обязанности Гемстида входила починка, и работы у него были полные руки. Все на корабле находилось в состоянии разрушения: лампы текли, как и палубы, дверные ручки оставались в руке отворявшего дверь, лепные украшения отставали вместе с панелями, насос отказывался качать воду, ванна чуть не затопила судно. Уикс утверждал, что все гвозди давно превратились в ржавчину. «Не смешите меня, Томми, – говорил он, – а то отскочит ахтер-штевень». А когда Гемстид со своими инструментами производил обычный осмотр, Уикс не упускал случая подтрунить над его обязанностями. «Что за бессмыслица чинить вещи, у которых одна гниль внутри», – говорил он. И, без сомнения, эти вечные шуточки подбадривали его сухопутных товарищей, остававшихся безмятежными при таких обстоятельствах, которые, пожалуй, смутили бы Нельсона.

Погода сначала стояла великолепная, ветер был попутный и постоянный. Корабль летел, точно на крыльях. «Эта „Почтенная Поселянка“ сильная старая девка, хотя недугов у нее столько, что не перечтешь, – говорил капитан, отмечая путь на карте, – но она могла бы показать пятки любому судну такого же водоизмещения на Тихом океане». Мыть палубы, чередоваться у штурвала, определять суточный ход корабля после обеда в курилке, – такова была легкая рутина их жизни. Вечером, если Томми не угощал своей «цивилизацией», развлекались болтовней и музыкой. У Амалу был приятный гавайский голос, а Гемстид, мастер играть на банджо, с большим эффектом сопровождал собственному дребезжащему тенору. Маленький человечек пел с большим чувством. Особенно удачно выходили у него «Родина, милая родина» и «Где-то мой мальчик скитается ныне?» – песенки, в которые он вкладывал самый невыносимый пафос. Казалось, у него нет родины и никогда не было, равно как и никаких следов семьи, за исключением жестокого дяди, булочника в Ньюкестле. Его семейные чувства висели, таким образом, в воздухе и выражали неосуществимый идеал. Или, быть может, из всего пережитого им впечатления «Почтенной Поселянки» с ее добродушной, веселой и терпимой компанией наиболее приближались к ним.

Быть может потому, что мне известны последовавшие события, я не могу думать без глубокого чувства сожаления и грусти об этом плавании, о корабле (когда-то прихоти богатого самодура) с его обветшавшей роскошью и скромным назначением, среди равнины океана, при пышном восходе и закате солнца, об экипаже, так странно собравшемся, так британски тупоголовом, коротавшем дни в шутках вместо разговоров, без единой путной книги, кроме Гадденовского Бокля, которого никто из них не мог прочесть или понять, с единственным проявлением культурных интересов в виде пристрастия Кэртью к кисти и карандашу, которыми он занимался в свободные минуты, меж тем как беспечная команда стремилась к трагической катастрофе.

Спустя двадцать восемь дней после отплытия из Сиднея, в сочельник они были у входа в лагуну и всю эту ночь держались в море, определяя положение по огням рыбаков на рифе и силуэтам пальм на облачном небе. С наступлением дня шхуна легла в дрейф и подала сигнал о лоцмане. Но, очевидно, ее огни были замечены туземными рыбаками, которые дали знать в поселок, так как шлюпка уже направлялась к ним. Она шла через лагуну под всеми парусами, то и дело ложась на бок, так что по временам, при сильных порывах ветра, им казалось, что она вот-

вот перевернется; лихо подлетела к шхуне, круто повернула борт к борту и высадила какого-то бродягу, по-видимому, белого в индийских шароварах.

– Доброго утра, капитан, – сказал он, взобравшись на палубу. – Я принял вас за фиджийский военный корабль из-за ваших палуб и мачт. Ну-с, джентльмены, желаю всем веселого Рождества и счастливого Нового года, – прибавил он и пошатнулся.

– Да вы вовсе не лоцман! – воскликнул Уикс, рассматривая его с величайшим отвращением. – Никогда вы не вводили судов, и не уверяйте меня.

– Ну, а мне сдается, вводил, – возразил лоцман. – Я капитал Доббс, вот кто я, и когда я взялся за судно, его капитан может отправиться вниз браться.

– Но, черт побери, вы пьяны! – воскликнул капитан.

– Пьян! – повторил Доббс. – Не видали же вы пьяных, если меня так называете. Я только на первом взводе. Вечером другое дело, к вечеру я буду полон до краев. Но сейчас я самый трезвый человек во всем Биг-Меггине.

– Это не подойдет, – возразил Уикс. – Нет, сэр. Я не могу позволить вам опрокинуть мою шхуну.

– Ладно, – сказал Доббс, – оставайтесь же гнить на месте, или опрокидывайте ее сами, как капитан «Лесли». Тот ловко обделал дело, отнял у меня двадцать долларов лоцманской платы, а потерял двадцать тысяч в товарах да новешенькую шхуну; она пошла на дно в четыре минуты и лежит на глубине двадцати фатомов с товарами и со всем остальным.

– Чтобы толкуете? – воскликнул Уикс. – Товары? Что это за судно «Лесли»?

– Товароотправители Коген и К° из Фриско, – ответил лоцман, – здесь его ждали с нетерпением. Тут есть барк, который грузится на Гамбург, – вы можете видеть отсюда его мачты – да два судна должны прибыть из Германии, одно через два, другое через три месяца; агент Коген и К° (мистер Топелиус) заболел желтухой от всего этого. Да и со всяким было бы то же на его месте: товаров нет, копры нет, ожидают суда в двести тонн. Если у вас найдется копра, капитан, пользуйтесь случаем. Топелиус купит за наличные и даст три цента. Для него прямой расчет купить, хотя бы пришлось переплатить. И все это вышло оттого, что не захотели взять лоцмана.

– Одну минуту, капитан Доббс. Мне нужно поговорить с моим помощником, – сказал капитан, лицо которого оживилось, а глаза засверкали.

– Сделайте одолжение, – отвечал лоцман, – вы не станете, надеюсь, придирааться к человеку по пустякам. Это чертовски негостеприимно и создает шхуне дурную славу.

– Мы еще поговорим об этом, – сказал Уикс и отвел Кэртю на нос. – Слушайте, – прошептал он, – тут целое состояние.

– Сколько, вы считаете? – спросил Кэртю.

– Я не могу еще определить цифру, не решаюсь! – сказал капитан. – Мы можем проплыть двадцать лет и не найти такого случая. А предположите, что завтра явится другое судно. Все возможно! Но как быть с этим Доббсом? Он пьян как сапожник. Как можем мы положиться на него? Ведь мы не застрахованы, к сожалению!

– Что если вы возьмете его вверх и заставите указывать проход? – предложил Кэртю. – Если он знает место и не свалится со снастей, то, может быть, можно рискнуть.

– Да, тут все риск, – согласился капитан. – Становитесь у штурвала и помните, что если будут две команды, то исполняйте мою, а не его. Поставьте кока у переднего паруса, а двух других у грота-шкота, и скажите им, чтобы не зевали.

Сказав это, он позвал лоцмана; оба вскарабкались на снасти фок-мачты, и вскоре раздалась команда ослабить шкоты и наполнить паруса.

Было без четверти девять рождественского утра, когда они бросили якорь.

Таким образом, первое плавание «Почтенной Поселянки» закончилось удачей, какой не могли ожидать. Она привезла на две тысячи фунтов товара прямехонько в то место, где он наиболее требовался. И капитан Уикс (или капитан Киркоп) сумел воспользоваться случаем. Двое суток он разгуливал по веранде с Топелиусом; двое суток его компаньоны следили из соседнего трактира за полем битвы; и еще лампы не были зажжены вечером второго дня, когда неприятель сдался. Капитан Уикс явился в «Сан-Суси» – так назывался трактир, с почерневшим лицом, с почти закрытыми и налитыми кровью, но горевшими как зажженные спички глазами.



– Идем, ребята, – сказал он, и когда все отошли на некоторое расстояние под пальмы, прибавил почти неузнаваемым голосом: «Имею двадцать четыре», – без сомнения, намекая на почтенную игру в криббедж.

– Что вы хотите сказать? – спросил Томми.

– Я продал товар, – отвечал Уикс, – или скорее, продал только часть его, так как получил обратно все мясо и половину муки и сухарей, и, ей-богу, мы снабжены провизией на четыре месяца. Ей-богу, это все равно что украдено!

– Скажите на милость! – воскликнул Гемстид.

– Но за сколько вы продали? – проговорил Кэртю, на нервы которого действовало почти безумное возбуждение капитана.

– Дайте мне рассказать по-своему! – воскликнул Уикс, расстегивая воротник. – Дайте рассказать по порядку, а то меня взорвет. Я не только продал товар, я заставил зафрахтовать судно на моих условиях во Фриско и обратно, – на моих условиях. Я уперся на этом. Сначала я одурачил его, уверив, будто мне требуется копра, которой, я знал, он не захочет дать, – да и не может; и всякий раз, как он артачился, я донимал его копррой. Я не хотел брать ничего, кроме копры, изволите видеть; и таким манером получил здоровый куш, все звонкой монетой, кроме двух маленьких чеков на Фриско. А всего? Ну вот: вся эта история, включая две тысячи фунтов в кредит, обошлась нам в две семьсот с чем-то. Все это уплачено; в тридцатидневное плавание мы окупили товар и шхуну. Слышал ли кто о такой удаче? Но это еще не все! Сверх этого, – продолжал капитан, – мы выручили тысячу триста фунтов, которые можем поделить как прибыль. Я содрал с него четыре тысячи! – воскликнул он голосом школьника.

С минуту компаньоны смотрели на своего вождя ошеломленные, испытывая только недоверчивое изумление. Томми первый освоился с положением.

– Ну, – сказал он резким деловым тоном, – идем обратно в трактир, я намерен напиться.

– Вы меня извините, ребята, – серьезно сказал капитан, – я капли в рот не возьму. Если я выпью хоть стакан пива, то, уверен, меня хватит удар. Последняя схватка и блистательный триумф совсем развинтили меня.

– Ну, так тоекратное «ура!» капитану! – предложил Томми.

Но Уикс сделал отрицательный жест.

– Нет, и это не годится, – сказал он. – Подумайте о том молодце и не тревожьте его. Мне-то хорошо, а каково Топелиусу. Если он услышит ваше ура, то с ума сойдет.

В действительности Топелиус отнесся к своему поражению довольно благодушно, но команда потонувшего «Лесли», служившая тем же хозяевам и верная своей фирме, приняла это дело близко к сердцу. В резких словах и косых взглядах не было недостатка. Однажды даже они прогнали капитана Уикса с веранды трактира; команда «Почтенной Поселянки» явилась на выручку; несколько минут казалось, что произойдет битва на Бутаритари; и хотя до ударов не дошло, но этот случай усилил озлобление обеих сторон.

Подобные мелочи не могли, впрочем, омрачить счастья удачливых торговцев. Судно оставалось в лагуне еще пять дней, причем заняты были только Томми и капитан, так как туземцы капитана Топелиуса выгружали товар и нагружали балласт. Время летело точно приятный сон; авантюристы просиживали далеко за полночь, обсуждая и превознося свою удачу, а днем бродили по острову, как праздные туристы. Первого января «Почтенная Поселянка» вторично снялась с якоря и отплыла в Сан-Франциско при такой же хорошей погоде и попутном ветре. Она пересекла штилевую полосу почти без задержки; на ветру, с балластом из коралловых обломков, она превзошла все ожидания, и благодушное настроение компании еще увеличивалось от того, что небольшое количество работы, доставшееся на их долю, уменьшилось теперь благодаря присутствию нового матроса. Это был боцман с «Лесли». Он повздорил со своим капитаном, прокутил свое жалованье в кабаках Бутаритари, соскучился в этом месте; и тогда как его товарищи холодно отказались вступить на палубу «Почтенной Поселянки», он предложил перевезти его за работу. Он был из Северной Ирландии, нечто среднее между ирландцем и шотландцем, грубый, горластый, раздражительный и вспыльчивый, не лишенный хороших качеств, опытный и добросовестный матрос. Его настроение, действительно, было совсем не то, что его новых товарищей. Он не нажил неожиданных барышей, а, напротив, потерял место, был недоволен

пайком и прямо поражен состоянием шхуны. Каютная дверь отказалась отворяться в первый же день плавания. Мак, так его звали, сильно толкнул ее и сорвал с петель.

– Святители! – сказал он. – Корабль совсем гнилой!

– Я то же думаю, дружище! – подтвердил капитан Уикс.

На другой день матрос, задрав голову, всматривался в мачты.

– Не смотрите на эти кольца, – сказал капитан, – а то ошалеее и кувыркнетесь за борт.

Мак дико взглянул на него.

– Я вижу там пятно сухой гнили, – сказал он, – дыра такая, что кулак засунешь.

– Пожалуй, и голову засунете, как вам кажется? – возразил капитан. – Но не стоит интересоваться тем, что не поправишь.

– Свалаял же я дурака, когда поступил на это судно! – заметил Мак.

– Ну, я ведь никогда не говорил, что оно годится для плавания, – возразил капитан, – я говорил только, что оно может перегнуть любое судно. Кроме того, я не знаю, точно ли это сухая гниль, может быть, и другое что. Ну-ка, бросьте лаг, это вас подбодрит.

– Ну, нечего сказать, вы лихой капитан, – сказал Мак.

И с этого дня он ограничивался одним-единственным намеком на состояние судна, именно в тех случаях, когда Томми пускал в ход свой погреб.

– За торговлю на джонках! – говорил он, осушая свою кружку хереса.

– Почему вы всегда говорите это? – спросил Томми.

– У меня дядя занимался этим делом, – ответил Мак и рассказал длинную историю, две пятых которой состояли из проклятий.

Только раз он проявил свой буйный характер, хотя говорил о нем часто; «Я буйан изрядный», отзывался он не без гордости о самом себе, но образчик своего буйства показал лишь однажды. Он внезапно набросился на Гемстида на шкафуте, сбил его с ног ударом, потом еще и еще раз, прежде чем кто-нибудь успел опомниться.

– Эй! Перестань! – рявкнул Уикс, вскакивая на ноги. – Я не люблю таких штук.

Мак повернулся к капитану очень учтиво.

– Я только хотел научить его вежливости, – сказал он. – Он назвал меня ирландцем.

– Назвал? – спросил капитан. – О, это другое дело! Что это вы выдумали, дуралей? Вы недостаточно сильны, чтобы всячески обзывать людей.

– Вовсе я не обзывал, – прохныкал Гемстид, утирая кровь и слезы. – Я только сказал, что он, кажется, ирландец.

– Ну, довольно об этом, – сказал Уикс.

– Но ведь вы и в самом деле ирландец, разве нет? – спросил Кэртю немного погодя своего нового товарища.

– Может быть, – ответил Мак, – но я не позволю какому-нибудь сиднейскому гусю называть меня так. Нет, – прибавил он, внезапно разгорячившись, – и англичанину не позволю. Вот вы, например, – продолжал он, – вы молодой франт, не так ли? Предположим, что я бы так назвал вас! «Я тебе покажу франта», сказали бы вы и живо бы разделались со мной.

28 января, когда мы были под 27°20' северной широты и 177° западной долготы, ветер внезапно переменялся на западный, не особенно сильный, но порывистый, с дождем. Капитан, желая идти на восток, поставил паруса к ветру. У штурвала стоял Томми, и так как ему предстояло скоро смениться (в семь с половиной часов утра), то капитан не счел нужным немедленно заменять его другим.

Порывы были сильные, но непродолжительные; настоящего шквала не было; кораблю и сомнительным мачтам, по-видимому, не грозило никакой опасности. Вся команда в непромокаемых куртках собралась на палубе в ожидании завтрака; кухонная труба дымилась, на судне распространился запах кофе, все были довольны, что идут к востоку со скоростью девяти узлов; как вдруг гнилой фок-зейль лопнул сначала вдоль, потом поперек. Точно архангел огромным мечом рассек его крест-накрест. Все бросились починять парус, и в этой внезапно наступившей тревоге и суматохе Томми Гадден потерял голову. Много дней провел он с тех пор, объясняя, что именно произошло; об этих объяснениях достаточно сказать, что все они были различны, и ни одно не было удовлетворительным, а факты таковы, что главная стеньга перекинулась, увлекая за собой тали, переломила гром-мачту фута на три над палубой и снесла ее

в море. С минуту подозрительная фок-мачта доблестно сопротивлялась, затем последовала за своей товаркой; и вот от всего прекрасного вооружения, с помощью которого корабль пробегал моря, осталось только два уродливых пня.

В этих обширных и пустынных водах потерять мачты, быть может, худшее бедствие. Если судно перевернется и пойдет ко дну, то по крайней мере не придется долго мучиться. Но люди, прикованные к остову судна, могут целые месяцы блуждать по пустынному морю, считая шаги незримо приближающейся смерти. Единственная помощь шлюпки, но что же это за помощь! «Почтенная Поселянка», например, носилась, как бессильный чурбан, а ближайший населенный берег (Кауаи в группе Сандвичевых островов) находился за тысячу миль к юго-востоку от нее. Такое путешествие в шлюпке сулило всевозможные бедствия и ужас смерти и помешательства.

Серьезная компания собралась за завтраком, но капитан с улыбкой подбодрил своих соседей.

– Ну, ребята, – сказал он, глотнув горячего кофе, – «Почтенной Поселянке» пришел карачун, на этот счет не может быть никаких сомнений. Одна удача: она хорошо окупила себя, так что если мы вздумаем еще раз начать дело, то можем устроить его как следует. Другая удача: у нас отличный, крепкий, просторный бот, и вы знаете, кого благодарить за него. Нам надо спасти шесть жизней, да куш денег, и вопрос теперь в том, как мы примемся за это.

– До ближайшего из Сандвичевых островов будет, кажется, две тысячи миль, – заметил Мак.

– Нет, не так плохо, – возразил капитан. – Но довольно плохо, не меньше тысячи миль.

– Я знаю человека, который сделал тысячу двести миль в шлюпке, – сказал Мак, – и оказался сыт по горло. Он высадился на Маркизских островах, и с того дня нога его не ступала ни на какое судно. Он говорил, что скорее возьмет пистолет и размозжит себе голову.

– Да, да! – сказал Уикс. – Я помню команду шлюпки, добравшейся до Кауаи приблизительно с того места, где мы теперь находимся, или чуточку дальше. Когда они добрались до берега, то совсем помешались. Берег был скалистый, прибой отчаянный; туземцы делали им знаки с рыболовных челнов и кричали, что тут нельзя высадиться. Куда тебе! Тут была земля – вот все, что они знали; и они направили шлюпку прямехонько на берег и потонули все, кроме одного. Нет, плавание в шлюпках мне не по нутру, – прибавил он угрюмо.

Этот тон казался странным для человека с его неукротимым темпераментом.

– Ну-те, капитан, – сказал Кэртью, – у вас что-то есть на уме, выкладывайте-ка.

– Верно, – согласился Уикс. – Тут неподалеку есть кучка маленьких рифов, вроде оспины на карте. Я справлялся о них и узнал кое-что интересное об одном – он называется Мидуэй, или Брукс, милях в сорока от нас. Оказывается, это угольная станция Тихоокеанского Почтового Пароходства, – прибавил он просто.

– Ну, а я знаю, что такой нет, – сказал Мак. – Я был квартирмейстером на этой линии.

– Ладно, – возразил Уикс. – Вот книга. Прочтите, что пишет Гойт, – прочтите громко, чтобы и другие слышали.

Вранье Гойта (как уже известно читателю) не допускало двух толкований; не верить было невозможно, а само известие оказывалось радостным свыше всяких ожиданий. Каждый уже видел в мечтах, как бот подходит к хорошенькому островку с пристанью, угольными складами, садами, звездными флагами и белым коттеджем смотрителя; рисовал себе праздную жизнь на удобной стоянке, затем китайский пакетбот, на котором он водворяется в качестве романтического скитальца, но с полными карманами, требует шампанского, отдает приказания слугам. Завтрак, начавшийся так уныло, кончился при общем веселье, и все немедленно принялись готовить шлюпку.

Так как все снасти были снесены, то спустить ее оказалось не так-то просто. Сначала уложили кое-какой груз: деньги были помещены в крепкий ящик, который привязали к задней банке, на случай, если бы шлюпка опрокинулась. Затем часть корпуса была разобрана до палубы, шлюпка повернута поперек судна и спущена на веревках, привязанных к остаткам мачт. Для плавания в сорок миль не требовалось много съестных припасов и воды, но их захватили в избытке. Амалу и Мак, оба опытные моряки, имели в своих сундуках полное хозяйство; еще два сундука с ручными саквояжами, непромокаемыми костюмами и одеялами были взяты для других; Гадден, при общих аплодисментах, водворил инструменты и хронометр; Гемстид не забыл банджо и узелка с раковинами Бутаритари.

Около трех часов пополудни они отчалили и, так как ветер по-прежнему был западный, пошли на веслах. «Ну, мы тебя выпотрошили!» – с таким прощальным приветствием обратился капитан к «Почтенной Поселянке» мало-помалу исчезающей вдаль. Немного спустя пошел сильный дождь; первый обед ели, и первая смена гребцов отдыхала под жестоким ливнем. Утро двадцать девятого забрезжило среди лохматых облаков; в этот час шлюпка на океане выглядит особенно черной и крошечной; и команда посматривала на небо и воду с чувством одиночества и страха. Когда солнце взошло, ветер переменялся на попутный, поставили парус; шлюпка понеслась, и к четырем пополудни была у рифа. Капитан, стоя на банке и ухватившись за мачту, рассматривал остров в бинокль.

– Ну, где же ваша станция? – воскликнул Мак.

– Что-то не вижу, – ответил капитан.

– Да и не увидите! – подхватил Мак с выражением торжества и отчаяния.

Истина была очевидна для всех. Ни бакенов, ни вех, ни сигнальных огней, ни станции; потерпевшие крушение переплыли лагуну и высадились на острове, где не было никаких следов человеческих, кроме обломков разбившихся кораблей, и никаких звуков, кроме шума прибоя. Морские птицы, которые гнездовали и жили здесь в момент моего посещения, были в то время рассеяны в отдаленнейших краях океана, и следами их пребывания оставались только перья и невысиженные яйца. Так вот куда они стремились, всю ночь работая веслами и с каждым часом удаляясь от спасения! Шлюпка, как ни мала она, все-таки говорит о работе людей, и хотя выглядит очень одинокой в море, но сама по себе представляет нечто вполне человеческое, а остров, на который они променяли ее, был безнадежно дик, – место уныния, одиночества и голода. Заря пламенела, спускалась вечерняя тень, а они сидели или лежали молча, позабыв о еде, – люди, которым приходилось пропадать из-за лживой книги. Ввиду крайнего добродушия компании ни одного упрека не было сделано Гаддену, виновнику этих бедствий. Но новый удар был принят не так великодушно, и на капитана посматривали довольно сердито.

Однако он вывел их из летаргии. Они повиновались ворча, вытащили шлюпку выше линии прилива и последовали за ним на вершину жалкого островка, откуда открывался весь горизонт, частью омраченный наступающей ночью, частью расцвеченный красками заката. С помощью паруса, весел и мачты устроили палатку. Затем Амалу, не дожидаясь приказа, по инстинкту привычной службы, развел огонь и принялся за стирку. Ночь наступила, звезды и серебряный серп месяца засияли в высоте, прежде чем ужин был готов. Холодное море блестело вокруг них и огонь озарял их лица, пока они ели. Томми открыл свой ящик, и бутылка хереса обошла кружок, но долго никто не нарушал молчания.

– Ну, так как же быть теперь? – внезапно спросил Мак.

– Да, дело плохо, – сказал Томми. – Где мы, собственно, находимся?

– Я вам скажу, – ответил Мак, – если вы хотите слушать. Когда я служил на китайском пакетботе, мы заходили на этот остров. Он лежал на пути в Гонолулу.

– Черт возьми! – воскликнул Кэртю. – Это нам на руку. Останемся здесь. Нам нужно поддерживать хороший огонь, но здесь довольно обломков.

– Обломков сколько угодно! – сказал ирландец. – Тут только и есть обломки да доски для гробов.

– Но нам придется разводить очень большой огонь, – заметил Гемстид. – Такого костра, как этот, недостаточно; его никто не увидит.

– Не увидит? – сказал Кэртю. – Оглянитесь кругом.

Все оглянулись и увидели пустоту ночи, голую светлую гладь моря и звезды, глядевшие на них; и голоса замерли в их груди при этом зрелище. В этой огромной пустоте, казалось, их можно было видеть с одной стороны из Китая, с другой из Калифорнии.

– Бог мой, какая пустыня! – пробормотал Гемстид.

– Пустыня! – воскликнул Мак и внезапно умолк.

– Это лучше шлюпки, во всяком случае, – заметил Гадден. – Мне до смерти надоела шлюпка.

– А меня сокрушают деньги! – вмешался капитан. – Подумать только, такое богатство, – четыре тысячи золотом, серебром и билетами, – и проку в них не больше, чем в навозе.

– Я вам вот что скажу, – сказал Томми. – Мне не нравится, что они остались в шлюпке – слишком далеко от нас.

– Ну вот, кто же их тронет? – воскликнул Мак с хохотом.

Однако остальные не разделяли его чувства. Они встали, спустились к шлюпке, принесли ящик с деньгами на двух веслах и поставили его у огня.

– Вот мое сокровище! – воскликнул Уикс, приветствуя его шляпой. – Две тысячи фунтов нечего считать, их придется уплатить по счетам. Но остальное! С лишком сорок торговых фунтов чеканного золота, да без малого два центнера чилийского серебра! А! Да ведь этого довольно, чтобы собрать целый флот! Вот увидите, что они подействуют на компас и притянут к нам корабль. Увидите, что вахтенный почует их издали! – воскликнул он.

Мак, который не имел доли ни в счетах, ни в сорока фунтах золота, ни в двух центнерах серебра, с нетерпением слушал эти слова и разразился горьким, насмешливым хохотом.

– Дождитесь! – сказал он резко. – Вы скоро готовы будете разжечь этими билетами костер.

Он повернулся, вышел из круга, освещенного огнем, и остановился, всматриваясь в море.

Его слова и уход моментально погасили искры хорошего настроения, вызванного было обедом и ящиком. Группа снова погрузилась в угрюмое молчание, а Гемстид взялся за банджо, на котором обыкновенно играл по вечерам. Репертуар его был невелик: струны заиграли под его пальцами «Родина, милая родина», и он машинально затянул эту песню, но не успел окончить первой фразы, как инструмент был вырван из его рук и полетел в костер. Повернувшись с криком, он увидел перед собой разъяренного Мака.

– Будь я проклят, если потерплю это! – воскликнул капитан, вскакивая.

– Я уже говорил вам, что у меня буйный характер, – сказал Мак таким жалобным тоном, который казался очень странным у человека с его характером. – Что же он меня расстраивает? Мало нам и без того терпеть приходится?

Тут он, к общему удивлению, всхлипнул и продолжал с сильнейшим ирландским акцентом:

– Прошу у всех прощения за свое буйство, а особенно у этого добряка, так как он, в сущности, безобидное создание, и вот моя рука, если он согласен принять ее.

Эта сцена варварства и сентиментальности оставила странное, неоднозначное впечатление. По правде сказать, все были довольны, что музыка прекратилась, а извинение и последующее поведение Мака подняли его в глазах товарищей по несчастью. Но все-таки нота разлада и ее впечатление остались в душе каждого. На этом диком, бесприютном острове проявились человеческие страсти, и все содрогнулись при мысли о возможных ужасах.

Решено было непрерывно держать вахту ввиду возможности появления корабля; и Томми, у которого явилась одна мысль, взялся дежурить в первую очередь. Остальные забрались в палатку и вскоре наслаждались утешительным сном, который является всюду и ко всем людям, успокаивая тревогу и ускоряя время. А лишь только все успокоилось и храп нескольких спящих смешался с шумом прибора, Томми тихонько ушел со своего поста с ящиком хереса и бросил его в море. Но бурная непоследовательность Мака не зависела от одной-двух чарок вина; его страсти, буйные и другого рода, были иного склада, чем у его товарищей, и в этом полукелье таились возможности добра и зла, которых никто из них не мог бы предсказать.

Около двух часов утра звездное небо – так, по крайней мере, показалось, потому что сонный сторож не заметил приближения тучи – излилось целым потоком; и в течение трех дней дождь лил не переставая. Остров превратился в губку, потерпевшие крушение – в мокрые тряпки; все исчезло из виду, даже риф скрылся за стеной падающей воды. Огонь вскоре был залит; после того как две коробки спичек были изведены бесполезно, решили ждать хорошей погоды, и компания питалась кое-как консервами и хлебом.

Второго февраля, на утренней вахте, тучи рассеялись, солнце вышло во всем блеске, и потерпевшие снова сидели у костра и пили горячий кофе с жадностью животных и страдальцев. Затем дела их пошли однообразно. Огонь постоянно поддерживался; это занимало одного человека непрерывно, а остальных час или около того в день. Дважды в день все купались в лагуне – их главное, почти единственное удовольствие. Часто с успехом удили в лагуне рыбу. Остальное время проводили, валяясь или бродя по острову, беседуя, споря. Время рейсов китайских пароходов было рассчитано в точности, после чего к этому предмету больше не возвращались. Слишком тяжело было о нем думать. Путешествие на шлюпке было молчаливо отвергнуто; приняли отчаянное решение дожидаться здесь помощи или голодной смерти; ни у кого не хватало духа глядеть своей судьбе в лицо, тем более обсуждать ее с товарищами. Но

тайный ужас не покидал их; в праздные часы, в минуты молчания, он веял холодом на компанию и заставлял глаза людей обращаться к горизонту. Тогда в панике самозащиты они старались развлечься каким-нибудь другим предметом. А о чем же можно было говорить в этом пустынном уголке, кроме ящика с деньгами?

В самом деле, это была единственная особенность, единственная заметная вещь в их островной жизни; присутствие этого ящика с билетами и звонкой монетой владело умами всех; кроме того, с ним были связаны известные настоятельные задачи, которые могли занять часы досуга. Две тысячи фунтов предстояло уплатить Сиднейской фирме; две тысячи фунтов составляли чистую прибыль, и их нужно было поделить в неравных пропорциях между шестью. Решено было, как определить доли участников: каждый фунт внесенного капитала, каждый фунт следовавшего к уплате жалованья считался за «пай». Томми следовало получить пятьсот десять паев, Кэртью сто семьдесят, Уиксу сто сорок, а Гемстиду и Амалу по десять: всего восемьсот сорок «паев». Сколько приходилось на пай? Этот вопрос обсуждался сначала по вдохновению, главным образом при помощи силы легких Томми. Затем последовал ряд неверных вычислений, которые кончились, в ущерб арифметике, принятием, вследствие усталости, приблизительной оценки в 2 фунта 7 шиллингов  $7\frac{1}{4}$  пенса. Цифра была очевидно неточная; сумма паев составляла не 2000 фунтов, а 1996 фунтов 6 шиллингов. Таким образом, 3 фунта 14 шиллингов оставались без назначения. Но это была наиболее точная цифра, которую они нашли, и наиболее высокая, так что пайщики не пускались в придирчивую критику, созерцая свои великолепные дивиденды. Уикс внес 100 фунтов и должен был получить капитанское жалованье за два месяца; его доля составляла 333 фунта 3 шиллинга  $6\frac{3}{4}$  пенса. Кэртью внес 150 фунтов; ему предстояло получить 401 фунт 18 шиллингов  $6\frac{1}{2}$  пенса. 500 фунтов, внесенные Томми, превратились в 1213 фунтов 12 шиллингов  $9\frac{1}{4}$  пенса; а Амалу и Гемстид, имевшие право только на жалованье, должны были получить по 22 фунта 16 шиллингов  $\frac{1}{2}$  пенса каждый.

От разговоров и размышлений об этих цифрах был только шаг к открытию сундука, а когда сундук был открыт, блеск монеты оказался неотразимым. Каждый чувствовал, что он должен видеть свое сокровище отдельно, пощупать руками монету, пересчитать ее и сознавать себя признанным собственником. Но тут возникло непреодолимое затруднение. В сундуке оказалось семнадцать шиллингов английской монетой; кроме того, было только чилийское серебро, так что чилийский доллар, которых считалось шесть на фунт стерлингов, практически оказался их самой мелкой монетой. Ввиду этого было решено делить только фунты, а шиллинги, пенсы и дроби отнести в общий фонд. Этот последний, с тремя фунтами четырнадцатью шиллингами, отделенными раньше, составил семь фунтов один шиллинг.

– Вот что я вам скажу, – заметил Уикс. – Кэртью, Томми и я возьмем по фунту каждый, а Гемстид и Амалу разделят остальные четыре и разыграют в орлянку лишний шиллинг.

– О, пустяки! – сказал Кэртью. – Томми и я и так богаты. Мы возьмем по полсоверена, а остальные трое получат сорок шиллингов.

– А я вам скажу, что этого и делить не стоит, – вмешался Мак. – У меня в сундуке есть карты. Почему бы нам не сыграть на эту сумму.

В этом скучном месте предложение было принято с восторгом. Маку, как собственнику карт, предоставили ставку, сумма была разыграна в пяти партиях криббеджа, и когда Амалу, последний оставшийся из игроков, был побит Маком, оказалось, что час обеда уже прошел. Поев на скорую руку, они снова принялись за карты (на этот раз по предложению Кэртью). Игра возобновилась. Это было, вероятно, около двух часов пополудни 9 февраля, и они играли с переменчивым счастьем двенадцать часов, заснули тяжелым сном и, проснувшись поздно утром, снова принялись за игру. Весь день 10 февраля с досадными перерывами для еды и продолжительной отлучкой Томми, который вернулся с выловленным ящиком хереса, они продолжали сдавать и ставить. Наступила ночь; они подвинулись поближе к костру. Около двух часов утра Томми продал свою сдачу с аукциона, как делают робкие игроки, и Кэртью, который не наддавал, на минуту оказался свободным и осмотрелся кругом. Он увидел лунный свет на море, деньги, разбросанные в этом неподходящем месте, взволнованные лица игроков. Он почувствовал в своей груди знакомое волнение; ему почудились звуки музыки, и хотя луна еще светила над морем, но море переменилось, померещилось казино среди освещенного фонарями сада и монеты сверкающие на зеленом столе. «Боже мой! – подумал он, – неужели я опять становлюсь игроком!» Он с

любопытством окинул взглядом песчаный стол. Он и Мак были в крупном выигрыше; кучи золота и серебра лежали подле них. Амалу и Гемстид остались при своем; но Томми жестоко проигрался, а у капитана оставалось всего фунтов пятьдесят.

– Послушайте, не закончить ли нам? – сказал Кэртю.

– Дайте ему стакан Бокля, – отозвался кто-то, и новая бутылка была откупорена, а игра продолжалась неумолимо.

Кэртю слишком много выиграл, чтобы выйти из игры или настаивать, и весь остаток ночи ему пришлось следить за развитием этого безумия и делать тщетные попытки проиграться, продолжая выигрывать. Рассвет одиннадцатого февраля застал его в полном отчаянии. Сдача принадлежала ему, и он выигрывал. Он только что сдал; каждый поставил крупную ставку. Капитан рискнул всем, что у него оставалось, – двенадцать фунтов золотом и несколько долларов, и Кэртю, заглянув в свои карты, прежде чем открыть их, убедился, что игра его.

– Послушайте, ребята, – сказал он, – мне это надоело, и я заканчиваю.

Сказав это, он показал свои карты, разорвал их и встал.

Компания уставилась на него с ропотом удивления, но Мак мужественно поддержал его.

– Довольно с нас, я тоже думаю, – сказал он, – но, разумеется, все это была только шутка. Я возвращаю свои деньги. Ссыпайте все в сундук, ребята! – с этими словами он начал ссыпать свой выигрыш в сундук.

Кэртю подошел и пожал ему руку.

– Я никогда не забуду этого, – сказал он.

– А как быть с Амалу и Гемстидом? – спросил Мак вполголоса. – Они оба выиграли.

– Это правда! – сказал Кэртю громко. – Амалу и Гемстид, подсчитайте ваш выигрыш; я и Томми платим его.

Это было принято без возражений; оба были рады получить выигрыш, кто бы его ни платил; а Томми, проигравший около пятисот фунтов, был в восторге от этого компромисса.

– А как же Мак? – спросил Гемстид. – Неужели он потеряет все?

– Прошу прощения, – возразил ирландец, – я уверен, что вы говорите с добрым намерением, но лучше бы вам помолчать, потому что я не таковский человек. Если бы я думал, что выиграл деньги всерьез, ни одна душа не вытянула бы их у меня. Но я считал, что игра ведется в шутку; это была моя ошибка, извольте видеть, а на этом острове не найдется человека, который посмел бы делать подарки сыну моей матери. Вот мое мнение, можете спрятать его в карман, пока не понадобится.

– Ну, Мак, вы настоящий джентльмен! – сказал Кэртю, помогая ему сваливать деньги в ящик.

– Какого черта, сэр, просто пьяница матрос, – сказал Мак.

Тем временем капитан сидел, закрыв лицо руками; затем он машинально встал, шатаясь, точно пьяница после попойки. Но когда он поднялся, лицо его изменилось, и он гаркнул на весь остров:

– Парус, эй!

Все повернулись на крик, и при мутном утреннем свете увидели направлявшийся прямехонько к рифу Мидуэй бриг «Летучее Облачко» из Гуллы.

## Глава XXIV

### Жестокий торг

Корабль, появившийся перед потерпевшими крушение, давно «слонялся» по океану, странствуя из порта в порт, смотря по тому, куда его нанимали. Он отплыл из Лондона два года тому назад, побывал на мысе Доброй Надежды, в Индии и в Архипелаге, а теперь шел в Сан-Франциско в надежде вернуться домой, обогнув мыс Горн. Капитаном был некто Джэкоб Трент. Пять лет тому назад он удалился от дел владельцем пригородного коттеджа, нескольких гряд капусты и кабриолета, и главою учреждения, которое он называл банком. Название, по-видимому, было не совсем правильное. Клиенты банка являлись выбирать художественные произведения или полезные вещи в передней комнате; головы сахара и штуки сукна оставались в качестве вкладов, а в обязанности директора входило объезжать вечером в субботу в своем кабриолете мелких вкладчиков и подводить с каждым итог недельной выручки. Значительные убытки, судебный процесс и неосновательный комментарий судьи отбили у него охоту от этого дела. Мне посчастливилось найти в старом номере газеты отчет о процессе Лайеля против Кардифского Общества Взаимного Кредита. «Признаюсь, я совершенно не понимаю, в чем заключались ваши операции», – заметил судья после беглого ознакомления с делом Трента. Затем, получив более подробные сведения, он заявил: «Они называют это банком, но, по-моему, это не разрешенная никем контора закладчика»; и наконец заключил следующим грозным заявлением: «Мистер Трент, я должен вас предостеречь, будьте осторожны, или мы еще раз увидимся здесь». Спустя неделю капитан отделался от банка, коттеджа, кабриолета и лошади и снова был в море на «Летучем Облачке», выполняя это дело с большим успехом, к удовольствию своих патронов. Но ореол славы выделял его среди остальных; он называл себя простым матросом однако не позволял никому забывать, что был когда-то банкиром.

Его помощник Годдедааль был рослый викинг, шести футов трех дюймов роста и соответственного сложения, сильный, трезвый, усердный, музыкальный и сентиментальный. Он постоянно напевал шведские мелодии, больше в минорном тоне. Он заплатил девять долларов, чтобы послушать Патти; чтобы послушать Нильсон, он дезертировал с корабля и потерял двухмесячное жалованье и готов был во всякое время пройти десять миль ради хорошего концерта или семь ради порядочной пьесы. На корабле у него было три сокровища: канарейка в клетке, концертно и дешевое издание Шекспира. Он обладал специфическим скандинавским даром приобретать друзей с первого взгляда; природная невинность внушала к нему доверие; он был без страха и упрека и без денег или надежды приобрести их.

Гольдорсен был младший помощник и помещался на корме, но обедал обыкновенно с матросами.

Еще об одном из команды сохранилось довольно яркое воспоминание. Это был простой матрос с «Клайда» по имени Броун. Маленький, смуглый, коренастый человек, с глазами собаки, необыкновенно кроткий и безобидный, он скитался по морям и городам игрушкой своего порока. «Пьянство – вот мое горе, – стыдливо признавался он Кэртю, – и тем оно постыднее для меня, что я из хорошей семьи». Письмо, которое так задело за живое Нэрса, если припомнит читатель, было адресовано этому самому Броуну.

Таким был корабль, который наполнил радостью сердца потерпевших крушение. После утомления и животных волнений этой ночи, проведенной за игрой, близость избавления лишила их всякого самообладания. Их руки дрожали, глаза сверкали, они смеялись и кричали как дети, снимая лагерь; и когда кто-то засвистал «На походе через Георгию», укладка закончилась при бесчисленных перерывах под эти воинственные звуки. Но Уикс не совсем растерялся.

– Ребята, – сказал он, – стойте-ка! Мы садимся на судно, о котором ничего не знаем. У нас ящик с деньгами, и такого веса, что утаить это не удастся. А что, если там нечисто; если дойдет до потасовки? По моему мнению, лучше нам держать револьверы наготове.

Револьверы той или другой системы имелись у всех, кроме Гемстида; их зарядили и рассовали по карманам; затем укладка была закончена в таком же восторженном настроении, как началась.



Солнце еще не поднялось на десять градусов над восточным горизонтом, но бриг уже подошел вплотную и лег в дрейф. Тогда они спустили шлюпку и поспешили, налегая на весла, к проходу.

Дул свежий ветер с моря, и волнение было довольно сильное. Пена обдавала лица гребцов. Они видели английский флаг, развевающийся на «Летучем Облачке», матросов, столпившихся у борта, кока, стоявшего в дверях кухни, капитана на шканцах, смотревшего в бинокль. Знакомое близкое дело, удобства, компания и безопасность корабля, приближавшегося с каждым взмахом весел, наполняли их сумасшедшей радостью.

Уикс первый поймал веревку и взобрался на корабль при помощи матросов, подхвативших его и перетащивших через борт.

– Капитан, если не ошибаюсь, сэръ? – сказал он, обращаясь к старику с биноклем.

– Капитан Трент, сэръ, – ответил старик.

– Я капитан Киркоп, а это команда Сиднейской Шхуны «Почтенная Поселянка», потерявшей мачты в море 28 января.

– Так, так, – сказал Трент. – Ну, теперь ваше дело в шляпе. Счастье ваше, что я заметил ваш сигнал. Я и не знал, что нахожусь так близко от этого дрянного островка; должно быть, тут есть течение к югу, и когда я вышел сегодня утром в восемь часов на палубу, то подумал, что это пожар на корабле.

Решено было заранее, что пока Уикс будет объясняться на корабле, остальные подождут в вельботе и будут следить за сохранностью казны. Им спустили канат, они привязали к нему драгоценный ящик и крикнули, чтоб поднимали. Но неожиданная тяжесть оказалась не по силам матросу, двое других пришли к нему на помощь, и это обстоятельство не ускользнуло от внимания Трента.

– Здоровая тяжесть! – сказал он резко и прибавил, обращаясь к Уиксу. – Что это такое? Я еще не видал ящика такого веса!

– Это деньги, – сказал Уикс.

– Что такое? – воскликнул Трент.

– Монета с корабля, потерпевшего крушение, – сказал Уикс.

Трент пристально посмотрел на него.

– Мистер Годдедааль, – приказал капитан, – спустите обратно ящик, велите шлюпке отчалить, и пусть она идет на канате за кормой.

– Есть, сэръ, – отозвался Годдедааль.

– Что за черт, в чем дело? – спросил Уикс.

– Ничего особенного, – отвечал Трент. – Но согласитесь, довольно странная вещь – встретить посреди океана шлюпку с полутонной монет и вооруженной командой, – прибавил он, указывая на карман Уикса. – Ваша шлюпка будет лежать спокойно за кормой, пока мы спустимся вниз и вы дадите объяснение.

– О, так в этом все дело? – сказал Уикс. – Мой журнал и бумаги в полном порядке; ничего подозрительного у нас не найдете.

Он окликнул товарищей в лодке, велел им подождать и повернулся, чтобы следовать за капитаном Трентом.

– Сюда, капитан Киркоп, – сказал последний. – И не браните человека за чрезмерную осторожность; у меня нет намерения оскорбить вас. Я желаю только убедиться, что дело обстоит именно так, как вы говорите; это моя обязанность, сэръ, и вы сами поступили бы точно так же при подобных обстоятельствах. Я не всегда был капитаном корабля; я был одно время банкиром, а это дело учит осторожности, могу вас уверить. Приходится держать ухо востро!

Сказав это, он с сухой, деловой любезностью достал бутылку джина.

Капитаны чокнулись; бумаги были просмотрены; рассказ о Топелиусе и торге был внимательно выслушан и скрепил их знакомство. Когда подозрения Трента были таким образом устранены, он впал в глубокую задумчивость, в течение которой сидел точно в летаргии, уставившись на стол и барабана по нему пальцем.

– Еще что-нибудь? – сказал Уикс.

– Что это за место, там, внутри? – спросил Трент внезапно, как будто Уикс тронул его за пружину.

– Довольно хорошая лагуна, а больше ничего, – ответил Уикс.

– Я хочу зайти туда, – сказал Трент. – Я заново оснастил в Китае, но работа сделана плохо, и я боюсь за свои снасти. Мы можем переснаститься в один день. Ведь ваша команда, смею думать, не откажется помочь нам.

– Ну, разумеется! – сказал Уикс.

– Стало быть, так и сделаем, – заключил Трент. – Береженого и Бог бережет.

Они вернулись на палубу; Уикс сообщил о решении товарищам; фор-марсель снова наполнился, и бриг быстро вошел в лагуну, буксируя за собою вельбот, и бросил якорь у Мидль-Брукс-Айленда в восемь часов. Потерпевшие крушение поднялись на корабль, позавтракали, багаж втащили на палубу и сложили на шкафуте; затем все принялись за оснастку. Работа продолжалась весь день, и обе команды соперничали, показывая свою силу. Обед был подан на палубе, офицеры угощались на корме, матросы на носу. Трент был, по-видимому, в отличном настроении, угостил всех матросов грогом, откупорил бутылку капского вина после обеда и занимал гостей подробностями своей финансовой деятельности в Кардифе. Он провел на море сорок лет, пять раз терпел кораблекрушение, был девять месяцев в плену у одного раджи, служил под огнем на китайских реках; но единственная вещь, которую он считал достойной рассказа, которой гордился или которая, по его мнению, могла заинтересовать посторонних, была его деятельность в качестве ростовщика в предместье приморского города.

Послеобеденная работа жестоко отозвалась на команде «Почтенной Поселянки». Уже истощенные бессонной ночью и возбуждением, они работали единственно на нервах, и когда Трент наконец остался доволен своей оснасткой, нетерпеливо ожидали приказа к отплытию. Но капитан, по-видимому, не торопился. Он медленно расхаживал взад и вперед, как человек, погруженный в думы. Вдруг он обратился к Уиксу.

– Вы ведь, кажется, составляете нечто вроде компании, не правда ли, капитан Киркоп? – спросил он.

– Да, мы все пайщики, – ответил Уикс.

– В таком случае вы ничего не будете иметь против, если я приглашу всех вас на чашку чая в каюту? – спросил Трент.

Уикс удивился, но, разумеется, не возражал; и немного спустя шестеро потерпевших крушение сидели в каюте с Трентом и Годдедаалем за столом, на котором красовались мармелад, масло, гренки, сардинки, копченый язык и чай. Продукты были не особенно хороши, и, без сомнения, Нэрс выругал бы их, но они показались манной небесной потерпевшим крушение. Годдедааль угощал их с радушием, превосходившим всякую любезность, радушием какой-нибудь старой честной деревенской хозяйки на ее ферме. Впоследствии вспомнили, что Трент принимал мало участия в угощении, но сидел задумавшись и, по-видимому, то забывал, то снова вспоминал о присутствии своих гостей.

Вдруг он обратился к китайцу:

– Убирайся отсюда, – сказал он и следил за ним, пока тот не исчез на лестнице. – Ну-с, джентльмены, – продолжал он, – как я понимаю, вы все составляете нечто вроде компании на акциях, и потому-то я и пригласил вас всех, так как есть один пункт, который я желал бы выяснить. Вы видите, каков этот корабль – хороший корабль, смею сказать; и каковы рационы – недурны для матроса.

Ответом был торопливый ропот одобрения, но ожидание, что будет дальше, помешало какому-либо членораздельному ответу.

– Ну-с, – продолжал Трент, катая хлебные шарики и упорно глядя в середину стола, – я, конечно, рад отвезти вас во Фриско; моряк должен помогать моряку, таков мой девиз. Но если вы нуждаетесь в чем-нибудь на этом свете, то вам, вообще говоря, придется платить. – Он засмеялся коротким, нерадостным смехом. – Я не желаю терпеть убыток из-за своей любезности.

– Мы не собираемся вводить вас в убыток, капитан, – сказал Уикс.

– Мы готовы заплатить разумную плату, – прибавил Кэртю.

При этих словах Годдедааль, сидевший с ним рядом, тронул его локтем, и оба помощника обменялись многозначительным взглядом. Характер капитана Трента был объяснен и понят в это безмолвное мгновение.

– Разумную? – повторил капитан брига. – Я ожидал этого замечания. Резоны уместны, когда есть две стороны, а здесь только одна. Я судья, я резон. Хотите плыть на моем корабле – платите мою цену. Вот как обстоит дело, по-моему. Не я в вас нуждаюсь; вы нуждаетесь во мне.

– Ну, сэр, – сказал Кэртю, – какова же ваша цена?

Капитан продолжал катать хлебные шарики.

– Будь я таков же, как вы, – сказал он, – когда вы обобрали того купца на островах Джильберта, я мог бы поймать вас. Тогда было ваше счастье, теперь мое. Всякому свой черед. Могли бы вы ждать снисхождения от того купца? – крикнул он с внезапной резкостью. – Впрочем, я не порицаю вас. Все позволительно в любви и торговле, – и он снова засмеялся холодным смешком.

– Итак, сэр? – серьезно сказал Кэртю.

– Итак, это мой корабль, я полагаю? – спросил тот резко.

– Я тоже склонен так думать, – заметил Мак.

– Я говорю, что он мой, сэр! – повторил Трент тоном человека, старающегося рассердиться. – И говорю вам всем, что будь я такой же, как вы, я бы обобрал вас дочиста. Но там есть две тысячи фунтов, которые не принадлежат вам, а я честный человек. Дайте мне ваши две тысячи фунтов, и я перевезу вас на берег, и каждый из вас высадится во Фриско с пятнадцатью фунтами в кармане, а капитан с двадцатью пятью.

Годдедааль опустил голову, точно стыдился.

– Вы шутите! – воскликнул Уикс, побагровев.

– Я шучу? – сказал Трент. – Решайте сами. Вас никто не неволит. Корабль мой, но Брукс-Айленд мне не принадлежит, и вы можете оставаться на нем до самой смерти.

– Да ведь весь ваш бриг не стоит таких денег! – воскликнул Уикс.

– Тем не менее, это моя цена, – возразил Трент.

– Неужели вы хотите сказать, что бросите нас здесь на голодную смерть? – воскликнул Томми.

Капитан Трент в третий раз засмеялся.

– На голодную смерть? Это ваше дело, – сказал он. – Я готов продать вам съестные припасы с хорошим барышом.

– Прошу прощения, сэр, – сказал Мак, – но мой случай сам по себе. Я отработывал свой переезд; у меня нет доли в двух тысячах фунтов и пусто в кармане, и я желал бы знать, что вы скажете мне?

– Я не жестокий человек, – сказал Трент, – это не составит разницы. Я возьму и вас вместе с остальными, только, разумеется, вы не получите пятнадцати фунтов.

Бесстыдство было так явно и разительно, что все с трудом перевели дух, а Годдедааль поднял голову и сурово взглянул в глаза своему командиру.

Но Мак оказался более речистым.

– Так вот что называется британский моряк! Чтоб вам лопнуть! – воскликнул он.

– Скажите еще что-нибудь подобное, и я закую вас в кандалы, – сказал Трент, с гневом вставая.

– А где я буду, пока вы соберетесь сделать это? – спросил Мак. – Вы, старое чучело! Я вас научу вежливости!

Он еще не успел договорить, как уже исполнил свою угрозу; никто из присутствующих, и всего менее Трент, не ожидали того, что последовало. Рука ирландца внезапно поднялась из-под стола, размахивая открытым складным ножом; последовало быстрое как молния движение; Трент наполовину поднялся на ноги и слегка отвернулся, чтобы отойти от стола; это движение и погубило его. Брошенный нож вонзился ему в яремную вену, он упал на стол, и кровь хлынула на скатерть среди тарелок.

Внезапность нападения и катастрофы, мгновенный переход от мира к войне и от жизни к смерти ошеломил всех. С минуту все сидели за столом с разинутыми ртами, глядя на капитана и лившуюся кровь. В следующую минуту Годдедааль вскочил, схватил стул, на котором сидел, и взмахнул им над головой. Человек преобразился и ревел так, что в ушах звенело. Команда «Почтенной Поселянки» не думала о битве; никто не выхватил оружия, все беспомощно толпились, глядя на скандинавского берсеркера. Первый удар свалил на пол Мака с переломанной рукой. Второй вышиб мозги Гемстиду. Он поворачивался от одного к другому,

грозя и рыча, как раненый слон, в припадке бешенства. Но в этом боевом экстазе не было никакого толка, никакого проблеска разума; вместо того, чтобы напасть на других, он продолжал наносить удары упавшему навзничь Гемстиду, так что стул разлетелся вдребезги и каюта гудела. Зрелище этой жестокой расправы с мертвым пробудило у Кэртью инстинкт обороны; он выхватил револьвер, прицелился и выстрелил, сам не сознавая, что делает. Оглушительный звук выстрела сопровождался ревом боли; колосс остановился, пошатнулся и упал на тело своей жертвы.

В последовавшей затем минутной тишине топот шагов на палубе и на лестнице достиг их слуха; в дверях каюты показалось лицо матроса Гольдорсена. Кэртью уложил его вторым выстрелом, так как был метким стрелком.

– Револьверы! – крикнул он и бросился на лестницу, за ним Уикс, за ними Томми и Амалу. Топча тело Гольдорсена, они выбежали на палубу при мрачном зареве багрового, как кровь, заката. Силы были еще равны, но люди «Летучего Облачка» не думали о защите, и все как один бросились к люку на баке. Броун опередил всех; он исчез внизу невредимый; китаец последовал за ним вниз головой с пулей в бок; остальные вскарабкались на мачты, стараясь спрятаться в снастях.

После первого момента растерянности Кэртью и Уикс одушевились свирепой решимостью. Они поставили Томми у фок-мачты, а Амалу у грот-мачты стеречь мачты и ванты, а сами вытащили на палубу ящик с патронами из своего багажа и перезарядили револьверы. Бедняги, укрывавшиеся на верхушках мачт, громко молили о пощаде. Но час пощады миновал; отпив из кубка, приходилось осушить его до дна; раз многие пали, все должны были пасть. Свет был неверный, дешевые револьверы падали без толку, несчастные матросы быстро прижимались к мачтам и реям или прятались за висевшими парусами. Черное дело тянулось долго, но наконец было сделано. Лондонец Гэрди был застрелен на рее фор-бом-брамсея и повис, запутавшись в гитовах. Другому, Уоллену, пуля раздробила челюсть на грот-марсе, он с криком высунулся, и вторая пуля свалила его на палубу.

Это было уже довольно скверно, но худшее было впереди. Броун еще прятался в трюме. Томми, внезапно разразившись рыданиями, умолял пощадить его.

– Один человек не сделает нам вреда, – хныкал он. – Нельзя с ним расправиться. Я говорил с ним за обедом. Это самый безобидный малый. Нельзя этого делать. Никто не может пойти туда и убить его. Это слишком отвратительно.

Быть может, несчастный, прятавшийся внизу, слышал его мольбы.

– Если останется один, повесят нас всех, – сказал Уикс. – Броун должен последовать за остальными.

Этот дюжий человек был бледен как смерть и дрожал как осина; не успев договорить, он отошел к борту корабля, и его вырвало.

– Мы никогда не сделаем этого, если будем ждать, – сказал Кэртью. – Теперь или никогда, – с этими словами он пошел к люку.

– Нет, нет, нет! – завопил Томми, уцепившись за его куртку.

Но Кэртью оттолкнул его и спустился по лестнице, хотя отвращение и стыд мутили его. Китаец лежал на полу и все еще стонал; было темно, хоть глаз выколи.

– Броун! – крикнул Кэртью. – Броун, где ты?

Сердце замерло у него при этом предательском оклике, но ответа не последовало.

Он пошарил в рундуках: все они были пусты. Тогда он пошел в переднюю часть трюма, загроможденную канатами и запасными снастями.

– Броун! – позвал он вторично.

– Здесь, сэр, – отвечал дрожащий голос; и жалкий, невидимый трус назвал его по имени и принялся в темноте умолять о пощаде с бесконечным словоизвержением. Только сознание опасности и решимость заставили Кэртью спуститься вниз; а здесь оказался враг, плакавший и моливший, как ребенок. Его покорное «здесь, сэр», его ужасное многословие делали убийство вдесятеро более возмутительным. Дважды Кэртью поднимал револьвер, раз нажал собачку (или ему показалось это) изо всех сил, но выстрела не последовало; это отняло у него последние остатки мужества, он повернулся и бежал от своей жертвы.

Уикс, сидевший на палубе, поднял лицо, казавшееся лицом семидесятилетнего, старика, и взглянул с безмолвным вопросом. Кэртью покачал головой. Уикс, с видом человека, которого

ведут на виселицу, пошел к переднему люку и спустился вниз. Броун, вообразивший, что это вернулся Кэртью, высунулся из своего убежища с новыми бессвязными мольбами. Уикс разрядил свой револьвер на голос, который перешел в какой-то мышинный писк и стоны. Затем наступило молчание, и убийца как безумный выбежал на палубу.

Остальные трое собрались у переднего люка, и Уикс сел рядом с ними. Никто не задал ему вопроса. Они жались друг к другу, как дети в темноте, и заражали друг друга своим ужасом. Сумерки сгущались; тишина нарушалась только гулом прибора да случайными всхлипываниями Томми Гаддена.

– Боже! А что если явится другой корабль! – внезапно воскликнул Кэртью.

Уикс встрепенулся, взглянул по привычке всех моряков вверх и вздрогнул, увидев тело, висевшее на рее.

– Если я полезу вверх, то упаду, – сказал он просто. – Я сейчас никуда не гожусь.

Амалу предложил свои услуги, взобрался на самый верх, осмотрел тускнеющий горизонт и объявил, что никаких судов не видно.

– Все в порядке, – сказал Уикс. – Мы можем спать.

– Спать! – отозвался Кэртью, и казалось, будто весь шекспировский Макбет промчался через его душу.

– Ну, или мы можем сидеть здесь и болтать, пока не очистим судна, – сказал Уикс, – но я не могу приняться за это без джина, а джин в каюте; кто сходит за ним?

– Я схожу, – сказал Кэртью, – если кто-нибудь даст мне спичек.

Амалу протянул ему коробку, и он пошел на корму и спустился в каюту, спотыкаясь о тела. Затем он чиркнул спичкой, и его взгляд встретил два живых глаза.

– Ну? – спросил Мак, единственный оставшийся в живых в этой каюте, превратившейся в бойню.

– Кончено, все мертвы, – отвечал Кэртью.

– Иисусе! – произнес ирландец и лишился чувств.

Джин оказался в каюте покойного капитана; он был принесен на палубу, все подкрепились и принялись за работу. Наступила ночь, луна должна была взойти только через несколько часов. На гроте люка поставили лампу для Амалу, который принялся мыть палубу; фонарь из кухни должен был светить остальным, занявшимся делом погребения.

Гольдорсен, Гемстид, Трент и Годдедааль, который еще дышал, были выброшены за борт первыми; за ними последовал Уоллен; затем Уикс, подкрепившийся джином, взобрался наверх с багром и успел сбросить Гэрди. Последним был китаец; по-видимому, он был в бреду и громко говорил на незнакомом языке, пока его несли; эта болтовня прекратилась только, когда его тело погрузилось в воду. Броун, с общего согласия, был пока оставлен на месте. Плоть и кровь не могли выдержать больше.

Все время они пили неразбавленный джин, как воду; три откупоренные бутылки стояли в разных местах, и всякий, кто проходил мимо, прикладывался к ним. Томми свалился у грот-мачты; Уикс упал ничком на юте и больше не шевелился; Амалу куда-то исчез. Кэртью еще держался на ногах: он стоял, пошатываясь, на уступе дека, и фонарь, который он держал в руке, раскачивался, следуя за движениями его тела. В голове у него шумело; роились обрывки мыслей; воспоминание об ужасах этого дня то вспыхивало, то угасало, как огонь догорающей лампы. Вдруг на него нашло какое-то пьяное вдохновение.

«Этого не должно больше быть», – подумал он, и потащился, спотыкаясь, в каюту.

Отсутствие тела Гольдорсена заставило его остановиться. Он стоял и смотрел на пустой пол, потом вспомнил и улыбнулся. Он достал из капитанской каюты ящик с пятнадцатью бутылками джина, поставил в него фонарь и осторожно понес его вон. Мак был снова в сознании; глаза его были мутны, лицо искажено страданием и покраснело от жара; и Кэртью вспомнил, что никто его не осмотрел, что он все время лежал здесь беспомощный и должен был пролежать так всю ночь, раненый, быть может, умирающий. Но теперь было уже поздно; разум отлетел от безмолвного корабля. Все, на что еще мог надеяться Кэртью, это выбраться на палубу; и, бросив сострадательный взгляд на несчастного, трагический пьяница взобрался по лестнице, выбросил ящик за борт и без сил свалился тут же.

## Глава XXV

### Плохой торг

Лишь только забрезжило на востоке, Кэртью проснулся и сел. Он глядел на полосу рассвета, на мачты и повисшие паруса брига, подобно человеку, проснувшемуся в чужой постели, с детски простодушным недоумением. Всего больше он недоумевал, что такое мучает его, что он потерял, какая беда случилась с ним, которую он чувствует и о которой забыл? И вдруг, словно река, прорвавшая плотину, истина развернула перед ним свой объемистый свиток; в его памяти ожили картины и слова, которые ему суждено было никогда не забывать. Он вскочил, остановился на минуту, прижав руку ко лбу, и принялся быстро расхаживать взад и вперед. На ходу он ломал себе руки. «Боже, Боже, Боже», – повторял он, без мысли о молитве, только давая исход своей муке.

Он не знал, много или мало времени прошло, несколько минут или несколько секунд, когда, очнувшись, убедился, что за ним наблюдают, и увидел капитана, который следил за ним с юта не то незрячими, не то лихорадочными глазами, странно сморщив лоб. Каин увидел себя в зеркале. На мгновение они встретились взорами, потом взглянули в сторону, как два преступника, и Кэртью бежал от глаз соучастника и остановился спиной к нему, облокотившись на гакаборт.

Прошел час, пока совсем рассвело и солнце взошло и рассеяло туман: час безмолвия на корабле, час невыразимой муки для страдальцев. Бессвязные мольбы Броуна, крики матросов на мачтах, звуки песен покойного Гемстида повторялись в душе с неотвязной настойчивостью. Он не осуждал и не оправдывал себя: он не думал, он страдал. В светлой воде, на которую он смотрел, картины менялись и повторялись: берсеркерское бешенство Годдедаала; кровавое зарево заката, когда они выбежали на палубу; лицо болтающего китайца, когда они выбрасывали его за борт; лицо капитана минуту тому назад, когда он пробудился от опьянения с угрызениями совести. И время шло, и солнце поднималось выше, и мука его не утолялась.

Тогда исполнилось старое пророчество, и слабейший из этих грешников принес облегчение и исцеление остальным. Амалу, чернорабочий, проснулся (как и другие) больной телом и с тоской в сердце; но привычка к повиновению укоренилась в этой простой душе, и, испугавшись, что уже поздно, он поспешил на кухню, развел огонь и принялся готовить завтрак. Звяканье посуды, треск огня, запах пищи, распространившийся в воздухе, разрушил чары. Осужденные снова почувствовали твердую почву привычки под ногами; они снова ухватились за знакомый якорь рассудка; они вернулись к чувству повторения и возвращения всех земных вещей. Капитан достал ведро воды и начал умываться. Томми смотрел на него некоторое время, а затем последовал его примеру; а Кэртью, вспомнив свои последние мысли накануне, поспешил в каюту.

Мак проснулся; быть может, он вовсе не засыпал. Над его головой канарейка Годдедаала заливалась в клетке.

– Как вы себя чувствуете? – спросил Кэртью.

– У меня сломана рука, – отвечал Мак, – но терпеть можно. Только я не могу оставаться здесь. Мне бы выбраться как-нибудь на палубу.

– Оставайтесь здесь, – сказал Кэртью. – Наверху смертельная жара и нет ветра. Я смою эту... – он остановился, ища и не находя выражения для ужасной грязи, покрывавшей пол каюты.

– Я буду очень, очень благодарен вам за это, – отвечал ирландец. Он говорил кротко и тихо, точно больной ребенок с матерью. Ничего буйного не оставалось в этом человеке; и когда Кэртью принес ведро, швабру и губку и принялся очищать поле битвы, он поочередно то следил за ним, то закрывал глаза и вздыхал, как человек, готовый лишиться чувств.

– Мне нужно просить у вас всех прощения, – сказал он вдруг, – и тем больше стыда для меня, что я ввел вас в беду и не мог ничего сделать, когда она наступила. Вы спасли мне жизнь, сэр; вы меткий стрелок.

– Ради Бога, не говорите об этом! – воскликнул Кэртью. – Не стоит говорить об этом; вы не знаете, как все это было. Никто не явился в каюту; они разбежались. На палубе... О, Боже мой! – И Кэртью, прижав окровавленную губку к лицу, с минуту боролся с истерикой.

– Успокойтесь, мистер Кэртью. Теперь все кончено, – сказал Мак, – и вы можете благодарить Бога за то, что торг кончился в вашу пользу.

Больше ни тот, ни другой ничего не говорили, и каюта была вычищена довольно хорошо, когда звон корабельного колокола вызвал Кэртью к завтраку. Томми тем временем хлопотал: он поставил вельбот борт к борту и уже скатил в него бочонок с мясом, найденный им в кухне; видно было, что у него только одна мысль – бежать.

– Тут довольно съестных припасов, – сказал он. – Чего же мы ждем? Плыдем на Гавайи. Я уже кое-что приготовил.

– У Мака сломана рука, – сказал Кэртью, – ему не выдержать такого путешествия.

– Сломана рука? – повторил капитан. – Только-то? Я вправлю ее после завтрака. Я думал, что он мертв, как остальные. Этот сумасшедший бился как... – но тут, при воспоминании о битве, голос его оборвался и разговор прекратился.

После завтрака трое белых спустились в каюту.

– Я хочу вправить вам руку, – сказал капитан.

– Прошу прощения, капитан, – возразил Мак, – но первое, что нужно сделать, это вывести корабль в море. А потом мы поговорим и о руке.

– О, время терпит, – отвечал Уикс.

– Если сюда зайдет другой корабль, вы не то скажете, – возразил Мак.

– Ну, этого нельзя ожидать, – заметил Кэртью.

– Не обманывайте себя, – сказал Мак. – Когда вам нужен корабль, ждите его через шесть лет; а когда не нужен, тут-то и явится целая эскадра.

– То же и я говорю! – воскликнул Томми. – Вот это разумная речь. Нагрузим вельбот и отправимся.

– А что думает капитан Уикс о вельботе? – спросил ирландец.

– Ничего я о нем не думаю, – сказал Уикс. – У нас под ногами отличный бриг, какого еще вельбота нужно!

– Извините! – воскликнул Томми. – Это ребячество. Правда, у вас бриг, но какая в том польза? Ведь на нем никуда плыть нельзя. В какой порт вы на нем поплывете?

– В порт водяного, сынок, – ответил капитан. – Этот бриг потонет в море. И я вам скажу где, – милях в сорока от Кауаи. Мы останемся на нем, пока он держится на воде; а раз он будет на дне, он уже не «Летучее Облачко», мы и не слыхивали о таком бриге; есть только команда шхуны «Почтенная Поселянка», которая спаслась в шлюпке и при первом удобном случае отправится в Сидней.

– Капитан, голубчик, вот первое христианское слово, которое я слышу! – воскликнул Мак. – А теперь оставьте в покое мою руку, драгоценный мой, и выводите бриг в море.

– Мне также не терпится, как и вам, Мак, – отвечал капитан, – но ветер еще слишком слаб. Стало быть, посмотрим вашу руку, и не толкуйте больше.

Рука была вправлена и увязана в лубки; тело Броуна вытащили из трюма, где оно еще лежало, окоченевшее и холодное, и бросили в лагуну; закончили мытье каюты. Все это было кончено к середине дня; а около трех часов пополудни лагуна подернулась рябью и ветер налетел резким шквалом, который внезапно превратился в ровный бриз.

Все поджидали этого с лихорадочным нетерпением, а один из компании с тайной и крайней тревогой. Капитан Уикс был отличный моряк; он мог бы провести шхуну сквозь шотландский джиг, знал ее повадки и угадывал ее норы, как наездник у лошади; а она со своей стороны признавала в нем своего хозяина и повиновалась его желаниям, как собака. Но, как это случается не особенно редко, искусство этого человека было специальным и ограниченным. На шхуне он был Рембрандт или (по меньшей мере) мистер Уистлер; на бриге – Пьер Грассу. Несколько раз в течение утра он менял свой план и повторял свои приказания, всякий раз с одинаковой неохотой и отвращением. Это была работа наудачу, на случай; корабль мог оказаться послушным ему, мог и не оказаться; в последнем случае он был бы беспомощным, лишенным всяких ресурсов опыта. Если бы все не были так утомлены, и если бы он не боялся сообщить о своих сомнениях, он вывел бы его на буксире. Но этих резонов было достаточно, и самое большее, что он мог сделать, было принять всевозможные меры предосторожности. Соответственно тому, он позвал Кэртью на корму, с

беспокойным терпением объяснил, что нужно сделать, и осмотрел вместе с ним различные снасти.

– Надеюсь, что запомню, – сказал Кэртю. – Ужасная путаница.

– Самая гнилая снасть, – согласился капитан, – все какие-то носовые платки! И ни одного моряка на палубе! Ах, будь бы это хоть бригантина! Хорошо еще, что проход простой; не придется маневрировать. Мы тронемся в путь перед ветром и пойдем прямо, пока не подойдем к концу острова; а там возьмем круто к ветру и будем держать на юго-восток, пока не выйдем на ту линию; там повернем на другой галс и пойдем влево. Схватили идею?

– Да, схватил, – отвечал Кэртю не совсем охотно, и оба некомпетентных моряка долго молча изучали сложную сеть снастей над их головами.

Наступило, однако, время выполнить на практике этот план. Паруса были убраны, и матросы подняли якорь. Вельбот бросили на произвол судьбы, перерезав веревку. Верхние топселя и контр-бизань были поставлены, реи обрасоплены, контр-бизань приведена к правому борту.

– Поднимите ваш якорь, мистер Кэртю.

– Якорь поднят, сэр.

– Поставьте кливера.

Это было сделано, но бриг продолжал стоять как заколдованный. Уикс, думая о гроте шхуны, обратился к контр-бизани. Он привел парус в одну сторону, потом в другую, без всякого результата.

– Возьмите эту чертову штуку на гитовы! – рявкнул он наконец, побагровев. – В ней нет ни капли смысла.

Немало изумился бедный капитан, когда, лишь только контр-бизань была взята на гитовы, корабль двинулся. Законы природы, показалось ему, прекратили свое действие; он чувствовал себя в мире фокусов; причина каждого действия и вероятное действие каждой причины были одинаково скрыты от него. Но тем более он старался не расстроить нервы своих помощников. Он стоял с пылающим как факел лицом, но отдавал приказания с апломбом и надеялся, что теперь, когда корабль тронулся в путь, его затруднения кончились.

Были поставлены нижние топселя и паруса, и бриг начал рассекать волны как живое существо. Мало-помалу проход начал расширяться, и голубое море показалось между бурунами рифа; постепенно низменный островок начал приближаться к правому борту. Реи были обрасоплены, контр-бизань снова приведена к корме; бриг был приведен круто к ветру, принялся за дело, как будто всерьез, и вскоре приблизился к тому пункту, где мог повернуть оверштаг и выйти из лагуны одним галсом.

Уикс сам взялся за штурвал, в восторге от успеха. Он держал бриг ближе к ветру, и, овладевая его ходом, начал выкрикивать приказания: «По местам. Держи круче. Галсы и шкоты. Подтяни грот». И, наконец, роковые слова: «Отдай грот; перенеси передние реи».

Повернуть оверштаг корабль с четырехугольными парусами – дело знания и быстрого глазомера, и человек, привыкший ходить на шхуне, всегда будет склонен чересчур торопиться с бригом. Так случилось и теперь. Приказание было отдано слишком рано; топселя заполоскали; корабль задрейфовал. Даже теперь, если бы повернуть руль, они могли бы спастись. Но подумать о заднем ходе, а тем более воспользоваться им, не могло прийти в голову моряку, привыкшему к шхуне. Уикс поторопился вести корабль через фордевинд, – маневр, для которого не хватало места, – и бриг сел на песчаную и коралловую мель в пять часов без двадцати минут.

Уикс был не мастер управлять бригом и показал это. Но он был моряк и прирожденный капитан для всех простых вещей, для которых не требуется ума, а достаточно иметь глаза во лбу и сердце под курткой. Прежде чем остальные успели понять, что случилось, он отдал новые приказания, взял паруса на гитовы и велел сделать промеры вокруг корабля.

– Он лежит хорошо, – заметил он и приказал спустить шлюпку с правым якорем.

– Это зачем! – воскликнул Томми. – Неужели вы хотите заставить нас стянуть его с мели?

– Именно, – отвечал Уикс.

– Я пальцем не пошевелю ради такой глупости! – возразил Томми. – Я смертельно устал. – Он сердито уселся на главном люке.

– Вы посадили на мель, вы и снимайте, – прибавил он.

Кэртю и Уикс взглянули друг на друга.



– Вы, может быть, не представляете себе, как мы устали? – сказал Кэртю.  
– Прилив надвигается! – воскликнул капитан. – Неужели вы заставите меня упустить прилив?  
– О, пустяки! Прилив будет и завтра! – возразил Томми.  
– А я вам вот что скажу, – прибавил Кэртю, – ветер почти упал, а солнце скоро сядет. Мы можем попасть в новую беду в темноте и почти без ветра.

– Я не отрицаю этого, – ответил Уикс и задумался. – Но вот чего я не могу понять, – начал он снова с волнением, – не понимаю, что вы за люди! У меня сил нет оставаться в этом месте. Вот опять заходит кровавое солнце – и у меня нет сил оставаться здесь!

Остальные взглянули на него с испуганным удивлением. Это падение их главного столпа – эта безумная выходка практичного человека, внезапно выбитого из своей настоящей сферы – сферы действия – поразила и смутила их. Но это доставило другому и невидимому слушателю случай, которого он дожидался. Мак, почувствовав толчок брига, выбрался на палубу и вмешался в разговор.

– Капитан Уикс, – сказал он, – это я накликал на вас беду. Я жалею об этом, прошу у вас всех прощения, и если кто-нибудь может сказать: «Я прощаю вас», у меня станет легче на душе.

Уикс с изумлением взглянул на него; но самообладание тотчас вернулось к нему.

– Все мы грешны, – сказал он, – и не станем бросаться камнями. Я прощаю вас и желаю вам всего хорошего!

Другие высказались в том же смысле.

– Благодарю вас, вы поступили как джентльмены, – сказал Мак. – Но у меня есть еще другое на уме. Ведь вы все протестанты?

Так оно и было, по-видимому; и вряд ли тут было что-нибудь лестное для протестантской религии.

– Ну да, так я и думал, – продолжал Мак. – Почему бы нам не прочесть молитву Господню? От этого не будет вреда.

Он говорил таким же кротким, умоляющим, детским тоном, как утром; остальные приняли его предложение и опустили на колени.

– Становитесь на колени, если хотите! – сказал он. – Я буду стоять.

Он прикрыл глаза рукой.

Молитва была произнесена под аккомпанемент бурунов и морских птиц, и все встали освеженные и облегченные. До тех пор они думали о своем преступлении каждый про себя, и если случайно упоминали о нем в пылу разговора, то тотчас умолкали. Теперь они сообща покаяться в нем, и, казалось, худшее миновало. Но это не все. Прощение «остави нам долги наши», после того как они сами простили непосредственному виновнику своих бедствий, звучало как разрешение.

На закате солнца напились чаю на палубе, а вскоре затем пятеро потерпевших крушение – вторично потерпевших крушение – улеглись спать.

День занялся безветренный и жаркий. Их сон был слишком глубоким, чтобы освежить, и, проснувшись, они уселись и уставились друг на друга тусклыми глазами. Только Уикс, предвидя тяжелую дневную работу, был бодрее. Он подошел к велю, сделал промер, потом другой, и остановился с сердитым лицом, так что все заметили, что он недоволен. Потом он встряхнулся, разделся донага, взобрался на борт, выпрямился и поднял руки, собираясь кинуться в воду. Однако не кинулся. Он так и застыл в своей позе, всматриваясь в горизонт.

– Дайте мне бинокль, – сказал он.

В одно мгновение все очутились на борту; капитан всматривался в бинокль.

На северной стороне горизонта виднелась полоска дыма, стоявшая вертикально, как восклицательный знак.

– Пока ничего толком не разберешь, – ответил он. – Но, кажется, дым направляется прямехонько сюда.

– Что это может быть?

– Может быть китайский пакетбот, – отвечал Уикс, – а может быть и военный корабль, посланный отыскивать потерпевших крушения. Однако теперь не время стоять и смотреть. На палубу, ребята!

Он первый очутился на палубе и первый взобрался на мачту, спустил флаг, прикрепил его снова к сигнальному фалу и поднял его приспущенным.

– Теперь слушайте меня, – сказал он, натягивая штаны, – и зарубите себе на носу все, что я скажу. Если это военный корабль, он отчаянно спешит; все эти корабли страшно заняты ничегонеделанием и всегда торопятся. Это наше счастье, потому что мы отправимся с ними, а им некогда будет осматривать и расспрашивать. Я капитан Трент; вы, Кэртью, Годдедааль, вы, Томми, – Гэрди, Мак – Браун; Амалу – черт побери! мы не можем превратить его в китайца! Ну, вот что: Чинг сбежал; Амалу спрятался на судне, чтобы переехать даром; я сделал его поваром и не счел нужным заносить в списки. Схватили идею? Скажите ваши имена?

Бледные товарищи серьезно повторили урок.

– Как звали остальных двух? – спросил он. – Того, которого Кэртью застрелил на лестнице, и того, которого я ранил на марсе?

– Гольдорсен и Уоллен, – сказал кто-то.

– Ну, они утонули, – продолжал Уикс, – свалились за борт, когда пытались спустить шлюпку. На нас налетел шквал прошлой ночью и бросил нас на берег. – Он подбежал к компасу и взглянул на него. – Шквал с норд-норд-вест-веста; очень сильный; налетел внезапно, Гольдорсен и Уоллен снесены с корабля. Ну? Запомнили?

Теперь он был в куртке и говорил с лихорадочным нетерпением и резкостью, точно сердился.

– Но безопасно ли это? – спросил Томми.

– Безопасно ли? – зарычал капитан. – Да ведь у нас петля на шее, теленок! Если этот корабль идет в Китай (кажется, нет, не похоже на то), то мы пропали, как только будем на месте; если он идет в другое место, то идет из Китая, не так ли? Окажись на нем человек, выдавший Трента или кого-нибудь из команды этого брига, мы через два часа будем в кандалах. Безопасно! Нет, это небезопасно; это единственный жалкий шанс улизнуть от виселицы, – вот что это такое.

Эта убедительная картина заставила всех вздрогнуть.

– Не лучше ли во сто раз остаться на бригае? – воскликнул Кэртью. – Они помогут нам снять его с мели.

– Вы заставите меня потратить целый день на болтовню! – крикнул Уикс. – Когда я промерял сегодня утром, в трюме оказалось два фута воды вместо вчерашних восьми дюймов. В чем тут дело? Почему я знаю; может быть, пустяки, а может быть, опаснейшая пробоина. А если пробоина, то улыбается ли вам проплыть тысячу миль в шлюпке?

– Но, может быть, ничего серьезного нет; а если есть, то их плотники обязаны помочь нам починить изъян, – настаивал Кэртью.

– Еще что выдумаете! – воскликнул капитан. – Если плотники явятся сюда, куда они направятся первым делом? В носовую часть трюма, я полагаю! Что же они скажут, увидев всю эту кровь между снастями? Вы, кажется, считаете себя группой членов парламента, обсуждающих дело Плимсоля; а вы попросту шайка убийц с петлей на шее. Еще какой-нибудь осел желает тратить время на разговоры? Нет? Слава Богу. Ну, слушайте же! Я пойду вниз и оставлю вас на палубе. Спустите шлюпки и отведите подальше вельбот, чтобы его не было видно. Затем возвращайтесь и откройте сундук с казной. Нас пятеро; разделите ее на пять частей и уложите в пять сундуков на самое дно, и стерегите их как тигры. Переложите одеялами, парусиной, одеждой, чтобы деньги не гремели. Сундуки будут тяжеленьки, но тут уж ничего не поделаешь. Вы, Кэртью... тьфу!.. мистер Годдедааль, ступайте за мной. Нам нужно заняться делом.

Он еще раз взглянул на столб дыма и поспешил с Кэртью в каюту.

Журналы оказались в главной каюте, за клеткой канарейки; их было два: Трента и Годдедааля. Уикс заглянул сначала в один, потом в другой и оттопырил губу.

– Умеете вы подделывать чужой почерк? – спросил он.

– Нет, – сказал Кэртью.

– Я тоже не умею! – воскликнул капитан. – А тут вот штука похуже; этот Годдедааль довел журнал до конца; должно быть, записал перед ужином. Смотрите сами: «Замечен дым. Капитан Киркоп и пятеро матросов шхуны „Почтенная Поселянка“». А, ну тут получше, – прибавил он, просматривая другой журнал. – Старик-то ничего не записывал целых две недели. Мы обойдемся без вашего журнала, мистер Годдедааль, и дополним журнал старика, то есть мой; только я не стану писать по особым резонам. Пишите вы. Садитесь и записывайте, что я вам буду диктовать.

– Как же объясним потерю моего журнала? – спросил Кэртю.  
– Вы вовсе не вели его, – отвечал капитан. – Важное упущение. Вам влетит за него.  
– А перемена почерка? – продолжал Кэртю. – Вы начали; почему вы перестали писать, а продолжал я? И во всяком случае вам придется подписать.

– О, я не могу писать из-за несчастного случая, – возразил Уикс.

– Несчастного случая? – повторил Кэртю. – Это звучит неправдоподобно. Какого случая?  
Уикс положил руку на стол и проткнул ладонь ножом.

– Вот вам и случай, – сказал он. – Таким способом можно отделаться от многих затруднений, если иметь голову на плечах.

Он начал перевязывать руку носовым платком, продолжая просматривать журнал Годдедаала.

– Ну, – сказал он, – это нам не подойдет, это невозможный вздор. Тут, во-первых, этот капитан Трент держит какой-то фантастический курс, при котором он должен быть по крайней мере за тысячу миль к югу от большого круга. А здесь он, по-видимому, у самого острова шестого числа, затем продолжает плавание несколько дней, и опять у самого острова одиннадцатого.

– Годдедааль говорил, что им чертовски не везло, – заметил Кэртю.

– Ну, это не похоже на реальность, – вот все, что я могу сказать, – возразил Уикс.

– Однако же это было, – настаивал Кэртю.

– Так-то так; да и можем ли мы сообщить что-нибудь лучшее, если оно не похоже на правду? – воскликнул капитан, погружаясь в непривычные для него глубины критики. – Послушайте, попытайтесь стянуть эту повязку; кровь из меня хлещет, как из борова.

Когда Кэртю принялся затягивать повязку, его пациент, по-видимому, погрузился в глубокое размышление, глаза его затуманились, рот слегка открылся. Едва повязка была кончена, он вскочил со стула.

– Нашел! – крикнул он и бросился на палубу. – Слушайте, ребята, – закричал он команде, – мы пришли сюда не одиннадцатого; мы пришли сюда шестого вечером и тут зашили. Когда вы управитесь с сундуками, – прибавил он, – выкатите на палубу несколько бочонков с мясом и водой; это будет больше похоже на кораблекрушение – как будто мы готовились к плаванию в шлюпке.

Он немедленно вернулся в каюту и состряпал новый журнал. Годдедаалевский был тщательно уничтожен, затем начались поиски корабельных бумаг. Из всех волнений этого тревожного утра эта была, пожалуй, самая мучительная. Двое людей шарили всюду, ругаясь, сталкиваясь, обливаясь потом, замирая от страха. Им сообщили сверху, что судно действительно оказалось военным кораблем, что оно подошло к острову, что оно спускает шлюпку, а их поиски все еще оставались тщетными. Как они пропустили окованный железом ящик с деньгами и счетами, трудно себе представить; но пропустили. Наконец главные документы нашлись в кармане пальто Трента, где он оставил их, вернувшись в последний раз с берега.

Уикс улыбнулся в первый раз за это утро.

– Наконец-то! – сказал он. – Пора! Возьмите от меня те, другие, а то я, пожалуй, перепутаю их с этими.

– Какие другие? – спросил Кэртю.

– Да Киркопа и «Почтенной Поселянки». Дай Бог, чтобы они понадобились нам еще раз.

– Шлюпка вошла в лагуну, сэр! – крикнул вниз Мак, который сторожил у люка, пока другие работали.

– Ну, стало быть, пора нам на палубу, мистер Годдедааль, – сказал Уикс.

Когда они собирались оставить каюту, канарейка резко затрещала.

– Боже мой! – воскликнул Кэртю. – Не оставлять же нам тут эту несчастную птицу на голодную смерть. Она принадлежала бедняге Годдедаалу.

– Возьмите эту крикунью с собой! – сказал капитан.

Они вышли на палубу.

Безобразное чудовище, современный военный корабль, стояло вне рифа то совершенно неподвижно, то делая один-два удара своим винтом. Ближе, в лагуне, большая белая шлюпка приближалась на нескольких парах весел, с флагом на корме.

– Еще слово, – сказал Уикс. – Мак, вы бывали в китайских портах? Отлично; значит, вы можете говорить сами за себя. Остальных я не спускал с судна все время, пока мы стояли в Гонконге, рассчитывая, что вы дезертируете; но вы надули меня и остались на бриге. Этак вам легче будет врать.

Шлюпка подошла теперь вплотную, на ней был только один офицер, юный и, очевидно, неопытный, так как гребцы, не стесняясь, разговаривали.

– Слава Богу, они прислали какого-то мичманенка! – воскликнул Уикс.

Шлюпка ловко причалила к борту, и юный офицер появился на палубе, где Уикс почтительно приветствовал его.

– Вы командир этого судна? – спросил офицер.

– Да, сэр, – сказал Уикс. – Мое имя Трент, а это «Летучее Облачко» из Гуллы.

– Вы, кажется, попали в беду? – спросил офицер.

– Если угодно, я расскажу вам всю историю, – сказал Уикс.

– Что это, как вы дрожите? – воскликнул офицер.

– И вы бы, пожалуй, задрожали, попав в такую передрагу, – возразил Уикс и рассказал целую историю о загнившей воде, о продолжительном штиле, о шквале, об утонувших матросах, гладко и с жаром, толкая с головой в пасти льва, точно беседовал в порту. Я слышал тот же рассказ из уст того же рассказчика в Сан-Франциско; даже тогда его манеры возбудили мое подозрение. Но офицер был ненаблюдателен.

– Ну, капитан страшно торопится, – сказал он, – но мне поручено оказать вам всю помощь, какую я в состоянии оказать, и в случае надобности вызвать сигналом другую шлюпку. Что я могу сделать для вас?

– О, мы не отнимем у вас много времени, – весело ответил Уикс. – Мы совсем готовы – сундуки, хронометр, документы, все.

– Но разве вы хотите оставить судно? – воскликнул офицер. – Кажется, оно сидит некрепко; не можем ли мы стянуть его с мели?

– Без сомнения, можем; но сможем ли мы заставить его плыть, – это другой вопрос. У него пробоина в носовой части, – возразил Уикс.

Офицер покраснел до ушей. Он был неопытен и сознавал это; подумал, что уже выдал себя, и не хотел еще больше оскандалиться. Ему и в голову не приходило, что капитан может обманывать его.

– Очень хорошо, – сказал он. – Велите же вашим людям снести багаж в шлюпку.

– Мистер Годдедааль, прикажите матросам сносить багаж, – распорядился Уикс.

Команда все это время была как на иголках. Это желанное распоряжение явилось для нее солнцем в полночь; Гадден залился слезами, громко всхлипывая. Тем не менее дело было окончено быстро: люди, сундуки и узлы живо очутились за бортом; шлюпка отчалила и вскоре вышла из длинной тени «Летучего Облачка».

Дело, таким образом, наладилось. Постыдное крушение превратилось в образцовое; они разделались с судном, они благополучно уехали; расстояние между ними и уликами росло. С другой стороны, они приближались к военному кораблю, который мог оказаться для них тюрьмой и привезти их на виселицу; о котором они не знали, куда и откуда он идет; и сомнение давило их как жернов.

Уикс вел разговор. Голос его чуть слышно звучал в ушах Кэртью, точно голос человека, говорящего где-то вдаль, но значение каждого слова поражало его, как пуля.

– Как называли ваш корабль? – спросил Уикс.

– «Буря», разве вы не знаете? – отвечал офицер.

«Разве вы не знаете? Что бы могло это значить? Может быть, ничего; может быть, то, что корабли уже встречались». Уикс собрал все свое мужество.

– Куда вы идете? – спросил он.

– О, мы осматриваем эти несчастные островишки, – сказал офицер. – Затем пойдем в Сан-Франциско.

– А, значит, вы идете из Китая, как и мы? – продолжал Уикс.

– Из Гонконга, – сказал офицер и плюнул в море.

Из Гонконга. Значит, все пропало; как только они будут на корабле, их арестуют: судно будет осмотрено, кровь найдена, лагуна, быть может, обследована, и тела убитых явятся засвидетельствовать убийство. Кэртю почувствовал почти непреодолимое побуждение встать, громко крикнуть и броситься за борт; казалось совершенно бесполезным притворяться, увертываться от неизбежного, стараться выиграть несколько сотен секунд мучительного ожидания, когда позор и смерть так очевидно приближались. Но неукротимый Уикс упорствовал. Лицо его было как у трупа, голос едва можно было узнать; самый тупой из матросов и офицеров должен бы был, по-видимому, заметить эту перемену и прерывающийся голос. Но он упорствовал, он хотел убедить.

– Славный город Гонконг! – сказал он.

– Право, не знаю, – сказал офицер. – Мы простояли там только полтора дня; получили приказ и отправились прямехонько сюда. Чертовски скучное плавание.

Он принялся описывать злоключения «Бури» и жаловаться на них.

Но Уикс и Кэртю уже не слушали его. Они переводили дух, чувствуя оцепенение во всем теле, но внутренне ликуя, измеряя миновавшую опасность, определяя шансы спасения. Плавание на военном корабле они могли теперь предпринять безопасно; еще несколько дней опасности, деятельности и присутствия духа в Сан-Франциско, – и вся страшная история забыта; Уикс снова превратится в Киркопа, а Годдедааль в Кэртю – людей вне всякого подозрения, людей, которые слухом не слышали о «Летучем Облачке» и видом не видали Мидуэйского рифа.

И вот они причалили к борту под торчавшими пушками, поднялись как лунатики на корабль и тупо смотрели на высокие мачты, белые деки и многочисленную команду, слышали вопросы, как будто издали, и отвечали наудачу.

Вдруг чья-то рука дружески опустилась на плечо Кэртю.

– Ба, Норри, старина, куда это вы запропались? Вас искали по всему свету. Разве вы не знаете, что теперь вы вступили во владение своим королевством?

Кэртю повернулся, узнал своего школьного товарища Сибрайта и упал без чувств к его ногам.

Когда немного спустя он очнулся в каюте Сибрайта, при нем находился доктор. Кэртю открыл глаза, пристально посмотрел на незнакомое лицо и сказал с какой-то торжественной силой:

– Броун должен отправиться вслед за остальными, теперь или никогда.

Он остановился; затем, опомнившись, снова заговорил:

– Что я сказал? Где я? Кто вы такой?

– Я доктор на «Буре», – был ответ. – Вы в каюте лейтенанта Сибрайта и можете забыть все свои тревоги. Ваши злоключения кончились, мистер Кэртю.

– Зачем вы называете меня так? – спросил тот. – А, помню – Сибрайт узнал меня! О! – он застонал и вздрогнул. – Пошлите ко мне Уикса, я должен немедленно видеть Уикса! – воскликнул он и с бессознательной силой стиснул руку доктора.

– Очень хорошо, – сказал доктор. – Заключим условие. Вы проглотите это питье, а я пойду и позову Уикса.

Он дал бедняге порцию опиума, который усыпил его в несколько минут и, вероятно, спас его рассудок от помешательства.

Доктор осмотрел рану Мака и при этом сумел заставить его повторить имена спасенной команды. Теперь наступила очередь капитана, который несомненно был уже не тот, каким мы его видели: внезапная помощь, сознание безопасности, хороший обед и добрый стакан грога ослабили, его бдительность и понизили его энергию.

– Когда это случилось? – спросил доктор, указывая на рану.

– Неделью с лишним тому назад, – отвечал Уикс, думая только о журнале.

– Да? – воскликнул доктор и, подняв голову, взглянул в глаза капитану.

– Точно не помню, – пробормотал Уикс.

При этой странной лжи подозрения доктора учетверились.

– Между прочим, кто из вас Уикс? – спросил он равнодушно.

– Что такое? – пролепетал капитан, побелев как бумага.

– Уикс, – повторил доктор, – кто из вас Уикс? Кажется, простой вопрос.

Уикс молча смотрел на него.

– Ну, кто Броун? – продолжал доктор.

– Что вы говорите? Что вы хотите сказать? – воскликнул Уикс, вырвав полуперевязанную руку, так что кровь брызнула в лицо доктору.

Он не потрудился отереть его; пристально глядя на свою жертву, он продолжал допрос:

– Почему Броун должен последовать за остальными? – спросил он.

Уикс дрожа опустил на ящик.

– Кэртю рассказал вам? – воскликнул он.

– Нет, – возразил доктор, – он мне не рассказывал. Но он и вы навели меня на подозрения, и мне кажется, что тут что-то неладно.

– Дайте мне грогу, – сказал Уикс. – Лучше я сам расскажу вам, чем дожидаться, пока вы все разведаете. Будь я проклят, если дело наполовину так скверно, как может показаться.

И с помощью двух стаканов крепкого грога трагедия «Летучего Облачка» была рассказана в первый раз.

Счастливым для них ряд случайностей открыл их историю доктору. Он понял положение этих злополучных людей и пожалел их, великодушно пришел к ним на помощь. Он, Уикс и Кэртю (когда тот оправился) сто раз совещались, как действовать в Сан-Франциско. Он удостоверил, что «Годдедааль» не может двинуться вследствие болезни, и контрабандой переправил Кэртю на берег под покровом ночи; он поддерживал открытой рану Уикса, чтобы тот мог расписаться левой рукой; он взял все их чилийское серебро (в первый же день) и заменил его более удобным для перевозки золотом. Он воспользовался своим влиянием в кают-компании, чтобы удержать на привязи языки молодых офицеров, так что имя Кэртю не попало в судовые документы. Он оказал и еще более важную услугу. В Сан-Франциско у него был друг миллионер; этому человеку он рекомендовал Кэртю, как молодого джентльмена, вступающего во владение огромным состоянием, но преследуемого кредиторами, которых ему нужно угомонить. Миллионер охотно явился на помощь, и на его деньги решено было купить разбившееся судно. Кто же был этот миллионер? Дуглас Лонггерст.

Пока команда «Почтенной Поселянки» могла вся скрыться под новыми именами, не имело особенной важности, удастся ли купить разбившееся судно и не будет ли открыто на нем что-нибудь неладное. Но опознание одного из них изменило все. Малейший скандал должен был бы привлечь теперь внимание к действиям Норриса. Возник бы вопрос, как это он, отправившись на шхуне из Сиднея, очутился так скоро на бриге, шедшем из Гонконга; и, переходя от вопроса к вопросу, почти наверное добрался бы и до его первоначальных товарищей. Отсюда, естественно, возникла идея предупредить опасность, воспользовавшись неожиданным обогащением Кэртю, и купить бриг через подставное лицо; и план этот был приведен в действие с энергией и осторожностью. Кэртю нанял квартиру под вымышленным именем, случайно отыскал Беллэrsa и поручил ему купить разбившееся судно.

– Какая крайняя цифра? – спросил адвокат.

– Я хочу купить судно, – ответил Кэртю. – Я не постою за какой угодно ценой.

– Какая угодно цена не цена, – сказал Беллэрс. – Определите точно.

– Ну, скажем, десять тысяч фунтов! – назначил Кэртю.

Тем временем капитану пришлось ходить по улицам, явиться в консульство, подвергнуться допросу агента Ллойда, изворачиваться по поводу утерянных счетов, подписывать документы левой рукой и повторять свои выдумки каждому шкиперу в Сан-Франциско, ожидая, что вот-вот он очутится в объятиях какого-нибудь старого приятеля, который громко назовет его Уиксом, или лицом к лицу с новым врагом, который не пожелает признать в нем Трента. И эта последняя случайность действительно свалилась на него, но благодаря его находчивости только укрепила его положение. Он находился в консульстве (самое неприятное место), когда внезапно услышал грубый голос, спрашивавший капитана Трента. Он повернулся, сердце его замерло.

– Да вы вовсе не капитан Трент! – сказал незнакомец, отшатнувшись. – Что же это значит? Мне сказали, будто вы капитан Трент – капитан Джэкоб Трент, которого я знаю с тех пор, как был вот таким.

– О, вы говорите о моем дяде, у которого банк в Кардифе, – ответил Уикс с отчаянным апломбом.

– А я и не знал, что у него есть племянник! – сказал незнакомец.

– Ну вот, вы видите, что есть! – сказал Уикс.

– А как поживает старик? – спросил незнакомец.

– Живет припеваючи, – ответил Уикс и был весьма кстати позван клерком.

Эта тревога была единственная до утра аукциона, когда он был еще более встревожен свиданием с Джимом и с беспокойством ожидал торгов, зная только, что Кэртю будет иметь на них представителя, но не зная, что это за представитель и какие ему даны инструкции. Должно быть, капитан Уикс очень живучий человек. Несмотря на свою комплекцию и заведомое нездоровье, он, вероятно, гарантирован от удара, иначе последний хватил бы его, пока он следил за этим безумным торгом и убедился наконец, что старый бриг с его не особенно ценным грузом оставлен за каким-то незнакомцем за десять тысяч фунтов.

Решено было, что он должен избегать Кэртю, а главное, не заходить к нему на квартиру, чтобы нельзя было установить связь между командой и покупщиком, принявшим вымышленное имя. Но час осторожности миновал, и он поспешил на Миссин-стрит.

Кэртю встретился с ним у дверей.

– Идем, идем отсюда, – сказал он, и когда оба вышли из дома, прибавил: – Все пропало!

– О, значит, вы знаете об аукционе? – сказал Уикс.

– Об аукционе! – воскликнул Кэртю. – Признаться, я и забыл о нем.

И он рассказал о голосе, слышанном в телефоне, и о загадочном вопросе: «Зачем вы хотели купить 'Летучее Облачко'»?

Это обстоятельство, в связи с невероятным ходом аукциона, могло бы потрясти рассудок Иммануила Канта. Казалось, вся земля восстала против них; камни и уличные мальчишки знали тайну их преступления. Бегство было их единственной мыслью. Казну «Почтенной Поселянки» они упрятали в пояса, сундуки отправили по выдуманному адресу в Британскую Колумбию и в тот же день оставили Сан-Франциско, заявив, что отправляются в Лос-Анджелес.

На другой день они продолжали свое бегство по южному тихоокеанскому пути, причем Кэртю, не останавливаясь, проехал в Англию, а остальные трое свернули в Мексику.

## Эпилог

### Чиллю Г. Лоу

Дорогой Лоу, недавно (на Манитики) я имел удовольствие встретиться с Доддом. Мы просидели два часа в чистенькой, маленькой, похожей на игрушку церкви, уставленной скамейками по европейскому обычаю и выложенной перламутром в стиле (предполагаю) Нового Иерусалима. Туземцы, решительно самые любопытные люди на нашей планете, теснились вокруг нас на скамьях и любезничали с нами, и толкали нас; и здесь-то я предлагал вопросы, а Додд отвечал.

Прежде всего я напомнил ему ту ночь в Барбизоне, когда Кэртью рассказывал свою историю, и спросил его, что случилось с Беллэрсом? Кажется, он тогда же рассказал своему другу всю историю сутяги, но Кэртью отнесся к ней с неподражаемой беспечностью.

– Он беден, а я богат, – сказал он. – Я могу смеяться над ним. Поеду куда-нибудь, вот и все, – в такое место, которое далеко и куда дорого ехать. Персия, например, подходящее место, мне кажется. Ведь она где-то на краю света. Почему бы вам не поехать со мной?

На другой день они отправились в Константинополь, намереваясь оттуда последовать в Тегеран. О сутяге известно только (из газетной заметки), что он вернулся в Сан-Франциско и умер в госпитале.

– Теперь другой пункт, – сказал я. – Вы отправились в Персию богатым человеком, в компании миллионера. Как же вы очутились теперь в Тихом океане в качестве торговца?

Он с улыбкой ответил, что я, как видно, еще не слышал о последнем банкротстве Джима.

– Я снова остался почти без гроша, – сказал он. – Тогда Кэртью построил эту шхуну и сделал меня супер-каргом. Это его яхта и мое торговое судно, и так как почти все расходы достаются на долю яхты, то я чувствую себя довольно благополучно. Что касается Джима, то он опять на ногах; говорят, одно из лучших предприятий на западе – фрукты, зерновые и земельная собственность; и у него чертовский компаньон – некто иной, как сам Нэрс. Нэрс будет держать его в узде, Нэрс малый с головой. Они живут в деревне близ Сауселито, и я остановился у них, когда был в последний раз на берегу. Джим имеет собственную газету, – кажется, он попадет на днях в сенаторы, – и приглашает меня бросить шхуну и писать для него передовицы. У него очень строгие взгляды на конституцию штата, так же, как у Мэми.

– А что случилось с тремя остальными, когда они расстались с Кэртью?

– Кажется, они изрядно покутили в городе Мехико, а затем Гадден с ирландцем отправились на золотые россыпи в Венесуэле, а Уикс поехал один в Вальпараисо. В чилийском флоте до сих пор служит какой-то Киркоп, я встречал это имя в газетах. Гаддену золотые россыпи скоро надоели, и я встретился с ним однажды в Сиднее. По последним известиям, которые он получил из Венесуэлы, Мак был убит при нападении на золотой поезд. Так что остаются в живых только трое, потому что Амалу вряд ли идет в счет. Он живет на родине, на Мауа, и хранит канарейку Годдедаала; говорят, он сберег свои доллары, что удивительно в канаке. Ему досталась порядочная сумма, так как не только доля Гемстида, но и доля Кэртью была разделена поровну между остальными четверьмя, включая Мака.

– Сколько же ему всего досталось? – спросил я невольно, так как меня забавляли расчеты в его рассказе.

– Сто двадцать восемь фунтов девятнадцать шиллингов и одиннадцать с половиной пенсов, – ответил он спокойно, – не считая того, что он выиграл на острове. Это, знаете, кое-что для канаки.

В это время нам пришлось наконец сдаться на милость наших туземных поклонников и отправиться к пастору пить напиток из незрелых кокосовых орехов. Судно, на котором я служил, должно было отплыть в ту же ночь; и хотя Додд уговаривал меня дезертировать и вернуться с ним в Ауклэнд (куда он должен был теперь отправиться за Кэртью), я решительно отказался.

По правде сказать, приняв участие в плане Хевенса и Додда издать рассказ последнего, я чувствовал, что вряд ли нуждаюсь в обществе Кэртью. Конечно, я человек вполне современный и нахожу самым благородным делом предавать гласности личные дела людей по столько-то за



строчку. Им нравится это, а если не нравится, то должно нравиться. Но какой-то тайный голос говорил мне, что им не всегда это нравится, и что они, быть может, не всегда согласны допускать это. К тому же в моей памяти возникает образ журналиста, который оказался чересчур современным для одного из своих соседей, и

*Qui nunc it per her tenebricosum*

так сказать, показывая нам путь. Я вовсе не тороплюсь оказаться – *nos praecedens* – преемником этого человека. Кэртю пользуется репутацией отличного стрелка, а я бы не прочь еще несколько лет пожить на Самоа.

Итак, мы решили расстаться, но он отвез меня на судно в своей шлюпке и рассказал мне по дороге о своей поездке на Бутаритари, куда он отправился по поручению Кэртю узнать, как поживает Топелиус, и, если нужно, помочь ему. Но Топелиус был в силе и отнесся к нему покровительственно.

– Кэртю будет доволен, – сказал Додд, – так как нельзя отрицать, что они жестоко прижали этого человека, когда были там, на «Почтенной Поселянке». Теперь нашла коса на камень.

Вот, кажется, все главные сведения, сообщенные мне моим другом Лоудоном; и я надеюсь, что не упустил из виду ничего существенного и осветил все вопросы, на которые вам интересно было услышать ответ.

Но есть еще один вопрос, который, подозреваю, вам смертельно хочется предложить мне: именно, с какой стати ваше имя попало сюда и украшает корму нашего бедного корабля? Если вы не родились в Аркадии, то в мечтах скитаетесь по ее окраине; ваши мысли заняты античными карнизам, нарциссами, классическим тополем, следами нимф, элегантно и трогательно ветошью древнего искусства. Зачем же посвящать вам рассказ такого современного пошиба: переполненный подробностями наших варварских нравов и неустойчивой морали; переполненный погоней за деньгами, так что вряд ли найдется страница, на которой бы не звенели доллары; полный тревоги и движения нашего века, так что читатель спешит из страны в страну и из моря в море, а книга оказывается не столько романом, сколько панорамой, и в конце концов так же забрызганной кровью, как эпос?

Ну, вы человек, интересующийся проблемами искусства, даже самого вульгарного, и, может быть, вам будет небезынтересно узнать о возникновении и развитии «Тайны корабля». На шхуне «Экватор» почти в виду островов Джонстона (если кто-нибудь знает, где они находятся), в лунную ночь, когда радостно жить на свете, авторы развлекались рассказами о покупке потерпевших крушение судов. Тема соблазнила их, и, усевшись в стороне, они стали обсуждать ее возможности. «Вот вышла бы путаница, – заметил один, – если бы на судне оказалась подложная команда. Но как посадить на него подложную команду?» – «Я знаю, как, – воскликнул другой, – есть подходящая история!» Дело в том, что незадолго перед тем и не особенно далеко от места их плавания, предложение, почти тождественное с предложением капитана Трента, было сделано одним британским шкипером нескольким потерпевшим крушение британцам.

Прежде всего мы сообща выработали план рассказа. Но вопрос об изложении, по обыкновению, оставался темным. Нас долго привлекала и в то же время отталкивала весьма современная форма полицейского рассказа или таинственной истории, которая состоит в том, что вы начинаете ваш рассказ как угодно, только не с начала, и кончаете его где угодно, только не в конце; нас привлекали его специфический интерес, когда рассказ написан, и специфические трудности выполнения; отталкивали же впечатление несерьезности и мелкости тона, по-видимому, неразлучные с ним. Ибо ум читателя не получает впечатления реальности или жизни, а лишь впечатление бездушного, выработанного механизма; и книга останется занимательной, но ничтожной, подобно партии в шахматы, а не произведению человеческого искусства. Нам казалось, что причина этого заключается, быть может, отчасти в резком и внезапном подходе к делу, и что если рассказ будет развиваться постепенно, некоторые действующие лица вводить, так сказать, заблаговременно, и книга начнется в тоне повести нравов и быта, то этот недостаток может уменьшиться и наша тайна будет казаться более правдоподобной. Тон века, его движение, смешение рас и классов, погоня за долларом, бешеная и не совсем лишенная романтизма борьба за существование с ее изменчивыми формами и положениями, и в, частности, два типа –

американского афериста и американского же моряка-торговца – вот материал, которым мы решили заняться более или менее обстоятельно, рассчитывая сделать из него уток для нашей не слишком ценной основы. Отсюда отец Додда, и Пинкертон, и Нэрс, и пикники дромадеров, и железнодорожная работа в Новом Южном Уэльсе; последняя, впрочем, явилась незванной, непрошенной, так как рассказ был наполовину написан, прежде чем я увидел работу артели Кэртю в залитой дождем выемке у Саут-Клифтона и услышал от инженера о его «молодецком усердии». После того, как мы изобрели, затратив немало времени, этот метод постепенного подхода и оживления нашей полицейской новеллы, нам пришлось узнать, что он уже был изобретен другим автором; и действительно, это метод – как бы ни были различны результаты – Чарльза Диккенса в его последнем романе.

Я вижу ваш изумленный взгляд. Вот, скажете вы, чудовищное нагромождение теории для грошовой полицейской новеллы, и ни тени ответа на наш вопрос.

Дело в том, что некоторые из нас любят теорию. Что же, после такого длинного рассказа о практических вещах можно уступить им несколько страниц. А ответ не заставит себя ждать. Было весьма желательно ради приличия и контраста, чтобы наш герой и рассказчик стоял несколько в стороне от тех, с которыми он водится, и был только поневоле участником погони за долларом. Вот почему Лоудон Додд сделался учеником-живописцем, а наша странствующая по всему земному шару история навестила Париж и заглянула в Барбизон. И вот почему, дорогой Лоу, ваше имя стоит в обращении этого эпилога.

Без сомнения, если есть человек, который может оценить и прочесть между строк, то это вы, и еще один, наш друг. Все маски не являются для вас загадкой; контракт скульптора явится для вас отрывком старой истории, и вам не впервые придется услышать о коварстве руссильонского вина. Воспоминания об общем прошлом послужат вам закладками при чтении книги, и если ничто другое не заинтересует вас в этой истории, то, может быть, вы не без удовольствия подышите минуту воздухом нашей юности.